ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА

801-17
609

Р 14/793

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ IV

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

53386

Инв. № 74.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

ГОСУД. ТРЕСТ
«ПЕТРОПЕЧАТЬ»
Тип. «КРАСНЫЙ АГИТАТОР»
ПТГ., 7-я РОТА, 26

...ая
...Ленина
...ТЕКА СССР
...М. ЛЕНИНА
87804-48

2012401928

Гиз. № 2963
Тираж 10.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

Содержание предлагаемого тома носит несколько пестрый характер. В него вошли, главным образом, статьи периода 1888—1894 г.г. на международные темы. Брошюра о Лассале осталась неоконченной. Написанная до появления Бернштейновского издания сочинений Лассаля, когда о последнем, кроме нескольких сенсационных брошюр и «дамских воспоминаний», имелась только одна мало-мальски серьезная работа известного литературного критика Г. Брандеса, работа Плеханова представляла большой интерес, как первая попытка подойти к Лассалю с точки зрения ортодоксального марксизма. Так, Плеханов уже тогда указывает, что Лассаль «иногда готов был итти рядом с прусским правительством, соглашая несогласимое, реакционную монархию с революционной демократией».

Из статей, написанных для иностранной хроники «Социал-Демократа», почти все носят информационный характер и представляют теперь только исторический интерес.

Библиографические заметки и рецензии, помещенные в пяти книгах «Социал-Демократа», выделены нами, за одним исключением, в особый отдел этого тома.

С 1889 г. Плеханов начинает принимать непосредственное участие в международном движении.

К сожалению, его историческая речь на Парижском конгрессе известна нам только по краткому отчету о ней, помещенному в «Социал-Демократе». Это изложение так мало отличается от немецкого текста, как он опубликован был в протоколе Парижского конгресса Вильгельмом Либкнехтом, что мы решили ограничиться только русской версией.

На международный конгресс в Брюсселе в августе 1891 г. группа «Освобождение труда» делегата не послала и ограничилась тем, что

доставила доклад, написанный Плехановым и переведенный на французский язык Верой Засулич. К сожалению, нам еще не удалось найти экземпляр этого чрезвычайно редкого издания.

На Цюрихском конгрессе в 1893 г. Плеханов явился докладчиком по одному из центральных вопросов порядка дня,—по военному вопросу. К сожалению, официальный отчет так сильно хромает, что Плеханов был вынужден уже тогда для французов изложить основные мысли своего доклада в журнале «L'Ère nouvelle».

Помещая теперь этот авто-реферат в переводе с французского, мы, кроме того, в приложении даем в переводе с немецкого доклад и заключительное слово Плеханова, как они были опубликованы в немецком протоколе Цюрихского конгресса.

Полемика, завязавшаяся между Плехановым и анархистами на Цюрихском конгрессе и после него, дала ему повод заняться поближе вопросами об отношениях между анархизмом и социализмом. Плодом этих занятий явились написанные для немецкого социал-демократического издательства на французском языке и переведенные на немецкий язык госпожей Бернштейн брошюра об «Анархизме и социализме» и статьи о «Силе и насилии». Из переводов первой на русский язык, изданных при жизни Плеханова, нет ни одного, который был бы им официально редактирован. Наоборот, перевод статей о «Силе и насилии», сделанный Зильбером, был просмотрен Плехановым и снабжен особым предисловием. Последнее, направленное против большевиков, будет напечатано в одном из последующих томов.

Д. Рязанов.

Декабрь 1922 г.

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

1887—1894

ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ.

ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

I.

Чтобы выяснить историческое значение деятельности Лассаля, мы считаем не лишним, в немногих словах, напомнить читателю те общественно-политические движения, которыми ознаменовалась внутренняя история Германии в первой половине XIX века.

В начале этого века Германия является страною, очень отсталой в экономическом и политическом отношениях. Ее и без того ничтожное промышленное развитие стесняется множеством препятствий, унаследованных частью от средних веков, а частью от времен полицейски-заботливой деятельности «просвещенных деспотов» XVIII века.

Обмен до крайности затрудняется политическою раздробленностью страны и внутренними таможнями; крепостное право продолжает сковывать сельское население; крупное землевладение имеет совершенно феодальный характер; безобразное, многоголовое здание абсолютизма давит «великое немецкое отечество» и не оставляет места для политической самодеятельности граждан.

Впрочем, честный Михель и не претендовал на такую самодеятельность. Хотя и не легко жилось ему под капральскою палкою его бесчисленных больших, средних и малых правителей, но он слишком сильно проникнут был страхом божиим и духом филистерским, чтобы подумать об иных политических порядках. Вероятно, он долго еще не вышел бы из своего забытья, если бы его не разбудили пушки Наполеона *).

Французские победы показали всю гнилость общественного и политического устройства Германии. Неприятельское нашествие пробудило во всем образованном населении стремление к свободе и национальному

*) Сочувственное отношение к французской революции скоро уступило, как известно, место благочестивому негодованию против «ужасов» террора.

об'единению. В Берлине раздался мужественный голос Фихте, который в своих восторженных «Речах к немецкому народу» заявляет, что он обращается к немцам вообще, говорит о немцах вообще, «совершенно не признавая всех тех подразделений, которые с давних времен создались в *единой* нации, благодаря несчастным событиям».

Почти в то же время (в 1810 г.) Арндт взывал в одной из своих боевых песен:

Zu den Waffen! Zu den Waffen!
Als Männer hat uns Gott geschaffen,
Auf, Männer, auf! und schlaget drein
Die *Freiheit* soll die Losung sein! *)

Правительства волей-неволей принуждены были поддерживать это стремление, так как в нем заключался единственный залог победы. Мало того, чтобы поощрить мужество немцев, им обещали даже представительное правление.

Обещание это было, однако, забыто почти всеми немецкими правительствами тотчас же после падения Наполеона.

Поощрявшаяся прежде любовь к свободе стала преступлением, самый патриотизм сделался подозрительным в глазах немецких правителей, обязанных ему своим восстановлением. Глава реакции, Меттерних, человек, по мнению которого даже император Александр I был до 1815 г. «*чистым якобинцем*», решился «противопоставить миру, находящемуся в безумии, другой мир, исполненный мудрости, разума, справедливости и порядка», т.-е., в переводе на прозаический язык, старый «мир» полицейско-деспотического режима. О немецком единстве не было и помину. Неудивительно, поэтому, что в более развитых слоях нации явилось неудовольствие и раздражение.

«Уже во время последней (наполеоновской) войны можно было слышать от Арндта, Петерса, Лудена, Яна жалобу на то, что опасность и борьба слишком скоро прошли для Германии, что мир слишком легко возвратит изгнанных духов тьмы, что только новая война может отвратить вредную порчу, вкрадывающуюся в отечественные дела», говорит Гервинус в своей «Истории девятнадцатого века». Но войны не было, а следовательно, и нельзя было надеяться на то, что новый мир принесет, наконец, Германии политическую свободу. Оставалось завоевать ее путем борьбы с реакцией. Но здесь подтвердилась та старая истина,

*) К оружию! К оружию! Бог создал нас мужами, восстаньте же, мужи, и сражайтесь! *Свобода* должна быть вашим лозунгом.

что борьба за внутреннюю свободу предполагает в народе гораздо большую степень развития, чем борьба за внешнюю независимость. Против французского «тирана» поднимались *все* или почти *все;* против собственных, гораздо худших, деспотов способны были восстать в тогдашней Германии только немногие. Эти немногие принадлежали, главным образом, к «интеллигенции» страны, к учащим и учащимся. Уже в конце второго десятилетия между немецкими студентами появляются решительные революционеры, которые приобретают значительное влияние на молодежь. Братья Фоллены основывают в Гиссене свое общество «Безусловных» (der Unbedingten). В одной из песен, распевавшихся членами этого общества, говорится, что

Nur die Bürgergleichheit, der Volkswille ist
Selbstherrscher von Gottesgnaden.

Другая песня заканчивается решительным воззванием:

Nieder mit Kronen, Thronen, Frohnen, Drohnen und Baronen!
Sturm!

Борьба, начавшаяся, таким образом, между правительствами и революционною молодежью, по необходимости должна была протянуться очень долго. С одной стороны, революционеры были слишком правы в своих требованиях, чтобы отступиться от них при первых неудачах, а с другой стороны невозможно было скорое осуществление этих требований, так как они находили сочувствие лишь в очень незначительной части населения. Дворянство боялось за свои привилегии, а «горожанин, издавна боязливо привязывавшийся к своему дому и ремеслу, не имел до той поры ни привычки, ни времени думать об общественных делах, не имел ни понятия, ни способности к тому, чтобы получить понятие о судьбах и обстоятельствах государственного быта, почти не имел понятия и о делах своей общины. Он с радостью готов был уклоняться от всякой гражданской обязанности, и за это рад был бы отказаться от всех гражданских прав; даже когда появлением сборщика податей напоминалась ему *обязанность,* ему едва вспоминалось *право.* Он предоставлял думать о государственных делах чиновнику, потому что ведь они вверены ему, хоть и ненавидел этого чиновника. Точно так же он... предоставил высшие почести и должности в государстве дворянину, хотя и сердился на его привилигированность» *).

Об эту неразвитость, об этот индифферентизм разбивались все усилия революционной молодежи, которая, по словам того же Герви-

*) *Гервинус*, «История XIX века», т. II, стр. 370.

нуса, «отчаянно мучилась нетерпеливым сомнением, когда же, наконец, начнет, и начнет ли когда-нибудь, таять *эта старая ледяная кора*». События показали, что для «таяния» необходимо было изменение внутреннего строения «коры». А оно не заставило себя ждать, и совершалось неуклонно, хотя медленно и незаметно. Политическая неразвитость среднего сословия обусловливалась его экономической отсталостью, преобладанием в Германии мелкого ремесленного производства. Но мелкое производство само заключает в себе условия, которые рано или поздно устраняют его, выдвигая на сцену крупную промышленность. К тому же здесь присоединилось влияние международных отношений, ускорявших внутреннее развитие Германии. Таким образом, между тем как правительства свирепствовали против молодежи и постановляли свои «Карлсбадские» и другие решения; между тем как революционеры ломали голову над вопросом о том, как же разбудить народ,— на историческую сцену Германии выступили новые действующие лица.

Рядом с совершенно забитым крестьянином и с политически-неразвитым горожанином старого закала появились крупный предприниматель и работник, буржуа и пролетарий.

Первым заявил о своем появлении, как и следовало ожидать, господин предприниматель. С начала тридцатых годов его присутствие дает себя чувствовать во всех сферах тогдашней общественной жизни. «Только тогда купец и основатель акционерных обществ, как Ганземан, мог сделаться руководителем общественного мнения,—говорит Ф. А. Ланге *).—Промышленные товарищества и подобные им общества росли, как грибы... Граждане начинавших богатеть городов заводили политехнические училища, ремесленные и торговые школы, между тем как несомненные недостатки гимназий и университетов рассматривались в увеличительное стекло отрицательного отношения. Правительства... были, вообще говоря, охвачены тем же духом. Главнейшая их деятельность направлена была на создание средств обмена и сообщения; важнейшим социально-политическим делом всего десятилетия была организация *Немецкого Таможенного Союза*. Еще более важною по своим последствиям оказалась постройка железных дорог, над которою соперничали с половины десятилетия главнейшие торговые города. Как раз в то же время интерес к естественным наукам обнаружился, наконец, и в Германии, при чем самую выдающуюся роль играла химия,— наука, стоящая в теснейшей связи с практическими интересами».

*) «Geschichte des Materialismus», Iserlohn 1882, 2 B., S. 436—437.

Влияние новых общественных потребностей не менее заметно и в области так называемых нравственных и политических наук. В экономии появляется учение Фридриха Листа, в котором, как в зеркале, отражается тогдашнее положение немецкой промышленной буржуазии. В политике растет увлечение конституционализмом. Наконец, в следующем десятилетии немецкая философия разрывает с тем духом компромисса, который, по замечанию Ибервега, характеризует собою всю ее историю; ее передовые представители становятся во главе оппозиционного и даже революционного движения. Буржуа начинает сознавать свое значение и готовится вмешаться в борьбу революционной молодежи с правительством.

В начале сороковых годов напоминает о своем существовании и пролетарий. В различных местностях Немецкого Союза происходят рабочие волнения, которые усмиряются розгами и штыками. Причиной этих волнений было, конечно, бедственное экономическое положение рабочих, и, в этом смысле, можно сказать, что они являлись грозным предостережением и для самой буржуазии. Но, во-первых, принятыми против них жестокими мерами правительства сами поторопились обратить на себя ненависть рабочего класса. В своем знаменитом стихотворении «Ткачи», написанном по поводу силезских волнений, Гейне не даром заставляет рабочих посылать проклятие «королю всех счастливых». Кроме того, созданный развитием новой формы промышленности, пролетарий по необходимости становится во враждебное отношение ко всем остаткам старых общественных отношений, а, следовательно, и к полицейски-деспотическому государству *).

Разбуженный шумом нового движения, стесненный в своем материальном положении развитием крупной промышленности, мелкий го-

*) Положение рабочего и ремесленного подмастерья в тогдашней Германии было едва ли лучше положения работника в современной нам России. К жалкому экономическому положению прибавлялась полная беззащитность от полицейского произвола. В Австрии чиновники обращались с работниками, «как со скотом. Кто хоть раз побывал утром в венской полицейской дирекции, помнит, как целые сотни подмастерьев стояли по целым часам в узком коридоре, дожидаясь окончания пересмотра их «путевых книг» между тем как полицейский, с саблей или с палкой в руке, присматривал за ними подобно надсмотрщику за рабами. Полиция и юстиция будто сговорились довести этих бедняков до отчаяния». *Ernst Violand*, «Sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich», Leipzig 1850, цитировано у *Bernhard'a Becker'a*, «Die Reaktion in Deutschland gegen die Revolution von 1848». Braunschweig 1873, S. 68.)

рожанин (Kleinbürger) также почувствовал недовольство существующим политическим порядком и заговорил о конституции.

Наконец, заволновался и крестьянин, который во многих местностях Германии был, как мы уже сказали, почти в полной крепостной зависимости.

Под соединенными усилиями всех этих недовольных элементов пало в 1848 году насквозь прогнившее здание немецкого абсолютизма.

Уже в период, предшествующий революционному взрыву 1848 года, эти враждебные абсолютизму элементы делились (поскольку они доросли до мысли о политической борьбе) на различные политические партии. Либеральная партия, с ее осторожным, «законным» способом действий, защищала интересы крупной и огромной части мелкой буржуазии. Эта партия не организовала тайных обществ, не делала заговоров и не сражалась на баррикадах. Она предоставляла это революционной молодежи и рабочим. Однако, тотчас же после падения абсолютизма власть фактически попала в ее руки, так как ее сторонники составили большинство в законодательных и городских собраниях. Ей выпала, таким образом, руководящая роль в борьбе с реакцией, и от ее тактики, от ее энергии и предусмотрительности зависели ход и исход этой борьбы. К сожалению, такая роль оказалась ей не по силам. Чтобы добить реакцию, нужно было вооружить народ и поддерживать его революционное настроение, а буржуазия более всего боялась именно революционного настроения народа. Вооруженный пролетарий был для нее гораздо страшнее прусского или австрийского солдата. Когда 6-го апреля берлинские работники мирно собрались для обсуждения своих нужд и требований, буржуазная гражданская стража поспешила окружить место собрания и занять ближайшие улицы. В другой раз редактор «Zeitungshalle», Dr. Юлиус, напечатал прокламацию, в которой некоторые увидели подстрекательство рабочих против буржуазии. Такая дерзость вызвала всеобщее негодование. Студенты окружили редакцию, чтобы воспрепятствовать распространению листка, многие горожане и все биржевые деятели сговорились никогда более не брать его в руки, а министр юстиции Борнеманн приказал начать против преступного редактора судебное преследование» *). Ни в Берлине, ни в Вене, в этих важнейших центрах, где решалась судьба революции, работники не имели другого оружия, кроме камней и своих рабочих инструментов. Венские демократические комитеты мало смущались этим обстоятельством, продолжая водить невооруженных рабочих на манифестации и

*) *Bernhard Becker*, «Die Reaktion in Deutschland», S. 53.

даже на баррикады. 14-го июня 1848 года берлинские рабочие сделали было попытку овладеть цейхгаузом, чтобы запастись оружием, но они были отбиты соединенными усилиями регулярных войск и буржуазной гражданской стражи *). Мало того, те же самые венские демократы *боялись* наплыва в столицу рабочих из других городов. Заведывавший общественными работами в Вене, единомышленный им «*Рабочий Комитет*» об'явил, что городская община обязана доставлять работу только своим беднякам, и потребовал удаления всех иногородних рабочих. Само собою понятно, что реакция могла лишь рукоплескать мероприятиям, ослаблявшим революционную силу города.

Тоскливое настроение немецкой буржуазии прекрасно отражается в следующих строках «Augsburger Allgem. Zeitung»: «Общественный кредит исчез,—писала она в марте 1848 года,—торговля пошатнулась до основания, дела находятся в застое во всех отраслях промышленности, заработки и доходы уменьшаются все более и более, имущие сокращают свои расходы; ремесленники и великий класс тех, которые живут заработной платой, видят себя в опасности лишиться этого источника существования, *а что всего хуже*—отвыкают от труда, от спасительного довольства своею участью, и служат движению удобными орудиями, которые скоро готовы будут переменить общественные роли. Благоразумный бюргер знает грозящую ему опасность»... **)

«... Борьба идет не столько между республикой и монархией, сколько между капиталом и бедностью, между имуществом и рабочей силой, между повелевающим и служащим классами общества»,—писала в апреле та же газета.—Майские и июньские события в Париже еще более усилили опасения немецкой буржуазии. Повсюду стали распространяться тревожные слухи о рабочих волнениях. Достаточно было самой вздорной выдумки, чтобы вызвать панику между зажиточными классами той или другой местности» ***). При таком настроении «бла-

*) Эта последняя проявила истинно-геройский дух. «Нами овладело такое рвение,—говорит известный Рудольф Гнейст, служивший тогда в этой страже,—что три стражника сразу кинулись со штыками на семнадцатилетнего мальчика, который вздумал было рассуждать» (!) «Berliner Zustände», цитировано у *Беккера*, стр. 103—104.

**) *Becker*, 48.

***) Характерен следующий факт. Два берлинских работника поссорились с булочником за то, что он продавал слишком маленькие хлебы. Это событие тотчас же нашло отголосок в Собрании Городских Представителей (Stadtverordneten-Versammlung), и один из его членов обратился к своим товарищам с предложением подумать о том, *«как защитить булочников»*.

разумного бюргера», никакие воззвания не могли подвинуть его на решительные шаги в борьбе с реакцией. Он «протестовал», ссылался на свое доброе право и оказывал «пассивное сопротивление» там, где нужно было аргументировать штыками и убеждать пушками.

Радикальная демократия умела стать с оружием в руках на защиту своих требований, но ее двусмысленное положение «между капиталом и бедностью, между имуществом и рабочей силой» помешало ей отождествить свое дело с делом рабочего класса и выработать себе, с самого начала движения, определенную, последовательную и решительную программу действий. Мы уже видели, что она не всегда заботилась даже о вооружени народа.

С своей стороны, рабочие нисколько не были расположены хладнокровно смотреть на успехи побежденной ими в марте реакции. Не раз предлагали они буржуазным законникам оказать вооруженную поддержку их требованиям; но те предпочитали «пассивное сопротивление», а рабочие были еще слишком малочисленны, слишком плохо организованы, чтобы отстоять своими собственными усилиями дело политической свободы. Во всяком случае, они до конца остались лучшими защитниками этого, оставленного буржуазией, дела. «Когда, в конце 1848 года, монархия направила решительные удары против прусского Национального Собрания,—говорит Георг Адлер,—берлинские члены союза «Arbeiter-Verbrüderung» *) заявили этому Собранию, что они готовы защищать его и предоставляют свои силы в его распоряжение. Центральный же Комитет Союза требовал в своем воззвании к местным и окружным комитетам немедленного вооружения рабочих для защиты Собрания. («Настало время, когда каждый город, каждая деревня в Германии должны превратиться в крепость против тирании. Докажем, что мы достойны свободы!»—говорилось в воззвании.) ...В Саксонии, в Бадене, в Рейнском Пфальце члены «Verbrüderung» принимали деятельное участие в восстании (1849 года). И хотя в других странах восстание не имело места, но названный Союз употребил все средства, чтобы его вызвать. Во время восстания в юго-западной Германии, так называемой Reichsverfassungs-Kampagne, Центральный Комитет Вюртембергских ветвей Союза издал воззвание, в котором он об'являл обязанностью всякого немца, и в особенности рабочего, принять участие в борьбе... Слово

Запрос подал повод к длинным дебатам, пока, наконец, один из членов не заметил, что имущие классы поступают слишком глупо, поднимая тревогу при каждом пустяке. *Adler*, «Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland», S. 159.

*) Далеко не самого революционного из германских рабочих союзов.

вом, во все время контр-революции весь Союз, без малейшего колебания, шел рядом с революционной демократией и составлял ее надежнейшую опору. И нужно заметить, что ни разу, ни в одном из разветвлений Союза не поднялось ни одного протеста против этой тактики, ни одного сомнения в ее правильности» *).

Торжествующая реакция поспешила уничтожить всякий след рабочего движения в Германии. Помимо частных мероприятий отдельных правительств против свободы слова, печати, собраний и в особенности рабочих союзов, Пруссия и Австрия предложили Союзному Собранию обсуждение вопроса о том, «каким образом уничтожить вредное влияние ассоциации на ремесленное сословие». Не трудно догадаться, что ответили «Высочайшие и Высокие Союзные Правительства». Постановлением от 15-го июля 1854 г. они обязались «в интересах общественной безопасности распустить, в течение двух месяцев, все еще существующие в их странах рабочие союзы и товарищества, преследующие *политические, социалистические или коммунистические цели* и впредь воспретить образование таких союзов под страхом наказания». Со свойственным им здравым практическим смыслом, представители реакции поняли, что господство их будет прочно до тех пор, пока рабочий класс не станет против них в угрожающее положение.

Торжество реакции продолжалось целых десять лет. Но и теперь, как в эпоху Священного Союза, оно не могло остановить промышленного движения страны. Капитализм делал в Германии огромные успехи. «Глубоко потрясенная в своих основаниях Австрия стремилась возродиться на основе промышленного прогресса... Быстрой чередой следовали одни за другими договоры, спекуляции и финансовые постановления... В Богемии возникали каменноугольные копи, заводы для обработки руды, железные дороги. В южной Германии быстро росла хлопчатобумажная промышленность. В Саксонии в небывалом до сих пор масштабе развивались почти все отрасли металлической промышленности и обработки волокнистых веществ. В Пруссии с лихорадочным жаром взялись за горное и горнозаводское дело,—железо и уголь стали злобой дня. В Силезии, а еще более на южном Рейне и в Вестфалии старались сравняться с Англией. Не более как в десятилетний период времени добывание угля удвоилось в Саксонском королевстве и утроилось на Рейне и в Вестфалии... Стоимость добытого железа удвоилась в Силезии и упятерилась в западной части Прусской монархии. Общая

*) *Georg Adler*, «Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland», Breslau 1885, S. 199—200.

стоимость продуктов горного дела и горнозаводской промышленности более чем утроилась. Железные дороги были приспособлены к массовой перевозке продуктов и были завалены работой. Развивалось также корабельное дело, а вывоз принял даже отчасти характер спекуляции. После падения парламента немецкому об'единению старались содействовать единством мер и весов. Довольно характерно, что *вексельное право* было единственным остатком великого национального движения» *).

Это промышленное процветание необходимо предполагало увеличение численности рабочего класса. Развитие крупной промышленности разоряло мелкую буржуазию и также толкало ее в ряды пролетариата. Силы его росли вопреки всевозможным союзным постановлениям. В то же время чувствовала себя сильнее и буржуазия, и рано или поздно она должна была сделать новую попытку взять политическую власть в свои руки. Но без поддержки со стороны рабочего класса такая попытка была заранее обречена на неудачу, а между тем, в памяти буржуазии еще живы были страшные воспоминания 1848 года. Вовлекая рабочий класс в политическую борьбу, «благоразумный бюргер» рисковал опять подвергаться «грозившей» ему тогда «опасности».

Как разрешить это противоречие?

В доброе старое время оно разрешалось очень просто, или, лучше сказать, вовсе не существовало. Когда во время июльской революции парижские работники овладели Лувром, Лафайет предложил выдать беднейшим из них по пяти франков. Гордые оборванцы отказались, буржуазия спрятала свои деньги в карман и целых восемнадцать лет держала «самодержавный народ» вдали от всякого участия в политических делах. Трудно придумать что-нибудь лучше такой развязки, но можно ли было думать о ней после «сумасшедшего» 1848 года? Нужно было искать другого выхода.

Как раз в период после 1848 года пышно развилась экономическая литература, имевшая целью доказать, что чем более богатеет капиталист, тем жирнее становится рабочий. Конечно, в своей аргументации г.г. экономисты охотнее апеллировали к умозрению, нежели к опыту, но произведения их во всяком случае были настоящим даром небес для немецкой буржуазии. Экономическая гармония ведет за собою политическую солидарность. Если капиталист богатеет в интересах всего народа, то народ, ради своих собственных интересов, должен поддерживать капиталиста. А чтобы поддерживать его, рабочим вовсе не надо того всеобщего избирательного права, которым временно поль-

*) *Lange*, ibid., S. 440—441.

зовались они в 1848 году, и о котором до тех пор еще не забыли некоторые «идеологи». Буржуазия охотно избавит рабочих от всех политических забот. Она пойдет в парламенты, займет важнейшие общественные должности. С ее богатством ей не страшен ценз, не опасны ограничения избирательных прав бедняков. От рабочих же требуется только одно: готовность ринуться на врагов буржуазии по первому ее знаку. Но и это крайность, до которой сами враги ее не захотят доводить дела. Для них достаточно одной угрозы. Но, чтобы угроза была действительна, нужно, опять-таки, полное доверие рабочих к их «естественным руководителям».

Учение о гармонии интересов труда и капитала естественно дополняется учением о государственном невмешательстве. Если величайший экономический вопрос нашего времени разрешается сам собою, путем свободного действия законов производства и распределения, то со стороны государства было бы нелепой претензией вмешиваться в другие, менее важные и менее запутанные общественные отношения. Правда, если бы речь зашла о государственном невмешательстве в международные экономические отношения, т.-е. о свободе внешней торговли, то иностранная конкуренция скоро заставила бы немецкую буржуазию припомнить теорию Фридриха Листа. Но в описываемую эпоху предметом самых горячих споров был вопрос о свободе внутренних сношений, на которую никак не хотела согласиться реакционная партия. Буржуазии нужно было во что бы то ни стало добиться окончательной отмены цехов, свободы труда и передвижения, а в этом случае принцип «laissez faire, laissez passer» был ей как нельзя более на руку. За проповедь этого принципа взялась фаланга ученых вроде Макса Вирта, Пр. Смита, Фаухера, Михаэлиса и Оппенгейма. Их поддерживали целые полчища полуученой, недоучившейся и совсем ничему не учившейся братии: газетчиков, публицистов, политических деятелей, промышленников и т. д. и т. д. Сторонники Листа и так называемой исторической школы на некоторое время совершенно сошли со сцены. Вся нереакционная пресса была в руках манчестерцев.

Известно, однако, что соловья баснями не кормят. Как ни красноречива была проповедь экономической гармонии, но работники, со свойственным им «грубым материализмом», могли потребовать чего-нибудь более питательного. На этот случай припасено было учение о *самопомощи*, главным распространителем которого был *Шульце из Делича*, или, как его называли для краткости, *Шульце-Делич*.

Герман Шульце родился в 1808 году и, следовательно, в описы-

ваемую эпоху был уже очень пожилым человеком. Общественно-экономические отношения обратили на себя его внимание еще во время революционных бурь 1848 года. Уже в следующем, 1849-м, году он основал первое рабочее товарищество в своем родном городе Деличе. Это была касса для больных со 136 членами. В 1850 году там же устроено первое ссудное товарищество. Затем последовали так называемые сырьевые товарищества (Rohstoffvereine) в Деличе и Эйленбурге. До 1850 года планы его были известны только небольшому кружку, но с этого времени начинается его писательская деятельность. Распространение учений Шульце-Делича было еще более облегчено тем, что он приобрел орган: «Die Innung der Zukunft», начавший выходить в 1854 году в виде приложения к немецкой ремесленной газете («Deutsche Gewerbezeitung»), а с 1861 года превратившийся в самостоятельный ежемесячный журнал *). Осенью 1858 года Шульце отправился для пропаганды своих воззрений на международный благотворительный конгресс во Франкфурте-на-Майне. Само собою разумеется, что планы его очень заинтересовали буржуазных благотворителей. Но только в следующем году был заключен полный союз между ним и учеными представителями буржуазии на Готском (Gotha) конгрессе немецких экономистов. С этого времени начинается огромная известность Шульце-Делича. «Экономисты и литераторы превозносили его дома и за границей как великого победителя чудовищ и спасителя рабочих» **).

Число ассоциаций росло очень быстро, и уже в 1859 году основан был «Союз немецких товариществ», во главе которого стал, разумеется, Шульце. В 1861 г. тот же Шульце был выбран в прусский Ландтаг депутатом из Берлина, при чем всегда оставался деятельным и верным членом *прогрессистской* партии, а иногда, в пылу ораторского увлечения, называл себя даже демократом ***).

Таким образом, «благие начинания» Шульце-Делича увенчались

*) См. «Промышленные Товарищества во Франции и Германии» *Андрея Исаева*, Москва 1879 г., стр. 168—170.

**) *Rudolph Meyer*, Emancipationskampf des vierten Standes, I т., I отд., стр. 179.

***) Прогрессистская партия образовалась в 1861 году в *Пруссии* из соединения старой либеральной партии с демократами, сделавшимися теперь гораздо сговорчивее и отказавшимися даже от требования всеобщего избирательного права. По пословице, «кто старое помянет, тому глаз вон», демократы отказались также от прежнего названия своей партии, которое все-таки обязывало к чему-нибудь, и приняли бессодержательную кличку—*прогрессисты*.

полным успехом. Влияние его — а с ним всей буржуазии — на рабочий класс было, повидимому, уже прочно обосновано, и в будущем должно было упрочиваться все более и более. Буржуазная пресса с гордостью называла его «*королем в социальной области*».

Были, правда, особенно между крупными немецкими капиталистами, и такие люди, которые вообще не любили никаких экскурсий в «социальную область». Эти стародумы держались того мнения, что подобные экскурсии всегда могут завлечь рабочих дальше желательной цели, и что вообще им лучше было бы довольствоваться одной «гармонией». Но скоро события вполне оправдали тактику Шульце, и сами порицатели его должны были сознаться, что она вполне согласна с «духом времени». Впрочем, об этом ниже, теперь же посмотрим, что представляли собою основанные нашим «королем» товарищества.

Он сам подразделял их на следующие виды:

1) Союзы самообразования.

2) Ссудные и кредитные товарищества, народные банки и тому подобные организации, «удовлетворяющие нужды своих членов в деньгах и кредите».

3) Сырьевые товарищества, «в которые вступают ремесленники и работники данной отрасли для совместного приобретения оптом сырых материалов, а также машин и вообще дорогих рабочих снарядов».

4) Потребительные товарищества, «которые служат для оптовой закупки различных предметов потребления».

5) «Кассы для больных и санитарные союзы, в которых с меньшими затратами можно пользоваться медикаментами и медицинской помощью» *).

К сырьевым товариществам Шульце относил также союзы совершенно иного характера. Одни из этих союзов (Magazinenvereine) устраивались для совместной *продажи* продуктов труда их членов; другие представляли собой *производительные товарищества* в собственном смысле, в которых «производство и сбыт продуктов велись на счет и риск всей организации».

Просим читателя не забывать, что все эти товарищества основаны были на принципе *самопомощи*. В этом—их отличительный характер и тайна того сочувствия, с которым их приветствовала буржуазная пресса. Рабочие ничего не должны требовать от государства, его помощь была бы для них унизительна. У них есть другое средство для

*) *Schultze-Delitsch*, Capitel zu einem deutschen Arbeiter-Katechismus, Leipzig 1863, S.S. 126—127.

улучшения своего положения—именно *сбережения*. Этим верным путем они, мало-по-малу, скопят средства, необходимые для заведения самостоятельных предприятий и для конкуренции с крупными капиталистами.

Фабричный рабочий, пролетарий, вовлеченный в процесс крупного производства, мог бы ответить на это, что все его сбережения исчезают во время кризисов и безработицы. Он мог бы прибавить также, что современные крупные промышленные предприятия требуют затраты огромных средств, которых не соберешь никакими «сбережениями» из заработной платы. Но Шульце мало интересовался участью пролетариата. За ним шли, главным образом, ремесленники, мелкие самостоятельные производители, смотревшие на его кредитные и сырьевые товарищества, как на некоторую поддержку в их тяжелой борьбе с крупным капиталом. Разумеется, эти товарищества не могли предотвратить развития крупной, а следовательно, и гибели мелкой промышленности. Но все-таки они обещали временное облегчение, и ремесленники хватались за них, как утопающий хватается за соломинку. В ремесленниках была вся сила армии «самопомощи». Не даром орган Шульце-Делича носил характерное название «Die Innung der Zukunft».

Что касается до обществ самообразования, то они должны были служить главным средством для распространения между рабочими экономических и политических теорий прогрессистов. Консервативный Мейер прекрасно определяет их значение. «В этих союзах,—говорит он,—цвет рабочего класса должен был получать такую дрессировку, чтобы буржуазия могла вербовать в его среде преданнейших унтер-офицеров и с их помощью усиливать свое влияние на массу». Не трудно догадаться, что рабочие не выносили оттуда ничего, кроме ничтожных доз самых отрывочных сведений. Им преподносили там «сегодня чтения об Уланде, завтра об японском Микадо, затем о спектральном анализе и т. д.» *).

Систематически излагалось лишь учение об экономической гармонии. За это дело взялся все тот же великий Шульце. «Капитал есть необходимое условие и верный помощник человека в производстве,—поучает он рабочих в своем «*Катехизисе*».—Трудно понять поэтому, каким образом он мог бы быть *силою враждебной* рабочему классу, благосостояния которого нельзя отделить от процветания труда вообще. А между тем, *некоторые* (читай социалисты) стараются уверить в этом рабочих... Рост капитала обусловливает бо́льший спрос на труд и луч-

*) *Meyer*, ibid., S.S. 180—184.

шую заработную плату. И она действительно возрастает, если только работники не размножаются в еще бо́льшей прогрессии». В четвертой главе своего «*Катехизиса*» Шульце разбирает «различные системы, имеющие то общее свойство, что они хотят облегчить положение рабочего класса посредством помощи *извне*, помимо его собственной силы». Само собой понятно, что он решительно восстает против этих, совершенно искаженных им, систем. «Что я не разделяю этих взглядов, вы знаете уже из прежних чтений *), так как я с самого начала исходил из того положения, что человек получил от природы не только нужды, но также и силы, правильное употребление которых ведет к удовлетворению нужд» **).

Мы не будем разбирать удивительной аргументации Шульце-Делича: об этом позаботился Лассаль. Посмотрим лучше, чему учил он рабочих в политике.

Когда некоторые лейпцигские работники пожелали сделаться членами либерального «*Национального Союза*» (National-Verein), Шульце-Делич посоветовал им сберечь для домашних расходов те деньги, которые им пришлось бы затратить на членские взносы ***). В то же время National-Verein провозгласил всех рабочих своими почетными членами. Это кажущееся бескорыстие вело за собой для рабочих нравственную обязанность поддерживать «Союз», лишая их вместе с тем всякого решающего голоса в его делах. Буржуазия не довольствовалась тем, что рабочие шли за нею, отказываясь от независимой политической роли. Ей нужно было лишить их всякой *возможности* получить какое-нибудь самостоятельное политическое значение.

Сподвижники Шульце, М. Вирт и Фаухер прямо заявили в Лейпциге, что всеобщего избирательного права вовсе не нужно, потому что и трехклассный избирательный закон мог дать такую либеральную палату, как тогдашняя прусская.

Некоторое время эта тактика прекрасно удавалась. Уже несколько раз цитированный нами Мейер с негодованием консерватора жалуется, что либеральная буржуазия разыгрывала из себя единственную защитницу народных интересов и совершенно господствовала в горо-

*) «Катехизис» представляет собою ряд чтений.

**) Capitel, S.S. 76—77.

***) National-Verein был основан 14 августа 1859 г. в Эйзенахе. Он стремился к об'единению либеральных партий и фракций *всех немецких стран* для совместной агитации в пользу образования Германского Союзного государства под главенством Пруссии. Неудивительно, что прусские прогрессисты относились к этому Союзу с величайшим сочувствием.

дах. «Она терроризировала собрания других партий. Она расстраивала собрания консерваторов».

Но в среде немецких рабочих уже до 1848 года были люди, понимавшие интересы своего класса. Тем труднее было удовлетворить пролетариат либеральной болтовней теперь, когда рост крупной промышленности дал новый толчок его развитию. Осенью 1862 года Лейпцигский Рабочий Союз решил созвать конгресс для лучшего уяснения экономических и политических задач рабочего движения. Выбранный для созвания конгресса *Центральный комитет* вступил в сношения со многими рабочими обществами и с некоторыми отдельными лицами, почему-нибудь обратившими на себя его внимание. В числе этих лиц был и *Фердинанд Лассаль*.

В феврале 1863 года Отто Даммер написал ему, от имени названного комитета, следующее письмо:

«Милостивый Государь!

«Ваша брошюра «*Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия*» встречена была здешними рабочими с величайшим сочувствием, и Центральный Комиет высказался в Вашем смысле в «Рабочей Газете» *). В то же время, с различных сторон высказываются очень серьезные сомнения в том, что рекомендуемые Шульце-Деличем товарищества могут оказать действительную помощь ничего не имеющей рабочей массе и надлежащим образом изменить ее положение в государстве. В № 6 «Рабочей Газеты» Центральный Комитет высказал свой взгляд на этот предмет. Он убежден, что при современных условиях названные товарищества не могут служить для этого действительным средством. Но так как идеи Шульце-Делича повсюду проповедуются, как руководящие идеи рабочего сословия, и так как, помимо указанных Шульце-Деличем, могут быть еще другие пути для достижения нашей цели: улучшения положения рабочих в политическом, материальном и умственном отношениях, то Центральный Комитет, в своем заседании 10 февраля тек. года, единогласно постановил:

«Просить Вас высказать в той или другой форме Ваш взгляд на рабочее движение, на средства, которыми оно должно пользоваться, а в особенности на значение товарищества для беднейшего класса народа. Мы придаем большую цену взглядам, высказанным Вами в вышеназван-

*) Орган, издававшийся либеральным National-Verein'ом.

ной брошюре, и сумеем оценить Ваши дальнейшие сообщения. В заключение мы просим Вас по возможности скорее исполнить наше желание, так как нам очень хотелось бы придать более быстрый ход рабочему движению. Примите и пр.

За Центральный Комитет для созвания Всеобщего Немецкого Рабочего Конгресса Отто Даммер» *).

Лассаль не замедлил отозваться на это приглашение. Уже в первых числах марта того же года появился его «*Гласный ответ Центральному Комитету*», а затем началась знаменитая агитационная кампания 1863—1864 годов, составившая эпоху в истории немецкого рабочего движения.

Но кто же был Лассаль? Имел ли он других предшественников, кроме Шульце-Делича? И что писал он в брошюре, обратившей на него внимание лейпцигских рабочих?

В следующих главах мы постараемся ответить на эти вопросы.

II.

В лице знаменитого агитатора немецкая буржуазия впервые столкнулась с современным социализмом на почве легальной политической деятельности. В настоящей главе мы посмотрим, поэтому, как возникло учение современного социализма и что оно представляло собою в описываемую эпоху. Иначе сказать, мы поставим прежде всего вопрос о социалистических предшественниках Лассаля.

Революционное движение в Германии первоначально носило чисто политический и в весьма значительной степени национально-шовинистический характер. Но, мало-по-малу, возникло и стало крепнуть другое направление. Спасаясь от правительственных преследований, немецкие революционеры бежали за границу, в Швейцарию, Англию и Францию. Там они знакомились с революционерами других стран, утрачивали свою национально-шовинистическую окраску, заводили тайные общества по примеру существовавших тогда во Франции, а некоторые из них проникались социалистическими учениями. Заговоры бежавших за границу студентов имели бы все шансы превратиться в детскую забаву и остаться без всякого влияния на ход немецкого общественного развития, если бы не встретилось одно счастливое обстоятельство. Известно, что ремесленные подмастерья обязаны были, по окончании

*) *Bernhard Becker,* Geschichte der Arbeiter-Agitation Ferdinand Lassalle's, Braunschweig 1874, S.S. 17—18.

ученья, посвящать некоторое время путешествиям. Во время таких странствований немецкие ремесленники во множестве и на многие годы попадали за границу, туда же, где искала убежища революционная молодежь. А так как немецкая революционная «интеллигенция» никогда не была настолько «самобытна», чтобы сомневаться в необходимости пропаганды среди рабочих, то она и поспешила сблизиться с этим бродячим, незаменимым для нее элементом. Ремесленники стали деятельными членами сначала радикальных, а затем и коммунистических обществ. Так началось первое социалистическое немецкое движение. Но чем более выходило оно из тумана революционных фраз и становилось действительным выражением интересов пролетариата, тем более принимало исключительно рабочий характер. «Интеллигенция» отходила назад, в ряды радикальной демократии, очень революционной в то время, проповедовавшей даже политические убийства, но фактически служившей выражением интересов передовой части мелкой буржуазии.

В 1836 г. немецкие коммунисты основали в Париже «Bund der Gerechten» (Союз Справедливых), который вошел в тесную связь с французской тайной организацией «Société des Saisons», руководимой Бланки и Барбесом. Через два года появилось первое оригинальное произведение немецкого коммунизма, брошюра рабочего Вильгельма Вейтлинга «Die Menschheit wie sie ist und sein sollte», а еще несколько лет спустя многочисленные разветвления названного Союза существовали уже не только за границей, но и в самой Германии. Огромное большинство членов состояло из рабочих, но в числе вожаков было несколько представителей «интеллигенции», как, напр., Dr. Герман Эвербек и Карл Шаппер *). Впрочем, ошибочно было бы думать, что этим

*) В предисловии к новому изданию «Enthüllungen über den Kommunisten-Prozess zu Köln» Фр. Энгельс дает следующую характеристику Шаппера, которую русские читатели прочтут, вероятно, не без интереса. «Богатырь по внешнему виду, энергичный и решительный, всегда готовый пожертвовать для дела своим положением и своею жизнью, он был типом революционера по профессии, игравшего не малую роль в тридцатых годах. При известной тяжеловесности мышления он вовсе не был неспособен к теоретическому развитию, как это показывает его переход от «демагогии» к коммунизму... Его революционная страсть приходила иногда в противоречие с его рассудком, но впоследствии он всегда понимал свои ошибки и открыто в них сознавался. Это был цельный человек, и его заслуги по отношению к немецкому рабочему движению навсегда останутся незабвенными». Революционная карьера Шаппера началась еще в 1832 г. участием в тайном обществе Георга Бюхнера.

«интеллигентным» вожакам принадлежало главное влияние в Союзе. Такие работники, как Вейтлинг или Иозеф Молль, не уступали в «интеллигентности» никакому доктору или студенту.

После парижского восстания 12-го мая 1839 г. многим членам «Союза Справедливых» пришлось оставить Францию и поселиться в Лондоне, куда был перенесен центр тяжести организации. Здесь это, сначала чисто немецкое, движение приняло международный характер. В Лондонском Рабочем Союзе Самообразования *), «кроме немцев и швейцарцев были члены, принадлежавшие ко всем тем национальностям, для которых немецкий язык служил средством сношения с иностранцами. Именно, были шведы, норвежцы, голландцы, венгерцы, чехи, южные славяне, также русские и эльзасцы. В 1847 г. постоянным гостем Союза был даже один английский гвардейский гренадер. Скоро Союз принял название Коммунистического Рабочего Союза, и на его членских картах красовалась надпись—«*Все люди—братья*», по крайней мере на двадцати языках, хотя и не без грамматических ошибок... Тайный Союз также стал международным, сначала лишь в ограниченном смысле: *практически*,—в силу различия национальностей его членов, *теоретически*,—в силу того сознания, что революция может победить, лишь сделавшись общеевропейской. Дальше этого не шли, но основание было, во всяком случае, заложено» **).

В теоретическом отношении тогдашний немецкий коммунизм не отличался большою основательностью. Вильгельм Вейтлинг был главным теоретиком движения этого периода. Хотя в его учении есть, по замечанию Энгельса, много гениальных частностей, но, в общем, оно все-таки чуждо всякого серьезного научного обоснования. Достаточно сказать, что он старался поставить свое учение в связь с первобытным христианством. «Религия должна быть разрушена,—восклицает он,—так говорили Вольтер и другие. Но Ламеннэ и ранее его Карльштадт, Томас Мюнцер и другие показали, что все демократические идеи вытекают из христианства. Поэтому религия не должна быть разрушена, но ею нужно воспользоваться для освобождения человечества. Христианство есть

*) Пользуясь свободой ассоциаций в Англии и отчасти в Швейцарии, немецкие коммунисты заводили рабочие общества самообразования, певческие, гимнастические и т. д., в которых они вербовали членов для своей тайной организации. К числу таких обществ принадлежал и Лондонский Рабочий Союз Самообразования (существующий до сих пор).

**) *Фр. Энгельс* в предисловии к «Enthüllungen», стр. 6.

религия свободы, Христос есть пророк свободы и любви» и т. д. *). Самый способ изложения носит у него какой-то мистический характер. Так, другое сочинение его начинается выпиской из евангелия: «И когда увидел Христос народ, то опечалился и сказал ученикам своим: жатвы много, а делателей мало; итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». «Жатва—это созревающее для совершенства человечество, и общность имуществ на земле есть его плод,—поясняет далее сам Вейтлинг.—Заповедь любви приглашает вас к жатве, а жатва—к наслаждению. Если вы хотите жать и наслаждаться, то исполняете этим заповедь любви» **).

Как и все утописты, Вейтлинг исходит из анализа страстей и потребностей человека. На основании результатов этого анализа осуждается современное общество и строится план будущего общественного устройства, который разрабатывается, конечно, до мельчайших подробностей ***). Впрочем, Вейтлинг относился к своему плану уже более критически, чем относился, например, Фурье к своим фаланстерам. «Все написанные до сих пор планы общественной реформы служат доказательством ее возможности и необходимости,—замечает он.—И чем больше будет таких работ, тем больше будет у народа доказательств в ее пользу. Но лучший план мы все-таки должны будем написать своею кровью» ****). В этих словах звучит твердое сознание необходимости борьбы с высшими классами, которое выгодно отличает Вейтлинга от многих других утопистов. Он обращается уже не ко всему человечеству, без различия классов и состояний, и не ждет, как Фурье, появления миллионера, который поможет ему осуществить его планы. Он сознает необходимость классовой борьбы и вербует своих последователей в рабочем классе, между «людьми труда и заботы». Правда, что в рабочем классе он видел только «людей труда и заботы» и не понимал исторического значения такого класса, как пролетариат; правда также, что средств осуществления коммунистической программы он искал не *в историческом развитии общества*, а в шаблонном *заговоре с целью «захвата власти»*.

*) Das Evangelium der armen Sünder, стр. 13—14 Нью-Йоркского издания 1854.

**) Die Menschheit wie sie ist und sein sollte, стр. 7 Нью-Йоркского издания 1854.

***) «Десять крестьян образуют «Zug» и выбирают «Zugführer'а»; десять Zugführer'ов выбирают Ackermann'а; сто Ackermann'ов выбирают Landwirthschaftsrath'а, а он выбирает...» и т. д. Так описывает Вейтлинг организацию земледелия в коммунистическом обществе. Die Menschheit, S. 32.

****) Ibid., стр. 30.

Во избежание недоразумений спешим заметить, что далеко не все немецкие коммунисты того времени разделяли мистические воззрения Вейтлинга. Но это немного поправляло дело в теоретическом отношении. Главной основой учения все-таки оставались те или другие нравственные соображения. «Общность имуществ требовалась, как необходимое следствие *равенства*»,—говорит Энгельс...—«Я не думаю,—замечает он в другом месте,—чтобы кто-нибудь из тогдашних членов Союза прочитал хоть одну книгу по экономии. Да в этом не видели и надобности, так как *равенство, братство, справедливость* помогали перевалить через какую-угодно теоретическую гору» *). Немецкие коммунисты стояли не выше французских последователей Бабефа **).

Наконец, в сороковых годах возник в Германии новый вид коммунизма, учение которого основывалось частью на «любви», а частью на очень отвлеченных и очень неудачных философских соображениях. Этот новый «философский» или «истинный» коммунизм окончательно разрывал с действительностью и утрачивал всякое серьезное, революционное значение. Образованные противники коммунизма, вроде Арнольда Руге, без труда торжествовали над этим неуклюжим детищем немецкой «интеллигенции» ***).

Но в сороковых же годах, рядом с наивным коммунизмом заговорщиков и туманным коммунизмом немецких литераторов, появилось учение, которое поставило, наконец, социализм на твердую научную почву. Вот что рассказывает об его происхождении один из его основателей, Ф. Энгельс: «Живя в Манчестере, я на опыте увидел, что экономические отношения,—которым историческая наука до сих пор совсем отказывала во всяком значении или отводила самую ничтожную роль,—что эти отношения, по крайней мере в современном обществе, представляют собою главную историческую силу. Я убедился, что они лежат в основании современного классового антагонизма; что в тех

*) См. стр. 4 и 7 вышеназванного предисловия.

**) В интересах справедливости заметим, что и противники коммунистов не стояли на более твердой почве. Если одни, вслед за Бабефом, доказывали, что равенство есть закон природы, а коммунизм необходимое следствие равенства, то радикальные демократы, как, напр., К. Гейнцен, с таким же жаром утверждали, что каждый человек от природы «имеет право на частную собственность».

***) См., напр., направленную против М. Гесса статью *Руге* «Der deutsche Kommunismus» в сборнике «Opposition» *К. Heinzen*'а, Mannheim 1846.

странах, где, как в Англии, развитие крупной промышленности довело этот антагонизм до большой степени развития, он, в свою очередь, обусловливает образование политических партий, их борьбу, а вместе с тем и всю политическую историю. Маркс не только пришел к тем же взглядам, но уже в «Deutsch-französischen Jahrbüchern» (1844 г.) он расширил их в том смысле, что вообще не государство обусловливает собою гражданское общество, а, наоборот, гражданское общество—государство, и что, следовательно, об'яснения политических отношений и их истории нужно искать в экономическом строе и его развитии. Когда я посетил Маркса летом 1844 г. в Париже, между нами установилось полнейшее согласие по всем теоретическим вопросам и с этих пор начинается наша общая работа. Когда весною 1845 г. мы снова встретились в Брюсселе, Маркс в главных чертах уже выработал из вышеприведенных положений свою материалистическую философию истории, и мы взялись за частную разработку нашего нового миросозерцания в самых различных направлениях. Но это открытие, сделавшее переворот в исторической науке, принадлежащее, главным образом, Марксу, и в котором я могу приписать себе лишь небольшую долю участия,—имело непосредственную важность для оценки тогдашнего рабочего движения. Немецкий и французский коммунизм, равно как и английский чартизм, не казались теперь случайными явлениями. Эти движения представлялись теперь движением угнетенного класса современного общества, пролетариата, более или менее развитой формой его исторически-необходимой борьбы против господствующего класса,—буржуазии. Этот новый вид классовой борьбы, сравнительно с борьбой предшествовавших периодов, имеет одну особенность: современный угнетенный класс, пролетариат, не может добиться своего освобождения, не освобождая одновременно всего общества от разделения на классы, а, следовательно, и от классовой борьбы. Коммунизм также получил совершенно новый характер. Его задача заключалась теперь не в фантастическом построении возможно более совершенного общественного идеала, а в изучении природы, условий и вытекающих из них общих целей предпринятой пролетариатом борьбы» *).

С этой новой точки зрения старая тактика немецких и французских коммунистов уже не выдерживала критики. Если борьба пролетариата переставала быть явлением случайным, вызванным доброй волей отдельных лиц, то и надежда на ее успех не могла быть приурочена к

*) *Engels*, ibid., S.S. 7—8.

случайности составленного этими лицами заговора. Коммунистическая революция являлась делом не тайного общества, а целого класса, освобождение которого зависело уже не от ловкости заговорщиков, а от неизбежного и неотвратимого хода развития экономических отношений. Поэтому коммунисты переставали быть заговорщиками и становились организаторами и руководителями пролетариата. В тех странах, где буржуазия уже добилась полного господства, ближайшею целью борьбы являлось свержение этого господства и завоевание пролетариатом политической власти. Там же, где, как в Германии, буржуазия только готовилась еще стать господствующим классом, коммунисты должны были итти рядом с нею, «поскольку она являлась революционной в борьбе своей против абсолютной монархии, феодальной поземельной собственности и мелкого мещанства».

Но это не значило, что коммунисты могли, до поры до времени, удовольствоваться либеральной программой. Напротив, они должны были стараться организовать пролетариат в «оппозиционную партию будущего» и «ни на минуту не переставать вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата». Словом, основатели нового коммунистического учения хотели, «чтобы общественные и политические условия, которые принесет с собою господство буржуазии, могли послужить немецким рабочим оружием против той же буржуазии, чтобы борьба против нее началась тотчас же после падения реакционных классов в Германии» *).

Нужно ли говорить, что это учение далеко не сразу было понято и оценено по достоинству тогдашними коммунистами? Различие взглядов было слишком велико; оно касалось не только практических задач и приемов действий, но также самых коренных основ всего миросозерцания. Маркс и Энгельс мало смущались, однако, этим обстоятельством. Они знали, что будущее принадлежит их учению, и деятельно занимались его пропагандой. Личные беседы, переписка, собрания, литографированные циркуляры, мелкие журнальные статьи, брошюры и книги знакомили немецких коммунистов с общими основаниями учения и с отдельными его частностями. А так как старая, заговорщицкая «программа» была уже порядком дискредитирована, то новой теории предстоял, можно сказать, неожиданно-скорый успех. Весною 1847 года

*) См. наш перевод «Манифеста Коммунистической партии», Женева 1882, главу IV, стр. 39—40.

лица, стоявшие во главе «*Союза Справедливых*», убедили Маркса и Энгельса вступить в организацию, чтобы перестроить ее на новых началах. План этот и был приведен в исполнение на двух конгрессах, состоявшихся летом и осенью того же года. На втором конгрессе присутствовал Маркс «и в длинных дебатах—конгресс продолжался десять дней—отстаивал новую теорию. Наконец, все разногласия и сомнения были устранены, новое учение единогласно принято», и его основателям поручено было написать знаменитый впоследствии «*Манифест Коммунистической партии*». «Место старого девиза Союза: «*все люди братья*» занял новый боевой клич: «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*»,—выражавший международный характер борьбы. Семнадцать лет спустя этот новый клич обошел весь мир с Международным Товариществом Рабочих, и ныне пролетариат всех стран пишет его на своем знамени» *).

После мартовских дней 1848 года члены Коммунистического Союза поспешили переехать в Германию, чтобы принять участие в тамошних революционных событиях. И хотя Союз, как организация, совершенно потонул в начавшемся теперь массовом движении, но пройденная коммунистами школа принесла свои плоды. «На Рейне, где (орган Маркса) «Neue Rheinische Zeitung» служила пунктом об'единения; в Нассау, в Рейнском Гессене, члены Союза повсюду стояли во главе крайнего демократического движения. То же было в Гамбурге... В Южной Германии влиянию их помешало господство мелко-буржуазных демократов. В Бреславле до лета 1848 г. действовал с большим успехом Вильгельм Вольф... В Берлине наборщик Стефан Борн, бывший в Париже и Брюсселе деятельным членом Союза, основал рабочее общество «Arbeiter-Verbrüderung», которое получило значительное распространение и существовало до 1850 г. **). Наконец, невозможно игнорировать индивидуальную деятельность всех тех рабочих, которых коснулась коммунистическая пропаганда тридцатых и сороковых годов. Такие рабочие были рассеяны по всей Германии, и они, конечно, не мало способствовали пробуждению классового сознания в умах немецких пролетариев.

*) *Engels*, ibid., S. 11.

**) Это то самое общество, о роли которого во время контр-революции мы говорили в предыдущей главе. Нужно, впрочем, заметить, что Борн все-таки не сумел придать его стремлениям вполне определенного характера в политическом и экономическом отношениях. В них часто и сильно сказывался дух мелкой буржуазии. Потому-то мы и сказали, что это рабочее общество было далеко не самым революционным из существовавших тогда в Германии.

Победа реакции снова заставила коммунистов искать убежища за границей и заводить там тайные общества для пропаганды на родине. Но теперь-то и оказалось, что новая точка зрения не была твердо усвоена даже многими из тех, которые признавали «Коммунистический Манифест» программой своей партии. Значительная часть членов заново организованного «Союза Коммунистов» стала обнаруживать стремление выступить на старый путь заговоров и вспышек. «Между тем как мы говорим рабочим: вы должны пережить еще 5—10—20 лет гражданской войны и народных движений, и притом не только для того, чтобы изменить существующие отношения, но также и для того, чтобы перевоспитать самих себя, стать способными к господству,—сказал Маркс на заседании Лондонского Центрального Кружка Союза, 15-го сентября 1850 года,—меньшинство (сторонники немедленного захвата власти) говорит наоборот: мы должны теперь же добиться господства, или нам не остается ничего делать». При таком существенном разногласии совместная работа была невозможна. «Союз» распался на две фракции, которые, при тогдашних обстоятельствах, скоро должны были совсем сойти со сцены. Но дальнейшая судьба этих фракций была неодинакова: одну (фракцию заговорщиков) ждал «вечный покой», другую—блестящее возрождение в шестидесятых годах, когда во всех цивилизованных странах опять началось рабочее движение *).

*) Если уже не все коммунисты понимали взгляды Маркса, то тем менее можно было ожидать разумного отношения к ним со стороны радикальной демократии. Так, напр., известный революционер и республиканец Карл Гейнцен писал, что не экономия, а «*насилие* служит исходным пунктом исторического развития» Германии и что коммунисты, которые «понимают политику лишь в том случае, когда она попадает на фабрику или выходит из нее», закрывают глаза на безобразия немецкого абсолютизма. «Там, где нет буржуазии, революция ненужна и невозможна,—повествует Гейнцен, будто бы излагая взгляды коммунистов,—буржуазия должна сначала добиться господства и посредством его сфабриковать фабричный пролетариат, который начнет революционное движение, чтобы господствовать в свою очередь. В Германии нельзя ожидать революции; пролетариат, созданный, создаваемый и ежедневно умножаемый 34 кровопийцами и их пособниками, не может итти в расчет. Он не имеет ни права на революционное движение, ни повода к нему, потому что не носит фабричного штемпеля; он должен терпеливо голодать и умирать, пока Германия не станет Англией. Фабрика есть школа, пройти которую необходимо для того, чтобы делать революции и улучшать социальные отношения». Die Helden des deutschen Kommunismus, Dem Herrn Karl Marx gewidmet von *K. Heinzen*, Bern 1848.

Мы видим теперь, что у Лассаля были очень деятельные и очень разумные предшественники. Занесенное ими в умы рабочих «сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата» продолжало жить, несмотря на все строгости реакции и на всю софистику либеральной буржуазии. Когда Шульце-Делич был в апогее своей славы, в рабочей среде «с различных сторон высказывались, как мы знаем, очень серьезные сомнения» в том, что предлагаемые им товарищества «могут помочь ничего не имеющей рабочей массе». А когда Лассаль издал свою брошюру «*Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия*», лейпцигские работники встретили ее с «величайшим сочувствием» и по их же настоянию написан был «*Гласный ответ*», после которого отступление было уже невозможно. Пропаганда коммунистов значительно облегчила дело Лассаля в практическом отношении.

Еще более оно было облегчено в смысле теоретическом. Главный труд Маркса «*Капитал*», лежал еще в рукописи, но такие произведения, как «*Die Lage der arbeitenden Klasse in England*» Энгельса (1845), «*Нищета философии*», «*Речь о свободе торговли*» (1847), «*Наемный труд и капитал*» (1849), «*Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte*» Маркса (1852), «*Манифест Коммунистической партии*» Маркса и Энгельса и, наконец, классическое сочинение Маркса «*Zur Kritik der politischen Oekonomie*» (1859)—заключали в себе, в сущности, все основные положения научного социализма.

Положения эти давали толковому социалистическому агитатору шестидесятых годов, в его борьбе с буржуазными противниками, такой удобный операционный базис, что, опираясь на него, он мог заранее считать себя непобедимым. Но, конечно, от размеров его собственных сил и дарований зависели число и важность тех поражений, которые он сам мог нанести неприятелю.

Посмотрим же, какими силами обладал наш агитатор.

III.

Фердинанд Лассаль родился 11-го апреля 1825 года в Бреславле, где отец его, богатый еврей, был оптовым торговцем. Уже в детстве он

Глубокомыслие этого «красного» республиканца (Гейнцен требовал национализации земли и других «социальных реформ») пробуждает в нас приятное воспоминание. Оно напоминает возражения некоторых из наших революционных стародумов против программы русских социал-демократов.

отличался блестящими способностями, но родители непременно желали, чтобы единственный сын их посвятил себя торговой деятельности. На шестнадцатом году его отдали в лейпцигскую коммерческую школу. Директор школы скоро убедился, однако, что из Фердинанда «никогда не выйдет дельного торговца». И действительно, его неудержимо влекло на другую, более широкую и более блестящую дорогу. Его горячая, богато-одаренная натура не могла удовлетвориться прозой торговой конторы. Он с жадностью читал немецких классиков, увлекался Гейне и сам мечтал сделаться поэтом. Между тем обязательные занятия шли плохо, с учителями происходили частые столкновения, и, наконец, Лассаль твердо решился оставить школу. Родителям пришлось уступить, и таким образом будущий агитатор снова вернулся в Бреславль, чтобы подготовиться к вступительному университетскому экзамену.

Прекрасно сдавши этот экзамен, Лассаль записался на философский факультет бреславльского университета, откуда он перевелся, впоследствии, в берлинский. Главными предметами его тогдашних занятий были—классическая филология и философия. Эти юношеские занятия имели огромное влияние на все направление его дальнейшей самостоятельной ученой деятельности. Еще девятнадцатилетним студентом он закончил, в главных чертах, то исследование о философии Гераклита Темного, которое доставило ему впоследствии громкую известность в ученом мире. Точно также уже в годы студенчества он основательно усвоил немецких философов, при чем главным расположением его пользовались Фихте и Гегель.

«В духовной организации Лассаля были черты,—говорит Брандес,—благодаря которым его сильно должна была привлекать гегелевская философия, безусловно господствовавшая во время его первой молодости, именно: его собственные диалектические способности и его стремление овладеть ключем, посредством которого он мог бы открыть себе путь к знанию и пониманию, составляющим силу. Что Лассаль особенно заинтересовался Гераклитом—это происходило, с одной стороны, от страстного желания взяться за решение такой трудной задачи, которая испугала бы всякого другого... *), а с другой стороны восторженный поклонник Гегеля должен был испытывать особенное удовольствие в изложении философа, который, казалось ему, был предшественником его учителя» **). Кроме того, нужно заметить еще следующее, упущенное

*) Гераклит еще в древности имел репутацию очень трудного писателя, отсюда его название—*Темный*.

**) *Georg Brandes*, Ferdinand Lassall, S.S. 34—35.

Брандесом из виду, но очень важное обстоятельство. Горячий и талантливый студент, зачитывавшийся произведениями Гейне, очевидно, был проникнут теми революционными стремлениями, которые, как мы видели в предыдущих главах, охватывали учащуюся молодежь тогдашней Германии. Но этот студент имел слишком глубокую натуру для того, чтобы довольствоваться простым, голым отрицанием; он должен был искать в науке и в философии теоретического оправдания для своих революционных стремлений. Это оправдание давала философия Гегеля, переработанная и дополненная его учениками. Вот почему Лассаль сделался рьяным гегельянцем, подобно почти всем замечательным революционерам Германии (да и не одной Германии) сороковых годов.

Пылкий демократ, Лассаль, конечно, уже в юношеские годы поставил себе ту великую цель, о которой он говорил впоследствии в своей речи «Наука и Работники» *). Эта цель не сразу вылилась в определенные практические стремления, но она обусловливала собою ход и направление его занятий общественными вопросами.

Окончив университетский курс, Лассаль отправился в Париж, где продолжал работать над философией Гераклита Темного. Там же он познакомился, между прочим, с Гейне, этим Аристофаном XIX века, как справедливо называет его Брандес. Новейший Аристофан далеко не был, как известно, таким консерватором, как автор «Облаков». Он не только не осмеял молодого революционера в каком-либо сатирическом произведении, но всегда отзывался о нем с величайшим восторгом и удивлением. «Я ни в ком еще не встречал такого соединения страсти и ясности рассудка,—писал он самому Лассалю.—Вы имеете полное право дерзать, между тем как другие лишь узурпируют это божественное право, эту небесную привилегию. В сравнении с Вами я оказываюсь лишь скромной мухой».

Тот же Гейне, в письме к Фарнгагену фон-Энзе дает следующую замечательную характеристику Лассаля:

«Мой молодой друг Лассаль обладает замечательнейшими дарованиями: с основательнейшею ученостью, с обширнейшими знаниями,

*) «В том-то и состоит величие этого века,—говорит он в названной речи,—что ему суждено *выполнить* то, о чем в предшествующие века не могли и *помыслить:* привести науку к народу!..

«Союз науки и работников, этих двух крайних полюсов нынешнего общества, которые, когда сойдутся, раздавят в своих железных об'ятиях все культурные препятствия—вот цель, которой я решился посвятить свою жизнь до последнего вздоха!» Русский перевод сочинений Лассаля, С.-Петербург 1870, т. I, стр. 45.

с величайшей проницательностью, какую мне когда-либо приходилось встречать, с богатейшею способностью изложения он соединяет удивительную энергию и практическую ловкость... Это соединение знания и способности к действию, таланта и характера было для меня отрадным явлением. Господин Лассаль есть достойный сын нового времени, не желающего и слышать о том самоотречении и той скромности, которыми мы, с бо́льшею или меньшею искренностью, так пленялись и о которых мы так много болтали в свое время. Это новое поколение хочет завоевать себе значение и пользоваться *видимым;* мы, старики, покорно склонялись перед *невидимым,* стремились обнять призраки и насладиться благоуханием цветов фантазии, смирялись и хныкали, и все-таки были, пожалуй, счастливее этих суровых гладиаторов, которые так гордо идут в бой, навстречу смерти».

Но не один Гейне восхищался Лассалем. Бо́к и Александр Гумбольдт пророчили этому *чудо-юноше* (Wunder-Kind) самую блестящую будущность.

Зимою 1844—1845 г.г. Лассаль вернулся в Берлин с намерением занять кафедру доцента в тамошнем университете. Но здесь его ожидала встреча, оказавшая решительное влияние на весь дальнейший ход его жизни и подавшая повод к нескончаемым клеветам и нареканиям. Мы говорим об его встрече с графиней Гацфельд *).

Почти ни один биограф Лассаля не отказывал себе в удовольствии основательно обсудить вопрос о том, любил или не любил его герой графиню Гацфельд. Ааберг, ничего не говоря прямо, многозначительно рисует красоту графини, глаза которой «сверкали блеском еще неугасшей страсти» **). С своей стороны, мы не видим повода не верить тому, что говорит о своих отношениях к Гацфельд сам Лассаль в письме к любимой девушке (С. Солнцевой, опубликовавшей свои воспоминания в «Вестнике Европы» за ноябрь 1877 г. Впоследствии эти вос-

*) *Дюринг* в своей «Kritische Geschichte der National-Oekonomie und des Sozialismus» так говорит об этой встрече: «Ближайшей жизненной задачей, которую задал себе двадцатилетний юноша, было пристроиться к одной эмансипированной графине и ее процессу против мужа, при чем он однако, как теперь известно, не забыл деловых соображений и контрактом выговорил себе хороший куш в случае счастливого исхода процесса», стр. 497.

**) Ferdinand Lassalle, Biographie, Leipzig 1881, стр. 11. Эрнст фон-Плener, ни мало не стесняясь, решает этот вопрос в утвердительном смысле, несмотря на все доводы в пользу противоположного мнения. Впрочем, его уверенность основана на одном только «Doch» и на том, что графиня была «красива» (См. Allgemeine Deutsche Biographie, B. 17).

поминания были переведены на немецкий и французский языки). Мы думаем, что он был слишком горд для того, чтобы унижаться до лжи в любовной «*исповеди*». Поэтому мы расскажем «дело Гацфельд» на основании собственных показаний Лассаля.

«В январе 1846 г.,—говорит он,—я познакомился в Берлине с графиней Гацфельд... Насколько велико благородство ее души, насколько глубок ее ум, настолько же велико несчастие ее судьбы. Муж ее, он же и двоюродный брат, граф Эдмонд Гацфельд, ненавидел ее, мучил и преследовал ее такими недостойными способами, каких нельзя найти даже в самых неправдоподобных романах... Он заключал ее в своих горных замках, отказывая ей в докторах и лекарствах во время ее болезней, вырывал у нее из рук, тайными похищениями, ее детей. Вся жизнь этой отважной женщины была лишь борьбой за детей, которых она постоянно возвращала себе и снова теряла. Она имела очень могущественные родственные связи... Ее братья занимали самые высокие положения в обществе. Они горячо порицали графа. Часто... они делали усилия, чтобы принудить графа дать слово переменить свое поведение... Граф всякий раз уступал, устраивал кажущиеся примирения, подписывал все, чего от него требовали, и через три дня после того он снова начинал свои злодеяния, потому что добровольные сделки между супругами ничего не значат по нашим законам... Оставалось одно лишь средство спасения: прибегнуть к обыкновенному суду. Это средство имелось давно в виду. Много лет уже графиня умоляла на коленях своих родственников обратиться за помощью к суду. Но этого-то родственники и не желали ни в каком случае, потому что избыток подлостей графа делал оглашение подобного процесса, по мнению родственников, невозможным.

«Можете ли вы, Софи, составить себе верное понятие о том впечатлении, которое произвела эта история на меня, горячего революционера, когда я выслушал ее, когда графиня дала мне неопровержимые доказательства фактов—в переписке с родными и в других бумагах!» «Я видел перед собою в лице одной индивидуальной жизни олицетворение всех неправд давно прошедшего жизненного строя; олицетворение всех злоупотреблений власти, силы и богатства, направленных против слабого; все нарушения наших общественных прав».

«И я сказал самому себе: да не будет сказано, что ты, зная все это, спокойно допустил задушить эту женщину, не придя ей на помощь! Если бы ты поступил так, то какое имел бы ты право упрекать других в подлости и эгоизме?

«Я сказал графине, которая не знала более, что ей делать...: вы хорошо знаете, что, начав процесс, вы будете покинуты вашей родней, которая обратится против вас, как вам это всегда говорили; но вы также хорошо знаете, что с их стороны вам нечего ожидать, кроме пустых слов. Если вы твердо решитесь победить или умереть, я возьму ваше дело в эти молодые, но сильные руки,—и клянусь вам бороться за вас до смерти».

В этих словах виден весь Лассаль, со всеми его крупными достоинствами и маленькими недостатками. Благородный и отзывчивый, он всегда готов был ополчиться на защиту правого дела. Но самоотверженность не исключала у него некоторой доли тщеславия, и, совершая самый благородный поступок, он не упускал случая наградить себя комплиментом.

Само собою понятно, что графиня с радостью приняла неожиданную помощь, и тогда Ласаль начал свой знаменитый процесс против ее мужа.

Процесс этот тянулся целых девять лет; он послужил первым испытанием громадной энергии Лассаля. Ему пришлось совершенно оставить свои научные занятия, кроме, впрочем, юриспруденции, изучения которой требовали интересы самого процесса. «Я не изучал до того времени права,—говорит он,—но зато теперь стал изучать его с *бешенством*. Продолжая вести процессы, я превращался в юриста; в несколько месяцев я сравнялся с адвокатами, а в два года, могу сказать, я превзошел их всех.

«В то же время я обратился к демократической прессе. Вся она отозвалась на мой голос. Я уничтожил графа в общественном мнении. Это была ежедневная борьба, и борьба на смерть».

Но граф также не бездействовал. Его богатство и связи делали его страшным противником, а необдуманное поведение друзей Лассаля скоро привело этого последнего на скамью подсудимых.

Дело было так. Лассалю необходимо было «разыскать и подготовить юридические доказательства расточительной и развратной жизни графа, чтобы возбудить против него процесс о наложении запрещения за его расточительность и процесс о разводе». Между тем именно в то время граф Гацфельд сошелся с баронессой Мейендорф и, как оказалось по наведенным справкам, решил сделать ей дар, который лишил бы всяких средств младшего сына его, Поля, состояние которого не было упрочено правами семейного майората. Лучшего доказательства расточительности нельзя было и придумать. Но как воспользо-

ваться им, не имея в руках относящихся сюда юридических документов? Другу Лассаля, Оппенгейму, пришла мысль *похитить* этот документ у баронессы. Он приводит в исполнение эту «дикую мысль», но попадается в руки полиции; против него поднимают обвинение в краже, а Лассаля стараются выставить главным зачинщиком всего этого предприятия. 11 августа 1848 года он является на скамье подсудимых перед кельнскими присяжными. «Я встретил более четырнадцати лжесвидетелей, купленных графом против меня,—говорит он в той же «*исповеди*».—...В семидневных дебатах я изобличил постыдных лжесвидетелей, я смутил и уничтожил окончательно клевету неопровержимыми доказательствами, я раскрыл историю этого супружества в последний день, в шестичасовой речи. Отбросив в сторону обвинение, направленное против меня, я заговорил о вражде между графом и графиней, отожествляя себя с их делом, и разбил окончательно графа и его сообщников».

Теперь уже всеми признано, что возбужденное против Лассаля судебное преследование было, в сущности, *тенденциозным* преследованием. Обвиняя «подстрекателя к воровству», прокурорский надзор хотел покарать *демократа*. В свою очередь, Лассаль, клеймя супруга Гацфельд, клеймил всю *аристократию*. Рассказав в своей речи, как равнодушно относились родные к безвыходному положению графини, он восклицает: «Я сказал себе, что хотя насилия совершаются во всех слоях и классах общества, но что если бы эта женщина имела счастье принадлежать к буржуазному, ремесленному, крестьянскому кругу, давным-давно нашелся бы брат, родственник, друг, который положил бы предел этим безобразиям и протянул бы руку помощи беззащитной женщине. Я сказал себе, что этот поток возмутительнейших несправедливостей мог, в течение двадцати лет, беспрепятственно изливаться лишь в тех высших, гордых своим происхождением, общественных сферах, в которых, за весьма немногими исключениями, сердце холодеет под льдом титула, чувство умирает от привычки к произволу, а призыв к неприкосновенным правам человека не находит никакого отклика!» *).

Присяжные вынесли оправдательный приговор. Их решение вызвало целый поток радостных приветствий со стороны публики. Лассаля на руках вынесли из залы суда. Когда он приехал затем в Дюссельдорф, его «*оглушили*», как он выражается, сочувственные крики населения. Эта была первая овация, которую народ сделал своему будущему трибуну.

*) Vertheidigungsrede wider die Anklage der Verleitung zum Casseten Diebstahl, Breslau 1878, S. 29.

Оправданному Лассалю недолго, однако, пришлось оставаться на свободе.

В ноябре того же бурного 1848 г. прусское правительство предприняло, как известно, решительное наступление против Национального Собрания. Доведенное до крайности, Собрание вотировало отказ в податях (Steuerverweigerung), и правительству приходилось собирать их силой. Зная, что оно не остановится перед этим, революционеры пытались организовать народ для вооруженного сопротивления. В этом духе Маркс, Шаппер и Шнейдер обнародовали воззвание в Кельне, в этом же духе действовал Лассаль в Дюссельдорфе и его окрестностях. Отсюда возник ряд уголовных преследований против рейнских агитаторов. Лассаль был арестован 22-го ноября в Дюссельдорфе. Против него выставили обвинение в «*возбуждении граждан к вооруженному сопротивлению королевской власти*».

Предварительное заключение тянулось целых пять месяцев, так что только 3-го мая 1849 года Лассаль предстал перед дюссельдорфскими присяжными. В свою защиту он произнес речь, которая навсегда останется одним из самых замечательных памятников политического красноречия XIX века. Это бесспорно лучшая из его речей. Читая ее, трудно представить себе, что она произнесена 23-летним юношей. Как в речах Демосфена, неотразимая логическая убедительность соединяется в ней с самым увлекательным красноречием. Но это красноречие не имеет ничего общего с риторикой. Слова не служат искусственным и преувеличенным выражением чувств оратора. Напротив, у читателя (а тем более это можно было сказать о *слушателях)* остается такое впечатление, будто оратор, несмотря на свое удивительное искусство, все-таки не мог выразить всей глубины своей ненависти к реакции и любви к свободе. В умении произвести такое впечатление заключается, быть может, вся тайна неподдельного красноречия. В этом случае слушатель дополняет недосказанное собственным душевным движением, а это значит, что оратор действует не только на его слух, но и на чувство.

Изложивши непродолжительную историю прусского Национального Собрания до Ноябрьского Coup d'état включительно, обнаруживши все контр-революционные козни правительства, заклеймивши все лицемерие реакционной политики, Лассаль как будто сам не может оторвать глаз от нарисованной им, ненавистной картины. Дальше! Дальше!—восклицает он.—Вложим глубже наши персты в раны еще теплого трупа родины! Пусть вид их зажжет святую патриотическую ненависть

в наших сердцах. Не позабудем ничего, никогда, ни на минуту! Может ли сын забыть того, кто опозорил его мать? Эти ужасные воспоминания представляют собою все, что осталось нам от былой свободы, наши единственные кровавые реликвии. Сохраним же бережно эти воспоминания, как прах замученных родителей, от которых единственным наследством остается нам клятва мести, произнесенная над их смертными останками!» Затем, рассмотревши поведение демократии и показавши всю законность его с точки зрения созданных революцией правовых отношений, он утверждает, что демократия *обязана* была поступать так, как она поступила. «Вооруженная защита закона, которому угрожает правительство, есть священнейшая обязанность, самое серьезное испытание гражданина». Он требует оправдания, но требует его в интересах политического достоинства самих присяжных, голос которых служит выражением общественной совести. Он знает, что ему ни в каком случае не уйти из рук мстительной реакции. «Как панцырь воина усеян неприятельскими стрелами, так и я осажден уголовными преследованиями»,—говорит молодой боец с гордым сознанием своей силы и своего значения. Действительно, в то самое время, когда дело его разбиралось перед присяжными, прокуратура ухитрилась, по тому же поводу, возбудить против него новое обвинение, на этот раз перед исправительной полицией (Correctionstribunal). Правительство понимало, что присяжные были на стороне защитников конституции. Двойная атака давала ему вдвое более шансов успеха.

И в самом деле, присяжные опять вынесли Лассалю оправдательный приговор. Они не решились обвинить подсудимого, хотя он прямо заявил им, что «*принадлежит к числу самых решительных сторонников социал-демократической республики*». Несколько лет спустя положение дел значительно изменилось к худшему, и кельнские присяжные обнаружили совсем другое настроение в известном процессе коммунистов фракции Маркса и Энгельса.

Но и на этот раз исправительная полиция сделала то, чего не захотели сделать присяжные. Лассаль был приговорен к шестимесячному тюремному заключению. Он отсидел этот срок зимою 1850 г.

Между тем, дело против графа Гацфельда шло своим чередом. Лассаль вел его даже в то время, когда сидел в тюрьме. Наконец, «после долгих лет, после несказанных страданий», в августе 1854 года оно окончилось мирным соглашением сторон.

«Наконец я сломил этого знатного вельможу,—говорит неутомимый защитник графини.—Наконец я держал его под ногами! Я продиктовал ему мир на условиях, не только вполне унизительных для него, но и вполне его бесчестящих. Наконец я освободил эту женщину от его власти и принудил его передать ей очень большую часть своего состояния».

Теперь в жизни Лассаля наступило затишье, продолжавшееся вплоть до начала следующего десятилетия. Он работал, наслаждался жизнью, пережил не одно любовное приключение, много путешествовал, но не переставал зорко присматриваться ко всем проявлениям общественной жизни дома и за границей. В 1858 г. вышло его первое ученое сочинение, над которым он работал еще будучи студентом: «Die Philosophie Heracleitos des Dunkeln von Ephesos. Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten dargestellt».

Оно сразу доставило автору славу в ученом мире и до сих пор считается важнейшим пособием при изучении «темного» эфесского мыслителя. За «*Гераклитом*» последовал «*Франц фон-Зикинген*», за монографией по греческой философии—историческая драма из времен реформации. Лассаль давно уже и с особенным удовольствием посвящал часть своего времени изучению истории этой эпохи. «Казалось бы, проще и уместнее было изложить в ученом труде те выводы, к которым я пришел,—говорит он в предисловии к своей драме.—Для меня это наверное было бы легче. Но я хотел написать не такое сочинение, которое проникло бы лишь в книжные шкафы ученых. Я был слишком воодушевлен своим материалом. Моим намерением было сделать внутренним достоянием народа этот, им почти совершенно забытый, известный лишь ученым, великий культурно-исторический процесс, результатами которого живет вся наша современная действительность. Я хотел, чтобы этот культурно-исторический процесс, по возможности, ожил в сознании народа и заставил сильнее биться его сердце. Такая цель может быть достигнута только поэзией, и потому я решился написать драму».

Иначе сказать, мирная, спокойная жизнь, которую пришлось вести Лассалю по окончании дела Гацфельд, становилась для него невыносимой. Рожденный агитатором, он не мог надолго запереться в своем ученом кабинете, и, не имея возможности действовать на народ с политической трибуны, он решился обратиться к нему со сцены. В письме к Фрейлигграту он наивно говорит, что его драма, «в гораздо большей степени, представляет собою продукт революционного стремления к действию, чем поэтического дарования». Так как одно не может заменить другого, то неудивительно, что его произведение страдало отсутствием художественных достоинств. Несмотря на это, драма читается с вели-

чайшим интересом, потому что в ней мы часто встречаемся с самим автором. При всем желании предоставить слово самим действующим лицам, он нередко забирается в суфлерскую будку и подсказывает им оттуда свои собственные мысли и стремления; нередко также он совсем теряет самообладание, выскакивает на сцену, разражается красноречивыми тирадами и высказывает взгляды, которые мы находим потом в его агитационных или полемических сочинениях. Брандес совершенно справедливо замечает, что «Франц фон-Зикинген» представляет собою «богатейший рудник» для изучения психологии Лассаля.

В сущности, главным героем драмы является знаменитый гуманист Ульриф фон-Гуттен, «лучший человек Германии», с огромным талантом и обширным образованием соединяющий рыцарскую отвагу и стремление «связать науку с жизнью». Он решительный сторонник революционного способа действия, и когда капеллан Зикингена, Эколампудиус, развивает перед ним теорию, известную у нас теперь под именем теории «непротивления злу насилием», он отвечает красноречивой апологией «меча».

«Напрасно вы так плохо думаете о мече,—восклицает он,—меч, обнаженный в защиту свободы, есть именно то воплощенное слово, тот сошедший на землю бог, о котором вы говорите в своих проповедях. Мечом распространялось христианство, мечом крестил Германию Карл, поныне называемый нами Великим. Мечом низвергнуто язычество, мечом освобожден гроб Спасителя! Мечом изгнан из Рима Тарквиний, мечом удален из Эллады Ксеркс, спасены наука и искусство. Мечом сражались Давид, Самсон и Гедеон. Мечом было совершено все великое в истории, и, в конце концов, ему же будет она обязана всеми великими событиями, которые когда-либо в ней совершатся!» (III Akt, 3 Auftritt).

Лассаль подсказывает своим героям очень широкие освободительные планы. И нельзя сказать, чтобы, по крайней мере по отношению к Гуттену, он отступил от исторической истины. Но средством исполнения этих планов в драме, как и в истории, служит заранее осужденное на неудачу движение мелкого немецкого дворянства против крупных феодалов. Несоответствие между средством и целью скоро дает себя чувствовать. Франц фон-Зикинген вынужден перейти от наступления к обороне. Осажденный в одном из своих замков, он сознает, наконец, свою ошибку и решается обратиться «ко всей нации». С своей стороны, Гуттен входит в сношения с крестьянскими заговорщиками и спешит к Зикингену с известием о том, что сто тысяч крестьян готовы восстать по первому его слову. Но уже поздно. Смертельно раненый в напрасной попытке пробиться сквозь неприятельские ряды, Франц умирает, а его друг отправляется в изгнание, завещая свою месть «будущим столетиям».

Ниже мы увидим, что и сам Лассаль не всегда умел, или, лучше сказать, не всегда имел достаточно терпения, чтобы установить надлежащее соответствие между своими целями и своими средствами.

Но не будем забегать вперед, а чтобы покончить с «*Зикингеном*», приведем из его предисловия еще несколько строк, в которых автор высказывает очень интересный взгляд на драму.

«Прогресс драматической поэзии со времени Шекспира состоит в том, что немцы, именно Гете и в особенности Шиллер, создали собственно историческую драму. Отсюда уже вытекает все остальное, в особенности большая глубина мысли шиллеровской драмы. Но даже у Шиллера великие исторические столкновения являются лишь общей почвой, на которой совершается трагическое действие. Таково столкновение протестантизма с католицизмом в Валленштейне, Марии Стюарт, Дон-Карлосе. Душою драматического действия, разыгрывающегося на этой исторической почве, являются, как это уже и было замечено другими, индивидуальные интересы, личное честолюбие, фамильные и династические цели. Даже в лучшем произведении Шиллера, Телле, которое более всего соответствует понятию исторической драмы, заметен тот же недостаток. Освободивший страну поступок вызван не стремлением грютлианских заговорщиков к национальному освобождению, а законной самообороной героя, священнейшие семейные чувства которого подверглись поруганию. Я же с давних пор считаю высочайшей задачей исторической, а вместе с нею и всякой другой трагедии изображение великих культурно-исторических процессов различных времен и народов, в особенности же своего времени и своего народа. Она должна сделать своим содержанием, своей душою великие культурные мысли и борьбу подобных поворотных эпох. В такой драме речь шла бы уже не об отдельных личностях, являющихся лишь носителями и воплощением этих глубочайших, враждебных между собою противоположностей общественного духа, но именно о важнейших судьбах нации,—судьбах, сделавшихся вопросом жизни для действующих лиц драмы, которые борются за них со всею разрушительною страстью, порождаемой великими историческими целями».

Лассаль сознает, что при известных обстоятельствах подобной драме грозит опасность выродиться в абстрактную, ученую поэзию. «Но я убежден,—замечает он,—что этой опасности можно избегнуть и что, с другой стороны, перед величием подобных всемирно-исторических це-

Библиотека СССР им. В. И. Ленина

лей и порождаемых ими страстей—бледнеет всякое возможное содержание трагедии индивидуальной судьбы».

Наши критики не раз задавались вопросом об упадке русской беллетристики. Чаще всего они об'ясняли его отсутствием свободы печати. Но нет ли еще других и более глубоких причин? Не падает ли наша беллетристика потому, что г.г. беллетристы слишком далеки от понимания *«великих противоположностей» современной русской жизни?* Когда эти противоположности достигают известной степени интенсивности, в борьбу их вмешиваются все живые силы народа, а все остающееся в стороне—мельчает и падает.

Спустя не более года после выхода в свет «Франца фон-Зикингена» политические события снова показали, какую важную роль играет «меч» в истории развития народов. Началась итальянская война. Так как Наполеон III выступил на защиту Пиемонта против Австрии, то часть прусской демократической прессы, из ненависти к герою 2 декабря и во имя немецкого национального чувства, высказалась за войну Пруссии против Франции. Лассаль написал брошюру «Der italienische Krieg und die Aufgabe Preussens», в которой высказал иной взгляд на этот вопрос. По его мнению, помогать Австрии значило бы поддерживать реакцию. При том же помогать ей нельзя было бы иначе, как путем угнетения Италии, путем борьбы против ее стремлений к единству и независимости. Демократия не может сочувствовать такой борьбе. «Демократический принцип основан на принципе свободных национальностей. Без него он лишается всякой опоры. Национальный же принцип вытекает из права народного духа на свое собственное историческое развитие и самоосуществление» *). Поэтому немецкая демократия должна думать не о *подавлении итальянской* национальности, а об *единстве немецкого* народа. Но в этом случае ее стремления совпадают с

*) Лассаль признает только одно ограничение этого общего правила; именно оно не применимо к тем народам, «которые не могли собственными силами дойти до исторического существования», или к тем, которые останавливаются в своем развитии и дают повод более прогрессивным соседям «овладевать некоторыми частями их территории и ассимилировать их, к собственному удовольствию этих частей». Вымирание или ассимиляция завоеванного народа завоевавшим одни только указывают на его историческую неправоспособность. Впоследствии, в письме к Родбертусу, Лассаль так поясняет сказанное им в этой брошюре: «Право национальности я признаю лишь *за великими культурными нациями*, а не за расами, которые имеют лишь право быть ассимилированными этими нациями и выведенными на путь развития». См. Briefe von Ferdinand Lassalle an Carl Rodbertus-Jagetzow, Berlin 1878, S. 57.

правильно понятыми интересами прусского правительства. Обстоятельства сложились очень благоприятно для этого последнего. «Если бы теперь на прусском троне сидел Фридрих Великий, то можно почти с уверенностью сказать, какой политике он стал бы следовать. Он понял бы, что пришло, наконец, время дать выход стремлению немцев к единству... Он считал бы это время самым благоприятным для того, чтобы вторгнуться в Австрию, провозгласить Германскую империю и предоставить Габсбургам устраиваться как они хотят в их *не*-немецких землях». Но так как нельзя от каждого данного правительства требовать, чтобы оно обладало энергией Фридриха Великого, то Лассаль желает, по крайней мере, чтобы Пруссия заговорила таким языком:

«На основании принципа национальностей Наполеон переделывает карту Европы на юге; прекрасно,—мы сделаем то же самое на севере. Наполеон освобождает Италию; очень хорошо, мы возьмем Шлезвиг-Гольштейн».

Он думает, что только такая политика могла бы еще показать способность монархии к какому-нибудь «национальному подвигу». Он уверяет прусское правительство, что в войне за Шлезвиг-Гольштейн «немецкая демократия несла бы прусское знамя и уничтожала бы перед ним все препятствия, с силой, которую способен породить лишь опьяняющий взрыв национальной страсти, подавляемой в течение пятидесяти лет, но не переставшей согревать сердце великого народа».

Такое обращение к прусской монархии странно поражает в устах человека, который несколько лет спустя упрекал партию прогрессистов в том, что она «вынуждена своим догматом прусской гегемонии видеть в прусском правительстве Мессию германского возрождения, тогда как нет ни одного немецкого правительства, не исключая гессенского, которое в политическом отношении стояло бы позади прусского, и, наоборот, нет почти ни одного немецкого правительства, не исключая австрийского, которое не шло бы впереди прусского».

Это, бесспорно, вопиющее противоречие. И чего мог ждать от монархии «решительный сторонник социально-демократической республики»? Уже в статье «Fichte's politisches Vermächtniss und die neueste Gegenwart», написанной в январе 1860 года, сам Лассаль, приведя пожелание Фихте относительно того, чтобы прусский король явился революционным воспитателем Германии в духе свободы и единства, прибавляет:

«О, если бы король совершил этот подвиг!—так восклицает вот уже пятьдесят лет, то надеясь, то жалуясь, то раздражаясь, то снова надеясь, немецкий народ в своей политической пустыне, и только рав-

нодушное эхо отвечает ему его собственным голосом... Увы, немецкий народ находится в положении гейневского юноши:

Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt
Und nur ein Narr wartet auf Antwort.

Выше мы заметили, что Лассаль не всегда имел достаточно терпения, чтобы установить надлежащее соответствие между своими целями и своими средствами. Теперь мы встречаемся с первым примером, могущим подтвердить справедливость сказанного. Об'единенная Германия, «Grossdeutschland moins les dynasties», была заветной мечтой Лассаля. Для ее осуществления он иногда готов был итти рядом с прусским правительством, соглашая несогласимое, реакционную монархию с революционной демократией, забывая, что ему нужно было не только *национальное единство*, но и «*воспитание в духе свободы*», которое совсем не входило в прусскую педагогическую систему. Конечно, об'единенной стране легче добиться свободы, и в этом смысле даже императорско-королевско-прусское об'единение является для Германии шагом вперед сравнительно с тем, что было прежде. Но ничто не может помешать освобождению немецкого народа больше, чем вера в прогрессивную миссию прусской и всякой другой монархии.

Как бы то ни было, но появление брошюры «Der italienische Krieg» совпадало с началом общего возбуждения в Германии. Глубокая ночь реакции приходила к концу, уступая место серенькому дню либерализма. В Пруссии король Фридрих Вильгельм IV закончил свою реакционную карьеру окончательным умопомешательством. Еще в октябре 1858 г. назначено было регенство, и началась так называемая «*новая эра*». Лассаль не приходил, конечно, в умиление от либерализма нового министерства. Но, как видно из его переписки, он с уверенностью ждал важных политических событий, толчком для которых должны были послужить международные отношения. В 1860 г. он встретился с Софьей Солнцевой и, страстно влюбившись в нее, послал ей, вместе с предложением руки, уже цитированную нами «*исповедь*». В ней мы отметим следующее характерное место.

Приглашая любимую девушку обдумать его предложение, он говорит:

«Прежде всего, Софи, надо хорошенько поразмыслить о том, что я человек, отдавший свое существование своему делу, с его крайними последствиями. Этому делу суждено торжествовать в нашем веке, но оно еще много раз подвергнет значительным неудачам и опасностям своих сторонников. В этой борьбе я могу встретить страшные положения, от которых, впрочем, никакая привязанность не отвратит меня. Мое состояние, моя свобода, самая жизнь моя всегда могут подвергнуться опасности. *Ничто* не верно со мною. Выйдя за меня, вы оснуете ваше существование, построите ваш дом на вершине вулкана. Хватит ли у вас отваги перенести в случае неудачи все: изгнание, тюрьму, разорение, бедность и даже самую смерть?»

Понятно, что не в рядах либеральной буржуазии мог он найти то великое дело, которому решился отдать свое существование. Он с презрением смотрел на ее бессильные попытки окончательно обуздать реакционную партию, и с нетерпением ждал того времени, когда ему можно будет вывести новых борцов на политическую арену Германии. Он чувствовал, что скоро придется ему нести *науку к работникам*.

Тем временем вышел в свет новый ученый труд его, «System der erworbenen Rechte, Eine Versöhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie» (1861) *(Система приобретенных прав. Опыт примирения положительного законодательства с философией права)*. Это исследование еще более упрочило ученую славу Лассаля. Но так как первая часть его *(Теория приобретенных прав)* приводит к очень радикальным заключениям, то раздававшиеся в честь автора похвалы нередко сопровождались сомнительным покачиванием головы и замечаниями в том роде, что названная теория легко может обратиться в *практику отнятых прав*. В своем месте мы познакомим читателя с содержанием этого сочинения.

Лассаль собирался написать еще «*философию Духа*» (Philosophie des Geistes) и «*Основы научной политической экономии*» (Grundlinien einer wissenschaftlichen National-Oekonomie). Обстоятельства помешали ему исполнить это намерение. По его собственным словам, он уже готов был сесть за свой труд по политической экономии, когда вышеприведенное письмо *Лейпцигского Комитета* поставило перед ним экономические вопросы в практической форме. При том мы уже знаем, что в характере Лассаля борец занимал слишком много места, чтобы надолго умолкнуть перед мыслителем. Точно также, как после окончания «*Гераклита*» он, за неимением поводов для политической агитации, взялся за революционную историческую драму, теперь, после выхода «*Системы приобретенных прав*», его увлекла литературная полемика. Уже в следующем, 1862 году появилась его, полная знания, ума, остроумия и до крайности резких полемических выходок брошюра «Herr Julian Schmidt, der Literarhistoriker, mit Setzerscholien herausgegeben». Эта брошюра была первым нападением его на ту «литературную чернь», которая так много испортила ему крови впоследствии.

Юлиан Шмидт кажется ему образцом свойственного этой черни самодовольства и ограниченности. «Если бы мой Юлиан был одиноким явлением, я не тронул бы его и пальцем!.. но таких как он много, и здесь можно сказать, изменяя евангельское выражение: «один зван, но много избранных» *).

Резкий тон Лассаля, разумеется, был не по вкусу писателям шмидтовского калибра; они знали, что и сами они способны, в хорошую минуту, наговорить не меньшее количество глупостей, и потому вообще очень сочувственно относились к несчастному «историку литературы». Но авторитет Шмидта, сочинение которого выдержало перед тем четыре издания, был все-таки уничтожен. Измена стала проникать в среду его поклонников. «Главный редактор «National-Zeitung», г. Dr. Цабель кричал всякому встречному: *я всегда это говорил,* между тем как он прежде расточал в своем листке самые преувеличенные похвалы Юлиану»,—рассказывал потом Лассаль в другом полемическом произведении. Самые нападки на «тон» брошюры показывали, что нечего было возразить против нее по существу. Победа нашего автора могла считаться общепризнанной.

Этот поход против Юлиана Шмидта был, в сущности, нападением на литературных героев и умственных руководителей тогдашней

*) Чтобы дать понятие о полемических приемах Лассаля, мы приведем здесь одно место из его брошюры. По поводу «Римской Истории» Нибура Юлиан Шмидт говорит: «Некоторые исторические документы из древнейших времен города дошли до нас в совершенно достоверной форме». Мнимый наборщик делает по этому поводу следующее примечание.

«Правда, г. Шмидт, правда—восклицает он.—Прочитавши это место, я побежал к знакомому студенту. С ним от радости чуть не сделалась пляска св. Витта. Итак, «исторические документы», и «в совершенно достоверной форме», и к тому же «из древнейших времен города», значит, по крайней мере, из эпохи царей! Г. Шмидт, жестокий вы человек, почему не опубликуете вы этих документов? Представьте себе радость, восторг, благодарность наших филологов, которые со слезами на глазах бросятся вам на шею. Берлинская Академия Наук сделает вас своим членом, Парижский Институт выдаст вам почетный диплом, из Оксфорда вам будут присылать пожизненную ренту в 1.000 фунтов!

«Г. Шмидт, г. Шмидт, что же вы собственно открыли? Скажите же, безжалостный! И откуда они у вас, эти «исторические документы», и еще «в совершенно достоверной форме», и, наконец, «из древнейших времен города»! О, проказник! Вы наверное открыли нотариальный брачный контракт Нумы Помпилия с нимфой Эгерией? Куда же вы годитесь, г. Шмидт? На восьми длинных, убористым шрифтом напечатанных страницах говорите вы о Нибуре и его исследованиях... даже не перелистовавши его сочинений! Потому что иначе вы не сказали бы подобной нелепости» и т. д.

немецкой буржуазии. И уже из того, что Лассаль назвал впоследствии Шульце-Делича *«экономическим Юлианом»,* видно, что он, прицеливаясь в «историка литературы», хорошо знал, в чей лагерь попадут его стрелы. За этой первой стычкой логически последовала общая атака против буржуазии, как класса, эксплоатирующего рабочих в экономическом и политическом отношениях. В самый разгар так называемого *«военного конфликта»,* т.-е. столкновения между прусской Палатой Депутатов и правительством по вопросу о новой организации армии, Лассаль выступил с речами *«О сущности конституции»,* в которых он резко и заслуженно осуждает трусливую тактику прогрессистов. По его словам, политический строй каждой страны обусловливается существующими отношениями силы различных классов и слоев ее населения. Писанная конституция представляет именно эти отношения, выраженные словами и занесенные на бумагу. С изменением отношений силы изменяется и политическое устройство, старая конституция превращается в негодный клочек бумаги и пишется—новая. Изменения же этих отношений вызываются переменами в экономической жизни народов. Так, например, в средние века земля была главным источником национального богатства, и землевладельческая аристократия естественно являлась господствующим сословием. С развитием городов отношения силы изменяются. Горожане поддерживают сначала монархию, которая кладет предел феодальным неурядицам. Но, чем более развивается промышленность, тем более растут силы и образование среднего сословия, и оно приходит, наконец, в столкновение с абсолютной монархией: «в обществе наступает 18 марта 1848 г.». Абсолютная монархия падает, пишется новая конституция, выражающая новые отношения силы, и т. д. Отсюда вытекают два вывода.

Во-первых: «нет предубеждения, ведущего к более вздорным заключениям, как общераспространенное, господствующее мнение, будто конституции составляют исключительную особенность новейшего времени. Каждая страна необходимо имеет реальное уложение или конституцию», потому что «ведь в каждой стране непременно же существуют какие-нибудь фактические отношения силы». Новейшее время характеризуется лишь тем, что существующие теперь отношения силы заносятся на бумагу, выражаются в *писаных* конституциях, между тем как прежде в этом не видели надобности.

Во-вторых, для того, чтобы *писаная* конституция была хороша и прочна, нужно, чтобы она соответствовала *действительной,* т.-е. существующим в стране реальным отношениям силы. Раз нарушено это соответствие, то ее не спасут уже никакие фразы об ее неприкосно-

венности. Именно в таком положении находилась, по мнению Лассаля, тогдашняя прусская конституция. «Она может измениться вправо или влево,—говорит он,—но уцелеть не может. Это доказывает всякому здравомыслящему человеку самый вопль об ее сохранении. Она может измениться *вправо,* если изменение предпримет правительство, чтобы согласовать писанную конституцию с фактическими условиями *организованной* силы в обществе. Или выступит *неорганизованная* сила общества и снова докажет свое превосходство над организованной. В таком случае конституция будет отменена и изменена *влево,* как в первом случае—вправо. Но во всяком случае она погибла».

Эта неизбежная гибель январской конституции 1850 г. не могла быть большой потерей для низших классов, которым она не давала почти никаких политических прав. Но для них в высшей степени важно было положить предел самовластию правительства, иначе сказать, помешать изменению конституции *«вправо»*. Во второй речи о «сущности конституции» *(«Что же теперь?»)* Лассаль указывает своим слушателям очень простое средство, с помощью которого Палата могла бы победить сопротивление правительства. Оно заключается в *«заявлении того, что есть»*. По мнению оратора, Палата должна была бы сделать такое постановление:

«Принимая во внимание, что Палата отвергла бюджет расходов на новую организацию армии; принимая во внимание, что, несмотря на это, правительство по собственному сознанию продолжает со дня этого решения расходовать на этот предмет попрежнему; принимая во внимание, что, пока это продолжится, прусская конституция... останется *ложью*...—Палата постановляет прекратить свои заседания на неопределенное время, а именно до тех пор, пока правительство не представит доказательства, что прекратило неутвержденные расходы».

Правительство было бы безусловно побеждено этим простым заявлением. В самом деле, ему оставалось бы или уступить, или править без палат, возвратиться ко временам голого, ничем не прикрашенного абсолютизма. Но если бы оно решилось на это последнее, то «поступок палаты—заявление того, что есть,—принудив правительство откровенно признать себя абсолютным, убил бы иллюзию, просветил бы немыслящих, ожесточил бы равнодушных к более тонким различиям. С этой минуты... все общество превратилось бы в организованный заговор против него, и правительству оставалось бы только заняться астрологией, чтобы по звездам узнать час своей гибели!»

Очень вероятно, что Лассаль был прав, и что только указанным им путем можно было притти к победе над правительством. Но какой

ценой купила бы буржуазия эту победу? Во-первых, ей пришлось бы помириться с «изменением конституции *влево*», т.-е. с расширением политических прав народа; и уже одно это обстоятельство должно было значительно умерять ее пыл в борьбе с правительством. Но, кроме того, перед ней открывалась всвсе уже неприятная перспектива народного революционного движения, внушавшего ей гораздо больше страха, чем реакционные замыслы Бисмарка. Поэтому прогрессисты не могли видеть в вышеприведенном совете ничего, кроме злой насмешки, имевшей целью уронить их достоинство в глазах рабочих. Раздраженные таким коварством, они обрушились на Лассаля с нелепыми упреками, обвиняя его в том, что он будто бы ставит *силу* выше *права*. На это он отвечал, что если бы он «создавал мир, то, по всей вероятности, устроил бы его так, чтобы право предшествовало силе»; но так как ему «не приходилось создавать мира», то он «вынужден отклонить от себя всякую ответственность, всякие похвалы и порицания за его устройство». В речах своих он говорил не о том, *чему следовало бы быть,* а о том, что есть в действительности; в действительности же «сила всегда предшествует праву и до тех пор предшествует ему, пока право, с своей стороны, не наберет достаточно силы, чтобы сломить *силу бесправия*» *).

Впрочем, мы уже сказали, что, выступая со своими речами, Лассаль заботился не об обращении «прогрессистской» партии на путь прогресса. Напротив, еще за несколько месяцев до произнесения своей второй речи о конституции он бросил ей перчатку именно в той лекции *«Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия»*, которая, появившись потом в печати, так понравилась лейпцигским работникам. Лектор делает в ней обзор исторического развития европейского общества, начиная со средних веков, и показывает, *как* и *почему* в процессе этого развития данный класс сначала становился «господствующим во всех отношениях общественным фактором», а затем должен был уступать свое привилегированное положение новому «сословию». Так, господство землевладельческой аристократии сменилось господством буржуазии, а за буржуазией стоит рабочий класс, «четвертое сословие», которому также суждено стать, со временем, господствующим.

Сделав характеристику предыдущих исторических эпох, ознаменовавшихся господством крупного землевладения и капитала, Лассаль переходит к современному периоду. Начало его он относит к 24 февра-

*) Сила и право, стр. 472—473 I-го тома русского перевода.

ля 1848 г. «В этот день во Франции, стране, титанические внутренние битвы которой своими победами и поражениями знаменуют победы и поражения всего человечества, разразилась революция, возведшая работника (Альбера) в члены временного правительства, возвестившая целью государства улучшение жребия рабочего класса, провозгласившая общее и прямое избирательное право, в силу которого каждый гражданин, по достижении 21 года, получает равное участие в государственной власти, в определении воли и цели государства, независимо от его имущественных обстоятельств».

«Если Революция 1789 г. была Революцией Tiers-Etat, *третьего* сословия, то революция 1848 года есть революция четвертого сословия, которое в 1789 году еще таилось в *складках* третьего сословия, и, повидимому, было тожественно с ним. Теперь оно желает сделать свой принцип господствующим принципом всего общества и проникнуть им все его учреждения. Но здесь, в господстве четвертого сословия, тотчас высказывается громадная разница с господством других сословий. Дело в том, что четвертое сословие есть последнее и крайнее сословие общества, сословие обездоленное, не имеющее и не могущее выставить никакого исключительного, правового или фактического условия, ни дворянства, ни землевладения, ни капиталовладения, которое оно могло бы обратить в новую привилегию и провести через все учреждения общества... Его дело есть действительно дело всего человечества, его свобода есть свобода самого человечества, его владычество есть владычество *всех*».

Далее Лассаль рассматривает принцип рабочего сословия в трояком отношении: в отношении формального средства его осуществления; в отношении его нравственного содержания, и в отношении присущего ему воззрения на цель государства.

Средство осуществления его заключается в общем и прямом избирательном праве. Конечно, общее и прямое избирательное право не может предохранить рабочих от ошибок. «Мы видели во Франции в 1848 и 1849 годах, одно за другим, два неудачных избрания. Но общее и прямое избирательное право есть единственное средство, само заглаживающее с течением времени ошибки, к которым может повести неудачное пользование им в данную минуту. Это—копье, само исцеляющее раны, которые оно наносит. При общем и прямом избирательном праве невозможно, чтобы избранное собрание не сделалось, наконец, верным и точным представителем избравшего его народа».

Что касается нравственного содержания рассматриваемого принципа, то Лассаль видит его преимущество в указанной уже невозможности для рабочего класса отделить свое дело от дела всего человечества, выставить на своем знамени какую-нибудь новую привилегию. У рабочего класса не может быть того противоречия между его эгоистическими, классовыми интересами и культурным развитием нации, которая «составляет причину глубокой и неизбежной испорченности привилегированных сословий». Эти сословия «осуждены жить среди своего собственного народа, как среди врагов, должны считать его врагом, поступать с ним как с врагом, должны хитрить и скрывать эту вражду, облекать ее разными более или менее искусственными покровами». Не то видим мы в низших классах. «Когда низшие классы общества стремятся к улучшению своего положения, *как класса,* к улучшению участи своего сословия,—их личный интерес совпадает с развитием всего народа, с победой идеи, с прогрессом культуры, с самим жизненным началом истории, которая есть не что иное, как развитие свободы».

Наконец, четвертое сословие имеет не только иной политический принцип, и не только относится иначе к прогрессу культуры, чем высшие сословия, но имеет еще совершенно иной взгляд на *цель государства.* Буржуазия проповедует государственное невмешательство, она говорит, что государство должно лишь обеспечить каждому беспрепятственное пользование его силами. Это было бы хорошо, если бы силы эти были одинаковы, если бы все члены общества были равно ловки, образованы и богаты. «Но такого равенства нет и быть не может. Поэтому мысль эта недостаточна и, в силу своей недостаточности, приводит к глубоко безнравственным выводам. Она приводит к тому, что сильнейший, хитрейший, богатейший эксплоатирует слабейшего». Она противоречит самой идее государства. «Государство есть единство личностей в одном нравственном целом, единство, умножающее в миллионы крат силы всех личностей, вступивших в это единство, в миллионы крат увеличивающее индивидуальные силы каждой из них». Следовательно, и цель государства гораздо шире, чем думает буржуазия. Она состоит в том, «чтобы соединением индивидуумов дать им возможность достигать ступеней существования, недостижимых для одинокой личности, делать их способными приобретать такую сумму просвещения, силы и свободы, какая немыслима для отдельных индивидуумов... Государство есть воспитатель и развиватель человечества к свободе».

В заключение Лассаль обращается к рабочему классу с красноречивым воззванием. «Высокая всемирная историческая честь Вашего назначения должна преисполнить собою все Ваши помыслы. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей не мыслящих, даже невинное лег-

комыслие ничтожных—все это теперь недостойно Вас. Вы—камень, на котором должна быть построена церковь настоящего».

Эта лекция, так же, впрочем, как и речи «О сущности конституции», не содержит в себе ни малейшего намека на возможность какого бы то ни было соглашения между монархией и демократией. Недостойное Лассаля временное увлечение исчезло; друзья и враги снова могли узнать в нем того «решительного сторонника социал-демократической республики», который 13 лет тому назад возбуждал своих сограждан «к вооруженному сопротивлению королевской власти». Поэтому его лекция произвела переполох как в прогрессистском, так и правительственном лагере. Осторожно обходя щекотливый для них вопрос о господстве «четвертого сословия», прогрессисты тем настойчивее нападали на частности. Смелого лектора со всех сторон упрекали в ошибках, натяжках и преувеличениях. Прусское правительство, как водится, избрало более решительный способ действия. По предписанию прокурора все печатное издание страшной лекции было конфисковано, в квартире Лассаля был сделан обыск, а сам он попал под суд по обвинению в том, что «подвергнул опасности общественное спокойствие открытым возбуждением в неимущих классах ненависти и презрения к имущим».

Защищаясь перед судом, возражая своим противникам, отвечая на приглашение Лейпцигского «Центрального Комитета» подробнее развить высказанные им взгляды, Лассаль окончательно и бесповоротно выходил на путь той агитации, тревоги которой составляют почти все содержание 2-х последних лет его жизни.

«Гладиатор» нашел, наконец, подходящую для него арену.

Конец первой части *).

*) *От редакции.* Второй части не вышло.

РЕЧЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РАБОЧЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ В ПАРИЖЕ (14—21 ИЮЛЯ 1889 г.) *).

— Вам может быть странно видеть на этом рабочем конгрессе представителей России,—России, где рабочее движение до сих пор, к сожалению, слишком слабо. Но мы думаем, что революционная Россия во всяком случае не только не должна держаться в стороне от новейшего социалистического движения Европы, но что, наоборот, теперешнее сближение ее с ним принесет большую пользу делу всемирного пролетариата. Вам всем знакома роль русского абсолютизма в истории Западной Европы. Русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью защищать и поддерживать европейскую реакцию от Пруссии до Италии и Испании. Было бы напрасной тратой слов говорить здесь о той роли, которую, например, Николай играл в 1848 и 1849 г.г.; ясно как день, что падение русского абсолютизма равносильно торжеству международного революционного движения во всей Европе. Спрашивается только, при каких условиях революционное движение в России может одержать победу над русским абсолютизмом?

Некоторые писатели, фантазия которых значительно превышает их социально-экономические сведения, рисуют Россию страной вроде Китая, которая по своей экономической структуре ничего не имеет общего с Западом. Это совершенно ложно. Старые хозяйственные основы России находятся в процессе полного разложения. Наша сельская община, столь любезная некогда даже некоторым социалистам, а на деле составлявшая главную опору нашего абсолютизма, все более и более делается в руках сельской буржуазии орудием для эксплоатации большинства земледельческого населения. Беднейшая часть крестьянства вынуждена переселяться в города и промышленные центры; а одновременно с этим крупная фабричная промышленность растет, поглощая процветавшую

*) «Социал-Демократ» книга первая, февраль 1890 г., стр. 28—29.

некогда кустарную промышленность в деревнях. Побуждаемое нуждой в деньгах, наше самодержавное правительство всеми силами содействует этому процессу развития капитализма в России. Нам, социалистам, эта сторона его деятельности может доставить только удовольствие, потому что этим путем оно само копает себе яму. Пролетариат, образующийся вследствие разложения сельской общины, нанесет смертельный удар самодержавию. Если оно, несмотря на героические усилия русских революционеров, до сих пор не побеждено в России, то это об'ясняется изолированностью революционеров от народной массы. Силы и самоотвержение наших революционных *идеологов* могут быть достаточны для борьбы против царей, как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом, как политической системой. Задача нашей революционной интеллигенции сводится, поэтому, по мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!

СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ*).

(«Centenaire de 1789. Histoire de la Révolution Française par Paul Janet. Paris»).

В 1889 г. Францией, а с нею и всем цивилизованным миром праздновалось столетие той революции, которую по справедливости называют великой, так как с нее начинается новая эпоха в истории. Много благодеяний принесло с собой это событие для всего цивилизованного человечества вообще, но еще более для буржуазии в частности и главным образом для французской буржуазии. Оно положило конец господству аристократии и обеспечило за буржуазией первое место решительно во всех отраслях общественной жизни. Все попытки реставрации изменить созданный революцией порядок дел оказались безуспешными, да реставрация и не пыталась, впрочем, устранить главнейшие, т.-е. социальные, следствия Великой революции. Все понимали тогда, что в этом отношении дело решено бесповоротно, и как ни вознаграждай старого дворянства, — но его руководящая роль в социальной жизни окончена навсегда. С Великой революцией начинается решительное господство буржуазии.

Как же не вспоминать буржуазии об этом важном событии? Как не праздновать ей его столетия? Еще за несколько лет до столетней годовщины революции буржуазная печать на все голоса кричала о приближающемся великом торжестве. Но с какой собственно стороны вспоминала буржуазия о буржуазной революции? Как рисовалось в ее воображении это важное событие?

Перед нами книга патентованного ученого французской буржуазии, Поля Жанэ, которого некоторые и,—как кажется сам он в том числе,—считают философом. Это обстоятельство, т.-е., что Поль Жанэ имеет какое-то, впрочем, совершенно непонятное для нас отношение к философии,—очень удобно для нас в настоящем случае. У

*) «Социал-Демократ», книга первая, февраль 1890 г., стр. 1—16.

кого же, как не у буржуазного философа, искать буржуазной философии Великой революции? Итак, поищем ее в книге, заглавие которой мы выписали в начале нашей статьи.

Но прежде одно маленькое замечание. Читателям известно, что в семнадцатом веке Англия пережила свои революционные бури. В этом веке в Англии совершились две революции: одна, которая привела, между прочим, к казни короля Карла I, а другая, закончившаяся «веселым пирком» и восшествием на английский престол новой династии. Английская буржуазия совершенно различным образом относится к этим революциям: первая в ее глазах не заслуживает даже имени революции и называется просто «великим бунтом», другая величается «славной революцией» (Glorious Revolution). Тайну этого различного отношения к двум революциям раз'яснял еще Огюстен Тьерри в своих статьях об английских революциях. В первой английской революции большую роль играл народ, во второй—он, можно сказать, почти совершенно не участвовал. Известно, что, когда народ выступает на историческую арену и начинает, по мере сил и понимания, решать судьбы своей страны,—высшие классы (в данном случае буржуазия) чувствуют себя очень неловко. Народ всегда «груб», а когда он проникается революционным духом, то он становится, кроме того, еще и непочтителен; ну, а высшие классы всегда стоят за тонкую деликатность и за почтительность, по крайней мере требуют ее от народа. Вот почему высшие классы и склонны всегда именовать «бунтами» те революционные движения, которые ознаменовываются преобладающим участием в них народа.

Французская история особенно богата «великими бунтами» и «славными революциями». Но во Франции дело происходило обыкновенно обратно тому, как это было в Англии XVII-го века. В Англии «великий бунт» предшествовал «славной революции». Во Франции дело начиналось обыкновенно со «славных революций», и только уже после них имели место «великие бунты». Так было в течение всего XIX столетия. В 1830 г. совершилась в Париже «славная революция», а в 1831 г. в Лионе происходит довольно-таки «великий бунт» ткачей, напугавший всю буржуазию. В феврале 1848 года совершилась до такой степени «славная революция», что ее превозносил сам Ламартин почти столь же усердно, как превозносили самого себя.

Все шло не то чтобы совсем уж хорошо, но хоть сносно до тех пор, пока в июне не начался новый «великий бунт», заставивший буржуазию кинуться в об'ятия военной диктатуры. Четвертого сентября

1870 года произошла самая «славная» из всех французских революций а 18-го марта следующего года начался самый великий из всех французских бунтов.

Буржуа утверждают, что «великие бунты» всегда портили во Франции дело «славных революций». Мы не можем рассуждать теперь, насколько справедливо это в применении к XIX веку, у нас нет на это времени, так как нам нужно побеседовать с буржуазным философом о событиях XVIII столетия.

В конце прошлого века во Франции также произошли—один «великий бунт» и одна «славная революция». «Славная революция» началась в 1789 г., «великим бунтом» ознаменовался в особенности 1793 г. Зная, как относится буржуазия к «великим бунтам» и «славным революциям», читатель наперед уже может предсказать отношение философа буржуазии, Поля Жанэ, к революционным движениям конца XVIII века во Франции.

Чтобы беспристрастно судить о французской революции,—рассуждает он в заключительной главе своей книги,—«надо различать в ней три стороны: *цель, средства* и достигнутые *результаты*. Цель революции... приобретение *гражданского равенства* и *политической свободы*... была самой великой, самой законной, к какой когда-либо стремился народ». Но средства были плохи: «слишком часто они были насильственны и ужасны».

Что касается до результатов, то гражданское равенство вполне достигнуто, по мнению Жанэ, и не оставляет желать ничего большего. Но «политическая свобода господствовала во Франции со времени революции лишь перемежающимся образом и до сих пор находится в опасности».

Она утвердится лишь тогда, когда французы отвыкнут от всяких насильственных, незаконных средств; будут смотреть на свою революцию, как на законченную раз навсегда; когда сама революция перейдет в область истории так же бесповоротно, как перешли в эту область революции Англии и Соединенных Штатов. Следует твердо держаться за достигнутые революцией результаты, но отказаться ст революционного духа, от незаконных, насильственных средств.

Прекрасно. Но прибегать к революционным средствам стали с самого 1789 г., т.-е. не только со времени «великого бунта», но еще и в эпоху «славной революции». Неужели даже и «славная революция» осуждается Полем Жанэ за насильственные средства? Не совсем так, лучше сказать, совсем не так. В его изложении насильственные средства вре-

мен «славной революции» оказываются вполне уместными, очень полезными и совершенно целесообразными. Он относится с большим одобрением ко всем народным восстаниям, направлявшимся против королевской власти. Он доказывает, что без этих восстаний правительство на первых же порах положило бы предел всем реформам Национального Собрания и великие цели революции не были бы достигнуты. Взятие Бастилии он приветствует, как «первое победоносное появление парижского народа на сцене революции».

Также одобрительно относится он и ко второму его появлению на этой сцене, 5 и 6 октября, и ко взятию Тюльери. Только тут доказавши полнейшую необходимость свержения, при самом начале войны, сносившегося с неприятелем короля, Жанэ меланхолически добавляет: «Франция начинала привыкать к этому печальному средству решать политические задачи» (стр. 102). Он не указывает, однако, каким же другим средством, кроме восстания, можно было решить данную, неотложную задачу.

Только взяв Тюльери, только совершив это последнее из необходимых, по мнению Жанэ, восстаний, парижский народ превращается постепенно, под пером нашего историка, в чернь, руководимую низкими страстями. Теперь дело раз'ясняется: Почему не восставать? Восставать можно, только не нужно при этом руководствоваться низкими страстями. Так, что ли, нужно понимать буржуазного историка? Нет, не так. Оказывается, что в настоящее время восставать вовсе нет ни смысла, ни основания. Восставать можно было только во время «славной революции». Теперь понимаем. Свергли короля, прикончили аристократию, дали господство буржуазии—и сидите смирно, совершив в пределах земных все земное. Кто же, кроме жалкой черни, мог и может восставать после этого!

Очень хорошо. Что же дальше? А дальше, разумеется, вот что. Поль Жанэ сочувственно относится ко всем партиям, стоявшим поочередно во главе движения, кроме монтаньяров. На них сосредоточивает он все свое негодование, для них приберегает он все крепкие слова и бранные эпитеты.

Между этими злодеями и «мужественной, великодушной Жирондой» Жанэ проводит следующую интересную параллель. «Как одни, так и другие хотели республики»... Но жирондисты хотели республики свободной, законной, милостивой. Монтаньяры желали республики деспотической и ужасной. Не заботясь о свободе, монтаньяры дорожили только равенством. И те, и другие стояли за верховную власть народа; но

жирондисты справедливо понимали под народом всех; для монтаньяров же, по злоупотреблению, которое продолжается и до сих пор, народом был лишь трудящийся класс, люди, живущие работой своих рук; поэтому одним этим людям и должно было, по мнению монтаньяров, принадлежать господство.

Итак, политическая программа жирондистов сильно отличалась от политической программы монтаньяров. Откуда происходило это различие? Сам Поль Жанэ недурно об'ясняет его происхождение. Оно обусловливалось тем, что монтаньяры иначе, чем жирондисты, смотрели на взаимное отношение тогдашних общественных классов. Жирондисты «понимали под словом *народ* всех», в представлении монтаньяров народ составлял лишь трудящийся класс. Другие классы, очевидно, не были в их глазах «народом». Почему же не были? Вероятно потому, что монтаньярам казалось, будто интересы этих классов шли вразрез с интересами класса трудящихся. Ведь в сущности и сами жирондисты понимали под словом «народ» не «всех», т.-е. не всю тогдашнюю французскую нацию, а только одно третье сословие. Входила ли в их понятие о народе—аристократия? Входило ли высшее духовенство? Вовсе нет! Аббат Сиэйес никогда не шел так далеко, как жирондисты, а между тем и он, в своей брошюре «Qu'est-ce que le tiers-état», прямо противополагает «народ», т.-е. третье сословие, кучке «привилегированных», т.-е. дворянству и высшему духовенству. Неужели жирондисты не одобрили бы подобного противопоставления? Конечно, одобрили бы. Они еще горячее восставали против «привилегированных». Но если за всем тем они все-таки расходились с монтаньярами в своих представлениях о «народе», то не зависело ли это оттого, что монтаньяры шли дальше и смотрели, как на привилегии, на такие общественные учреждения, которые казались жирондистам священными и необходимыми? Если это было так, то естественно, что классы, извлекавшие пользу из таких учреждений, не должны были причисляться монтаньярами к народу, потому что никто из революционеров не причислял тогда к народу «привилегированных».

Спор возможен был только относительно того, какие именно классы следует причислить к привилегированным. Монтаньяры считали за народ только трудящийся класс, людей, живущих работой рук своих. Так не относили ли они к «привилегированным» таких людей и такие сословия, которые хотя и живут тоже «работой рук», но рук чужих, а не своих собственных. Не так ли было дело? Поль Жанэ заставляет думать, что так.

Теперь для нас кое-что уже выяснено, неясно только одно: почему люди, отстаивавшие дело трудящегося класса, склонялись к республике «деспотической и ужасной»? Почему не явились они, напротив, сторонниками «республики законной, свободной и милостивой?» На это могли быть двоякого рода причины: во-первых, внешние, во-вторых, внутренние. Начнем с внешних причин, т.-е. с тогдашних отношений революционной Франции к другим государствам.

Положение Франции в то время, когда Гора взяла в свои руки диктатуру, было отчаянно, почти безнадежно. Иностранные войска вступили с четырех сторон во французскую территорию: с севера—англичане и австрийцы, в Эльзасе—пруссаки, в Дофине и до Лиона—пьемонтцы, в Руссильоне—испанцы. И это в такое время, когда гражданская война свирепствовала в четырех различных пунктах: в Нормандии, в Вандее, в Лионе и Тулоне» (стр. 176). К открытым врагам надо прибавить рассыпаных по всей Франции тайных сторонников старого порядка, готовых тайком помогать неприятелю.

У правительства, взявшего на себя борьбу с бесчисленными внешними и внутренними врагами, не было ни денег, ни достаточного войска—ничего, кроме безграничной энергии, горячей поддержки со стороны революционных элементов страны и громадной смелости принимать все меры для спасения родины, как бы произвольны, беззаконны и суровы они ни были. Призвавши к оружию всю молодежь Франции и не имея ни малейшей возможности вооружить и содержать свои армии на ничтожные средства, которые давали налоги, монтаньяры прибегли к реквизициям, конфискациям, насильственным займам, принудительному курсу ассигнаций, словом, *заставили* запуганные ими имущие классы содействовать спасению страны денежными пожертвованиями рядом с народом, отдававшим для этого спасения свою кровь. Эти насильственные меры были безусловно необходимы, если только было необходимо спасение Франции. Значительных материальных пожертвований нельзя было ждать от доброй воли частных лиц: это признает сам Жанэ. Необходима была железная энергия правительства, доводившая до величайшего напряжения все живые силы Франции. Жанэ признает и это. Он желал бы только, чтобы диктатура досталась не отвратительным якобинцам, а благородной умеренной Жиронде. Если бы в своей борьбе с Горой жирондисты остались победителями, говорит наш автор, они очутились бы точь в точь в том же положении, как и сами монтаньяры: им тогда пришлось бы бороться с роялистскими восстаниями, подавлять партию монтаньяров, отражать внешнее нашествие и сомнительно,

чтобы они могли справиться со всеми этими бедствиями без диктатуры. Но эта диктатура была бы менее кровавой и более уважала бы право и свободу» (стр. 144).

Но на какие же элементы могли опереться умеренные и аккуратные жирондисты? Когда, побежденные в Париже монтаньярами, они бросились в департаменты, то встретили там лишь пассивное сочувствие «медлительного и вялого», по выражению Жанэ, среднего класса, да коварную поддержку роялистов, от которой сами отказались. Не такую ли же точно поддержку дали бы им их сторонники в борьбе с внешним неприятелем? Нужно помнить, что низший, самый революционный слой населения—в особенности парижского населения—не сочувствовал и не мог сочувствовать Жиронде. У него, очевидно, были другие понятия о «народе» и его интересах, чем у жирондистов, умиляющих Жанэ широтой своих воззрений. Именно это обстоятельство и причинило падение жирондистов и торжество Горы. Таким образом, они могли рассчитывать почти исключительно на «медлительный и вялый» средний класс. Многого ли можно было ожидать от него? Нет, не по силам было умеренной и либеральной Жиронде вывести Францию из того критического положения, в какое попала она в 1793 году.

Итак, по внешним причинам необходима была диктатура, и именно диктатура монтаньяров. Но ведь, когда речь заходит о диктатуре, то смешно и говорить о республике «свободной, законной и милостивой». Революционная диктатура поневоле была так же строга и немилостива, как строги и немилостивы были вызвавшие ее к жизни внешние враги республики. Вспомните манифест герцога Брауншвейгского. Подумайте, чем грозила реакционная Европа революционной Франции.

Перейдем к внутренним причинам, помешавшим монтаньярам склониться к республике «свободной, законной и милостивой». Здесь прежде всего мы попросим читателя обратить внимание на знаменитые права человека и гражданина. В числе этих прав много было таких, которые совершенно совпадали с интересами низшего класса населения. Но было между ними одно, к которому он с самого начала должен был стать в странное, полное противоречий отношение. Мы говорим о провозглашенном тогда праве человека на *собственность*. Как должен был понимать это право, например, парижский санкюлот? Самое название его показывает, что собственности у него ровно никакой не было, а между тем он имел на нее право. Как же мог он воспользоваться этим превосходным правом? За примером было ходить недалеко. Буржуазия порядочно-таки пощипала имущества дворянства и духовенства. Не по-

щипать ли ему имущества буржуазии? Почему бы нет? Санкюлоту жилось тогда из рук вон плохо, хотя и очень весело. Он часто голодал в буквальном смысле этого слова, а голод, как известно, очень вкрадчивый советник. И вот наш бедняк начинает обнаруживать большую бесцеремонность по отношению к буржуазным имуществам. Буржуазия защищается, как может. Понятно, каким образом эта социальная борьба должна была отражаться на политической жизни. «Чернь» сплачивается в особую партию и выносит на своих плечах монтаньяров. В то время «чернь» умела постоять за себя и скоро достигла господства. Тогда ей оставалось, повидимому, только воспользоваться своей политической властью и завести такие социальные учреждения, благодаря которым право человека на собственность не было бы уже по отношению к ней горькой насмешкой. Для тогдашнего, как и для современного, пролетариата это возможно было только при одном условии: при полном уничтожении частной собственности на средства производства и при организации производства на общественных началах. Но это совершенно было немыслимо тогда по двум причинам, которые стояли, впрочем, в тесной связи одна с другой: ни сам пролетариат не был достаточно развит для этого, ни тогдашние средства производства не удовлетворяли элементарнейшим требованиям общественной его организации. Поэтому и мысль о нем не приходила в голову ни тогдашней черни, ни ее образованным представителями. Правда, еще до революции во французской литературе существовало две-три коммунистических утопий, но они, по указанным причинам, и сами не отличались состоятельностью и никого не могли увлечь за собою. Что же оставалось делать при таких условиях восторжествовавшей на время «черни»? Если нельзя было завести общественного производства, то частная собственность по необходимости должна была существовать, и для голодающего народа возможны были только случайные, насильственные вторжения в ее область. Он и делал такие вторжения, за что его до сих пор продолжают поносить все буржуазные историки. Но при насильственных вторжениях в область частной собственности, республика не могла быть «законной», потому что закон обещал охранять частную собственность. Не могла быть она и «милостивой», потому что ведь имущие слои общества не сидели сложа руки при таком обращении с их имуществом: они усердно искали удобного случая положить предел господству бесцеремонной «черни». Борьба между тогдашним пролетариатом и имущим классом по роковой, неотвратимой необходимости должна была принять террористический характер. Только террором и мог отстаивать пролетариат свое господство в своем тогдашнем положении, полном самых неразрешимых экономических противоречий. Если бы пролетариат обладал тогда большею развитостью, если бы в тогдашней экономической жизни существовали условия, необходимые для обеспечения его благосостояния, то ему не было бы никакой надобности прибегать к террористическим мерам. Посмотрите на буржуазию, которую все историки хвалят за ее тогдашнее стремление к «законности». Положим, и она не давала спуску своим врагам и не отступала в решительные минуты перед решительными мерами. Но ее дело стояло тогда так прочно, что ему не могли в сущности повредить никакие противники. Добившись господства в эпоху своей «славной революции» 1789 года, буржуазия без больших усилий учредила нужный ей общественный порядок и придала ему такую прочность, что самые заклятые реакционеры едва ли могли серьезно задумываться об его уничтожении, а если бы и попытались уничтожить его, то увидели бы, что это невозможно. При таких условиях хорошо было бы буржуазии говорить о «законности». Когда ваше дело выиграно, а дело ваших врагов проиграно навсегда, когда «законным» порядком стал выгодный для вас порядок, тогда с какой стати станете вы прибегать к беззаконному способу действий? Вы имеете все основания думать, что закон вполне оградит все ваши преимущества. Буржуазия стремилась к законности *в политике*, потому что историческое развитие совершенно обеспечило ее торжество в *экономии*. На ее месте и пролетариат не стал бы поступать иначе. Что представители «черни», монтаньяры, в принципе не менее жирондистов стояли за свободу и законность,—доказывает выработанная ими конституция, самая *свободная* из всех, когда-либо написанных во Франции. Этой конституцией вводилось прямое народное законодательство и права исполнительной власти были сведены до минимума. Но по указанным внешним и внутренним причинам монтаньяры не имели возможности привести ее в действие.

Вообще, можно принять за правило, не допускающее исключений, что чем меньше шансов имеет данный общественный класс или слой отстоять свое господство, тем более склонности обнаруживает он к террористическим мерам. В XIX веке буржуазия воочию увидела, что шансы ее отстоять свое господство над пролетариатом все более и более уменьшаются,—и вот она все более и более стремится терроризировать пролетариат. С июньскими инсургентами она расправлялась гораздо свирепее, чем с лионскими ткачами, восставшими в 1831 году, а с «коммунарами» 1871 г.—еще свирепее, чем с июньскими инсургентами. Террор, практикованный буржуазией над пролетариатом, далеко, бесконечно

далеко оставляет за собою все (страшно преувеличенные реакционерами) ужасы якобинского террора. Робеспьер является просто ангелом в сравнении с Тьером, а Марат—чудом доброты и кротости в сравнении с буржуазными строчилами времен знаменитых майских расправ. Внимательно вдумываясь во французскую историю нынешнего столетия, приходится совершенно согласиться с Герценом, который после июньских дней писал, что нет и не может быть правительства свирепее правительства осерчалых лавочников.

Именно, благодаря свирепости лавочников не могла надолго укрепиться и политическая свобода во Франции. На буржуазию и только на буржуазию падает ответственность за все те частые уклонения в сторону реакции, какими ознаменовалась французская история нынешнего века. Даже во время реставрации торжество реакционеров в значительной степени и долго было облегчаемо тем, что, труся перед рабочими, буржуазия долго не хотела вовлекать их в борьбу.

Возвращаясь к вопросу о якобинском терроре конца прошлого века, мы скажем в утешение буржуазным писателям, содрогающимся при одном воспоминании о нем, следующую, как нам кажется, бесспорную истину.

Предстоящий теперь в цивилизованных странах «великий бунт» рабочего сословия наверное не будет отличаться жестокостью. Торжество рабочего дела до такой степени обеспечено теперь самой историей, что ему не будет надобности в терроре. Конечно, буржуазные реакционеры хорошо сделают, если постараются не попадаться в железные об'ятия победоносного пролетариата. Они поступят благоразумно, если не будут подражать монархическим заговорщикам первой революции. A la guerre comme à la guerre, справедливо говорит пословица и в разгаре борьбы заговорщикам может прийтись плохо. Но, повторяем, успех пролетариата обеспечен теперь самой историей.

Захвативши политическую власть в свои руки, он хорошо и скоро сумеет воспользоваться ею для своих экономических целей, а затем, создавши сообразный со своими нуждами общественный порядок, он поспешит перейти к «законности». Трудно ли будет ему уважать законы, продиктованные его собственными интересами?

Празднуя столетие Великой революции, французская буржуазия как бы нарочно задалась целью показать пролетариату экономическую возможность и необходимость рабочей революции. Всемирная выставка давала ему прекрасное понятие о том неслыханном развитии, какого достигли в настоящее время производительные силы цивилизованных

стран. Ни о чем подобном не могли даже и мечтать смелые утописты прошлого века. Сообразно с этим и освобождение пролетариата—из благородной мечты, какою оно было, например, во время Бабефа, сделалось теперь историческою неизбежностью. Та же самая выставка показала, что, при современном развитии производительных сил и при современном анархическом состоянии производства, промышленные кризисы должны становиться все более и более интенсивными, а следовательно, все более и более разрушительно влиять на ход всемирного хозяйства. Чтобы избавить себя от их гибельного влияния, европейскому пролетариату не остается ничего другого, как именно только положить начало той планомерной организации общественного производства, которая была полнейшей невозможностью для французских санкюлотов прошлого столетия. Современные производительные силы не только допускают такую организацию, но даже настойчиво требуют ее. Без нее невозможно воспользоваться ими в полной мере. В современных механических мастерских труд уже принял общественный характер. Остается только согласить производительные функции таких мастерских и соответственно этому изменить характер присвоения продуктов: из частного сделать его общественным. Достижение этой цели и составляет задачу будущего «великого бунта» европейского пролетариата. Собиравшийся в июле нынешнего года в Париже международный социалистический конгресс не упустил случая напомнить ему об этой великой задаче.

А где же наш Поль Жанэ? Где наш философ? Он здесь, но мы совсем позабыли о нем, рассуждая о задачах европейского пролетариата. А теперь вот он напоминает нам о себе, уверяя нас, что нужно «остаться верным духу революции, осудив революционный дух» (272). Другими словами, это значит, что человечество в настоящее время должно довольствоваться результатами, добытыми буржуазией, благодаря Великой революции, и не делать ни шагу далее. Мы думаем, что надо поступать как-раз обратно. *Цели буржуазии* не могут быть *целями рабочего класса,* добытые *ею* результаты не могут удовлетворить *его.* Поэтому он идет далее, осуждая *буржуазный дух* Великой революции. Но он остается верен *революционному духу,* потому что оставаться верным ему, значит неутомимо и бесстрашно бороться за лучшее будущее, ведя непримиримую войну со всем устарелым и отжившим.

Буржуазии хотелось бы убедить рабочих в том, что современное общество не знает никакого разделения на классы, так как новейшее правовое государство основывается на равенстве всех перед законом. Но это формальное равенство так же не утешает рабочего, как не

утешало буржуазию, при старом режиме, провозглашенное христианством равенство всех перед Богом. Не довольствуясь этим фантастическим равенством, буржуазия не успокоилась до тех пор, пока не обеспечила за собою всех возможных благ земной жизни. Не удивляйтесь же, господа, что пролетариат не довольствуется юридическими фикциями и говорит, что пока существует экономическое неравенство, в действительной жизни равенства нет и быть не может.

Буржуазии хотелось бы также уверить рабочих, что в области экономии теперь уже нечего делать и что поэтому им остается лишь развлекаться забавами «чистой» политики. Но для рабочих заниматься «чистой политикой» значит итти в хвосте буржуазных партий. И буржуазия сама прекрасно понимает это значение «чистой политики». По крайней мере—понимала это прежде, когда боролась с дворянством и духовенством. В цитированной уже выше брошюре «Qu'est-ce que le tiers-état?», которую можно назвать программой французской буржуазии 1789 года, софизмы «чистых политиков», принадлежавших тогда к первым двум сословиям, опровергнуты с большим искусством. Аббат Сиэйес утверждал, что нация фактически разделена на два лагеря: лагерь привилегированных и лагерь угнетенных.

Это фактическое разделение должно отразиться и в политике. Пусть привилегированные отстаивают политическими мерами свои привилегии: это естественно и понятно; но пусть и угнетенные не забывают своих интересов, пусть они выступят на открывающуюся арену политической жизни, сплотившись *в особую партию*. Эта проповедь и до настоящей минуты сохранила свой смысл и свое значение. Обстоятельства изменились лишь в том, что теперь привилегированное место занимает буржуазия. Как же не группироваться рабочим в особую партию угнетенных, враждебную привилегированной буржуазии?

Во время «великого бунта» французской «черни» конца прошлого века противоречие классовых интересов буржуазии и пролетариата находилось еще в зародыше. Поэтому и сознание его в умах пролетариев было еще очень неясно. Выше, об'ясняя смысл того, что Поль Жанэ сказал об якобинском понимании «народа», мы приписали якобинцам враждебное отношение ко всем классам, живущим работою *рук чужих,* а не своих собственных. Такое понимание необходимо вытекало из слов нашего автора. И оно было верно в том смысле, что монтаньяры на деле и по инстинкту всегда стремились отстаивать интересы беднейшего класса населения. Но в их взглядах была такая сторона, которая при дальнейшем своем развитии сообщила бы им совершенно буржуазный характер. Эта сторона их взглядов очень заметна в речах Робеспьера. Она же подвинула якобинцев на борьбу против гебертистов и, вообще, против сторонников так называвшихся тогда аграрных законов. Но и в «аграрных законах», как они рисовались в воображении их сторонников, не было ничего коммунистического. Частная собственность и неизбежно связанные с нею мелко-буржуазные стремления как бы насильно вторгались тогда в программы самых крайних революционеров. Только Бабеф становится уже на другую точку зрения, но он является уже в последнем действии великой трагедии, когда силы пролетариата были совершенно истощены предшествовавшей борьбой. Партия монтаньяров именно и разбилась об это противоречие между их мелко-буржуазными понятиями и их стремлением отстаивать интересы пролетариата.

В настоящее время представители рабочего класса вполне чужды подобных противоречий. Современный научный социализм является именно теоретическим выражением непримиримой противоположности интересов буржуазии и пролетариата. Совершаясь под его знаменем, предстоящее революционное движение рабочих будет, собственно говоря, уже не «бунтом», хотя бы и «великим», а победоносной *революцией,* гораздо более *славной,* чем все «славные» революции буржуазии.

Сила, простая голая сила штыков и пушек, все более и более становится теперь единственной опорой господства буржуазии. В ее рядах появляются откровенные «теоретики», открыто признающие, что современный буржуазный порядок не имеет никаких теоретических оправданий, да и не нуждается в них, потому что сила на стороне буржуазии. Так рассуждает, например, в своей книге «Rechtsstaat und Sozialismus» австрийский профессор Гумплович. Но всегда ли сила будет на стороне буржуазии?

Когда в одном из первых заседаний Генеральных Штатов представители дворянства и духовенства сослались на то, что в основе их привилегий лежит историческое право завоеваний—теоретик буржуазии, аббат Сиэйес, гордо ответил им: Rien, que cela, Messieurs? Nous serons conquérants à notre tour! Совершенно то же может ответить и рабочий класс проповедникам буржуазного насилия.

Столетняя годовщина Великой революции лишний раз напомнила пролетариату, что для его экономического освобождения сделано до сих пор слишком мало, да и не может быть сделано много до тех пор, пока он, в свою очередь, не явится *победоносным завоевателем.*

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЕНИЕ *).

Не знаем, что несет с собою для социальной демократии новый 1891 год, но на истекающий 1890-ый она пожаловаться не может. Февральские выборы в Германии, всемирная майская демонстрация, отмена исключительного закона против немецких социал-демократов и, наконец, осенние рабочие конгрессы разных стран, закончившиеся принятием важных, в смысле тактики и организации, решений,—все эти события указывают на огромный под'ем международного рабочего движения.

Мы не станем говорить теперь ни о февральских выборах в Германии, ни о майской демонстрации в пользу восьмичасового дня. Об этих событиях частью была уже речь во второй книжке «Социал-Демократа», частью говорится в печатаемой теперь второй статье П. Б. Аксельрода: «*Политическая роль социальной демократии и последние выборы в германский рейхстаг*». Нам остается указать лишь на решения осенних рабочих конгрессов разных стран.

Ряд этих конгрессов начался с'ездом представителей *испанских* рабочих в Бильбао. Испания—страна, мало развитая в экономическом отношении. Поэтому силы испанского пролетариата сравнительно очень невелики. Но поскольку есть рабочее движение в этой стране, оно направляется в ту же сторону, в какую направлено движение более передовых стран: испанский пролетариат борется под знаменем всемирной социальной демократии и, как видно, чутко прислушивается к тому, что происходит за границей. На международном парижском рабочем конгрессе 1889 года был представитель Испании; испанские рабочие приняли горячее участие в майской демонстрации, а на своем с'езде в Бильбао, происходившем от 29 до 31 августа нынешнего года, они приняли следующее решение относительно восьмичасовой агитации:

*) «Социал-Демократ», книга третья, декабрь 1890 г., стр. 74—100.

«Социалистической рабочей партией ежегодно первого мая будет организована демонстрация, имеющая целью добиться от властей охраняющего рабочих законодательства, которого требовал международный парижский конгресс. В тех местностях, где невозможно будет организовать такую демонстрацию в день первого мая, она будет отложена до ближайшего праздника того же месяца. Само собою разумеется, что такая демонстрация должна иметь место только в случае международного соглашения на этот счет, т.-е. когда различные страны сговорятся между собою относительно демонстрации, или когда необходимость ее будет признана ближайшим конгрессом».

Ниже читатель увидит, что на своих конгрессах рабочие партии различных стран всюду решили праздновать на будущее время первое мая, и таким образом решение испанского конгресса может считаться теперь уже вошедшим в силу.

На конгрессе в Бильбао решено было также послать на предстоящий всемирный социалистический конгресс уполномоченного, которому поручено будет сделать там предложения: 1) относительно правильной деятельности выбираемого конгрессом международного комитета; 2) относительно издания органа этого комитета, по крайней мере, на французском и немецком языках; 3) относительно признания конгрессом невозможности всеобщей стачки рабочих, и 4) относительно более тесного сближения и об'единения ремесленных союзов сопротивления различных стран.

Что касается внутренних дел партии, то на конгрессе в Бильбао испанские социал-демократы постановили:

1) Что партия будет советовать всем своим приверженцам, как, впрочем, и всему рабочему классу, не принимать ни малейшего участия в ближайших выборах в муниципальные советы и в провинциальные собрания, так как подобное участие не принесло бы никакой пользы рабочему классу.

Наоборот, партия должна принять самое деятельное участие в предстоящих выборах в кортесы. По возможности во всех избирательных округах ею будут выставлены свои кандидаты, которые должны будут защищать как общую программу партии, так и практические законодательные меры для охранения интересов рабочего класса в духе решений международного парижского конгресса.

Относительно последующих выборов в муниципальные, провинциальные и законодательные собрания партия решит в свое время, нужно ли ей будет принимать в них участие.

Но, во всяком случае, она должна решительно избегать всякого союза или сближения с какою бы то ни было буржуазной партией.

Когда удастся провести социалистических представителей в муниципальные, провинциальные или законодательные собрания, тактика их должна будет определяться конгрессами партии.

2) Официальным органом испанской рабочей партии признается газета «El Socialista». На поддержку этой газеты каждый член партии должен вносить ежемесячно по 10 сантимов. Когда ее существование будет таким образом обеспечено, партия приступит к изданию другого органа в Барцелоне. Редакции этих органов должны будут давать конгрессам партии отчеты о своей литературной деятельности.

Остальные решения конгресса имеют исключительно местный интерес, и потому мы приводить их не будем. Вышеприведенные постановления, полагаем, достаточно говорят за то, что испанские социалисты не сидят сложа руки. Как ни скромны силы испанской рабочей партии, но мы, русские, и ей вынуждены завидовать: испанцы несравненно больше нас сделали для рабочего движения. Правда, в Испании все-таки есть конституция, между тем как русский обыватель живет под самодержавным гнетом. В этом отношении у испанцев есть несомненное преимущество перед нами. Но, с другой стороны, и русские имеют, повидимому, некоторые преимущества не только перед испанцами, но и перед всеми вообще западными европейцами. У нас есть такая «интеллигенция», какой, по ее собственным словам, нигде решительно не было и быть не может: так исключительно хороша эта интеллигенция. Вот мы и думаем, что почему бы этой исключительно хорошей интеллигенции не взяться за очень хорошее дело политического просвещения русских рабочих? От этого выиграли бы не одни только рабочие. Сама «интеллигенция» извлекла бы из этого дела две несомненные выгоды: 1) она стала бы гораздо влиятельнее, найдя опору в народе, а 2) она доказала бы, что она действительно хочет работать, а не ограничивается фразами, которые при всей своей несомненной «интеллигентности», отличаются подчас более чем сомнительным содержанием. Право, пора бы и русским «интеллигентам» серьезно подумать о социализме...

Мы, конечно, не можем сказать, на сколько были правы испанские социалисты, решив воздерживаться от предстоящих муниципальных и провинциальных выборов. О таких частностях могут судить только местные люди. Но что испанская рабочая партия понимает значение политической борьбы, это доказывается постановлением конгресса касательно выборов в кортесы, а также стремлением испанских

социалистов организовать пролетариат в особую политическую партию, не имеющую ничего общего ни с какими буржуазными партиями. Пока борьба рабочего класса с буржуазией ведется исключительно на экономической почве, она имеет узкий характер, и цели ее не выходят за пределы существующего общественного порядка. Сплочение пролетариата в особую *политическую партию* есть существенный и безошибочный признак того, что пролетариат начинает понимать свою революционную задачу. Политическая борьба есть борьба за власть, за преобладание, за господство. Но добившись господства, пролетариат не оставит камня на камне в существующем экономическом порядке. Вот почему выступление пролетариата на путь политической борьбы всегда означает также, что он начинает ставить себе более широкие *экономические задачи*. В этой борьбе пролетариат естественно и вполне заслуженно третирует буржуазные партии как враждебную и реакционную силу. И потому правы были с'ехавшиеся в Бильбао представители испанских рабочих, когда они предостерегали свою партию от всякого союза с буржуазией. Как общее положение, как напоминание пролетариату о том, что его политическая самостоятельность никогда и ничем заменена быть не может, принятое испанским социалистическим конгрессом решение заслуживает полнейшего одобрения. Но ошибочно было бы истолковывать его в том смысле, что пролетариат всегда и всюду должен поступать наперекор всякой данной буржуазной партии. Во многих странах европейского материка уцелели еще некоторые учреждения, завещанные старым феодальным или самодержавным порядком. Поскольку буржуазия борется против таких учреждений, она играет полезную роль, и пролетариат очень сильно повредил бы своим собственным интересам, если бы вздумал мешать ей в этом случае так или иначе. Правда, крупная буржуазия на западе европейского материка давно уже отказалась от такой роли. Крупная буржуазия не имеет теперь ни капли «разрушительных» стремлений. Если она не везде тянет назад, то везде заботливо охраняет существующее. Но в *мелкой буржуазии* местами сохранилось, местами вновь зародилось тяготение к дальнейшему, разумеется, далеко не коренному, переустройству общественных отношений наперекор консервативным стремлениям крупных буржуа. Подобное тяготение выгодно рабочему классу, и он обыкновенно поддерживает его всеми силами. Впрочем, нет, выразимся точнее: пролетариат настолько силен и самостоятелен теперь, что в таких случаях не он играет служебную роль, не он *поддерживает* мелкую буржуазию, а мелкая буржуазия поддерживает *его*, мелкая буржуазия

льет воду *на его* мельничные колеса. Понятно, что пролетариату и в голову не может притти мешать этому общеполезному ее занятию.

Не далее как в сентябре текущего года в Бельгии, в Брюсселе, имел место конгресс, на котором присутствовали как представители пролетариата, так и представители мелкой буржуазии. На конгрессе шла речь о завоевании всеобщего избирательного права. Известно, что в Бельгии право это принадлежит до сих пор ничтожной кучке богачей, располагающих делами страны по своему произволу и устраняющих всю остальную массу населения от всякого прямого влияния на политическую жизнь. Против такого порядка решили бороться теперь общими силами социалисты и (мелко-буржуазные) демократы. С целью соглашения на счет этой борьбы и созван был конгресс в Брюсселе, который состоялся 14 сентября, и на котором присутствовало до 500 уполномоченных. Со стороны социалистов в нем приняли участие все самые видные деятели бельгийской рабочей партии: Вольдерс, Ансээль, теперь уже покойный Де-Пап и друг. Им принадлежала самая видная роль на конгрессе. Ими формулированы принятые конгрессом решения. Впрочем, решения эти были не многосложны: их всего два. Первое относится к демонстрации в пользу всеобщего избирательного права, второе—ко всеобщей стачке рабочих, как к более решительному оружию в борьбе против привилегированной буржуазии. Вот содержание первого из этих решений:

«Конгресс,

«Принимая во внимание, что, прежде чем прибегать ко всеобщей стачке, полезно дать торжественное предостережение избранникам ограниченного избирательного права; что демонстрации представляют собою могущественное средство пропаганды; что необходимо испытать все законные пути, прежде чем обращаться к революционным средствам,—решает, что в последнее воскресенье, предшествующее открытию палат, будут организованы демонстрации во всех значительных местностях страны».

Вопрос о всеобщей стачке рабочих вызвал очень горячие прения. Некоторым хотелось заранее назначить время будущей стачки. Им вполне справедливо возражали, что это совершенно невозможно. «Чтобы предпринять всеобщую стачку,—говорил марксист Ансээль,—нужно много денег и хлеба. Готовы ли мы,—в этом весь вопрос... Если вы обеспечите нам 60 франков на семью (по 15 фр. в неделю), наше дело выиграно. В тот день мы пойдем с вами и завоюем может быть нечто

большее, чем всеобщее избирательное право. Но не следует итти на верное поражение. Будем практичны, будем серьезны».

На будущем всемирном социал-демократическом конгрессе наверное будет много толков и споров о всеобщей стачке. Вот почему мы заранее обращаем на нее внимание читателей. Мы уже видели, что испанские социал-демократы относятся к мысли о всеобщей стачке совершенно отрицательно. Ниже мы увидим, как видоизменилась эта мысль на конгрессе французской социальной демократии. Теперь же приведем относящееся к ней решение Брюссельского конгресса:

«Конгресс, будучи убежден, что упорному сопротивлению цензовой буржуазии *) необходимо противопоставить волю пролетариата, решившегося добиться избирательного права, и принимая во внимание, что многочисленные мирные требования и демонстрации народа оставались до сих пор без последствий,—решает, что приходится признать в принципе всеобщую стачку рабочих, и приглашает все группы сделать все-зависящее от них для ее успеха».

Здесь ничего не говорится о том времени, когда должна начаться всеобщая стачка. Признавая ее в принципе, бельгийские социал-демократы все-таки не возьмутся за ее организацию на практике до тех пор, пока, по тем или другим обстоятельствам, она не перестанет грозить неподготовленным к ней рабочим верным поражением.

Необходимость выделения пролетариата в особую политическую партию сознается теперь во всех конституционных странах европейского материка **). Но с тех пор как прекратилось движение чартистов и до самого последнего времени не таково было положение дел в Ан-

*) Т.-е. буржуазии, пользующейся избирательным правом, имеющей требующийся для этого ценз.

**) Разумеется, что безусловно это применимо лишь к более передовым странам. В Италии, например, до последнего времени были рабочие организации, державшиеся того мнения, что пролетариату нет надобности заниматься политикой. Такова была «Partito Operaio», к которой принадлежали очень многие фабричные рабочие Милана. Но господствующая идея нашего времени, *выделение пролетариата в особую политическую партию*, и в Италии делает быстрые успехи. На Миланском конгрессе 12 октября эта организация отказалась от своего предрассудка и решилась выступить на путь политической борьбы. Это решение помогло ей сблизиться с другой организацией: «Consolato Operaio», членами которой были, главным образом, мелкие ремесленники, и которая действовала на выборах вместе с буржуазными республиканцами. Теперь эта последняя организация приняла социалистическую программу. Насколько мы знаем, главная заслуга принятого Миланским конгрессом решения принадлежит молодому талантливому социалисту Филиппо Турати.

глии. Каковы бы ни были причины этого явления, существование его было всем известно и служило даже поводом для буржуазных рассуждений о надлежащем политическом воспитании пролетариата. Многочисленные и крепко сплоченные английские рабочие союзы (Trade's Unions) шли во хвосте «великой либеральной партии», отталкивая, как вредную утопию, всякую мысль о *политической* борьбе с буржуазией. Эти союзы представляли собою собственно аристократию рабочего класса; в них входили рабочие таких отраслей труда, для занятия которыми требуется известная степень подготовки (Skilled labour). У низшего слоя английского пролетариата,—у неученых рабочих, у людей, занимающихся unskilled labour,—никаких союзов не было, и вообще в рабочем движении они участия не принимали. Но вот в прошлом году вспыхнула стачка на лондонских доках, зашевелился Ист-Энд, это обиталище самой страшной нищеты, самой непокрытой бедности. Люди, знакомые с общественными отношениями Англии, тогда же предсказывали, что совершится важный поворот в английском рабочем движении. Так оно и вышло. Стачка на доках создала новую и очень серьезную опору для английских *социалистов,* которым почти невозможно было столковаться с прежними трэд-юнионами, проникнутыми узким духом исключительности. Уже на майской демонстрации в пользу восьмичасового дня социалисты выступили в качестве очень внушительной силы. Но против этой силы восставали тогда наиболее влиятельные члены старых рабочих союзов. Старые рабочие союзы были грозной крепостью, за стенами которой могли еще долго отсиживаться противники социализма. Эту крепость нужно было взять во что бы то ни стало, и она была взята на Ливерпульском конгрессе истекающего года.

И противники и сторонники социализма одинаково хорошо понимали, что от исхода Ливерпульского конгресса зависит ближайшая будущность английского рабочего движения. Поэтому обе стороны двинули туда свои главные силы. Никогда еще ни на одном конгрессе английских рабочих союзов не было такого большого числа уполномоченных, и никогда ни на одном конгрессе этих союзов не было представлено такое большое количество рабочих. За последнее десятилетие самым грандиозным конгрессом трэд-юнионистов были прошлогодний конгресс в Донди (Dundee). На нем присутствовало 210 уполномоченных, представлявших 171 рабочий союз с 885.055 членами. В семидесятых годах самым значительным по числу представителей и представленных союзов был Шеффильдский конгресс 1874 г. На нем было 153 уполномоченных, представлявших 169 союзов с 1.191.922 членами.

Остальные конгрессы семидесятых годов были гораздо менее значительны. На Ливерпульский же конгресс нынешнего года с'ехалось 457 уполномоченных, представлявших 310 союзов с 1.470.191 членом. Своими небывалыми размерами Ливерпульский конгресс обязан был именно участию в нем «*новых*» союзов, состоящих из представителей unskilled labour, тех самых «новых» союзов, на которые опирались социалисты.

Первоначально казалось, что защитникам старого образа мыслей удастся и на этот раз победить неприятные для них стремления к новшеству. Новаторы были как будто недостаточно опытны и недостаточно сплочены. Стародумы одержали сначала несколько побед, но, к счастью, они не имели важного значения. Когда очередь дошла до вопроса о восьмичасовом дне, по поводу которого завязалась самая жаркая битва, новаторы действовали уже как обстреленные бойцы и одержали блестящую победу. Известно, что «старые» трэд-юнионы восставали-собственно не против восьмичасового дня, а против *законодательного* ограничения рабочего времени. Верные учениям буржуазных экономистов, они видели вред во вмешательстве государства в отношения *взрослых* работников к капиталистам (для детей, ввиду их неправоспособности, и для женщин, ввиду их неполной правоспособности, допускались исключение из общего правила). Но отказываться от государственного вмешательства в отношения работников к капиталистам—значило играть в руку этим последним.

Что касается восьмичасового дня, то, разумеется, добровольные соглашения между заинтересованными сторонами никогда не привели бы к повсеместному его принятию. Притом же, признание необходимости законодательного ограничения рабочего дня равносильно принципиальному разрыву с догматами либеральной экономии, с теорией—«laissez faire, laissez passer», а этот разрыв является первым и необходимым шагом на пути умственной эмансипации пролетариата. Раз состоялся бы такой разрыв, раз признано было бы, что государство *должно* ограждать интересы рабочих путем законодательства, сравнительно не трудно уже было бы притти к той мысли, что в рядах либеральной партии политическим представителям пролетариата делать нечего и что для защиты своих интересов рабочий класс необходимо должен выделиться в особую партию. Отсюда понятно, что «старые» трэд-юнионисты, с либеральным Бродгэрстом,—этим другом английских вигов и французских поссибилистов,—во главе, всеми силами боролись против «*законного*» восьмичасового рабочего дня. Но их отчаянное сопротивление не привело ни к чему. Большинством 191 голоса против

157, Ливерпульский конгресс высказался в пользу *законного* восьмичасового дня.

И успехи «новых» не ограничились этой крупной победой. Сбитый с главной позиции, неприятель вынужден был отступить почти по всей линии. Прежде всего укажем на выбор нового «парламентского секретаря» на место Бродгэрста. Парламентский секретарь—лицо очень влиятельное. На его обязанности лежит забота о защите интересов рабочих союзах в парламенте. Пока на конгрессе трэд-юнионов господствовали «старые», парламентскому секретарю не приходилось огорчать либеральную буржуазию «неразумными» требованиями. Требования рабочих конгрессов были скромны и не шли вразрез с учениями буржуазной экономии. Еще на прошлогоднем конгрессе в Донди, требование законного восьмичасового дня было провалено огромным большинством голосов. Буржуазии оставалось только рукоплескать умеренности рабочих. Бояться каких-нибудь неприятностей с парламентским секретарем у нее не было никаких оснований. Напротив, в лице Бродгэрста парламентский секретарь был преданнейшим другом либералов. Теперь, когда Ливерпульский конгресс решил требовать от парламента восьмичасового дня, против которого заранее вопит буржуазия, единомышленникам Бродгэрста было совсем не к лицу претендовать на должность секретаря. Чтобы обеспечить ее за собою, они пошли, правда, на большие уступки. Друг Бродгэрста, Шайптон, высказался даже за тот самый законный восьмичасовой день, против которого он всеми правдами и неправдами боролся в лондонском «Совете трэд-юнионов». Но это было напрасно. Значительным большинством голосов, парламентским секретарем избран был кандидат «новых» Т. Фэнуик. Не знаем, насколько удачен этот выбор. Мы больше обрадовались бы, если бы избран был испытанный уже социалист Джон Борнс. Но, во всяком случае, Фэнуик принадлежит к «новым», и если бы у него лично и не оказалось достаточно твердости, то надо надеяться, что новый, в Ливерпуле же выбранный, Trades Council сумеет придать его деятельности надлежащее направление.

Ливерпульский конгресс высказался также за необходимость более сильного представительства рабочих в парламенте. Это решение логически вытекает из решения о восьмичасовом дне. Разорвав с экономической догмой «великой либеральной партии», рабочий класс необходимо должен стать на свои собственные ноги и в политике.

Между другими решениями Ливерпульского конгресса наибольшего внимания заслуживают следующие:

1) подряды на общественные работы должны быть отдаваемы не капиталистам, а рабочим союзам; 2) в случаях безработицы, вызываемой кризисами или нежеланием хозяеев исполнить справедливые требования рабочих (т.-е., проще, *стачками),* общинные управления должны заводить на свой счет мастерские, в которых рабочие могли бы найти заработок; 3) число фабричных инспекторов должно быть увеличено; 4) закон об ответственности хозяев в случаях несчастий с рабочими должен быть изменен в смысле более действительной защиты интересов труда; 5) штрафы, взыскиваемые фабрикантами с рабочих, должны быть запрещены; 6) земледельческие рабочие должны быть также организованы в союзы.

«На будущем международном конгрессе все фракции великой международной социалистической Рабочей Партии соединятся вместе и выработают общий план международной военной кампании»,—говорит парижский «Socialiste» по поводу Ливерпульского конгресса. Мы тоже надеемся, что поссибилисты не увидят уже на своих конгрессах наиболее влиятельных представителей английских рабочих союзов.

После Англии и Бельгии пришла очередь Франции. В половине октября французская социальная демократия послала своих представителей на конгресс в *Лилле,* а тотчас после этого конгресса состоялся конгресс синдикальных камер (т.-е. *ремесленных* рабочих союзов) в Калэ.

Из помещенной в этой книжке «Соц.-Дем.» статьи Ж. Гэда наши читатели узнают о тех печальных разделениях, которые мешали до сих пор успехам французской рабочей партии. Довольно сильные в провинции, марксисты слабы в Париже. На первый взгляд странно, что «столица мира» мало поддается влиянию самых передовых идей нашего времени. Но дело в том, что Париж есть город мелкой промышленности, и его трудящемуся населению трудно отделаться от мелкобуржуазных предрассудков. Экономически провинция местами ушла гораздо дальше Парижа, и потому идеи современного социализма встретили там более подготовленную почву. «Сердце» Франции не шло дальше поссибилизма, да еще отчасти—романтического бланкизма. Это обстоятельство, конечно, мешало организации партии. Дело дошло до того, что на несколько лет прекратились даже годичные конгрессы партии, обязательные по ее уставу. Местные социалистические группы стали фактически почти совершенно независимыми, так как не было способной об'единить их центральной организации. Но с половины 1889 года начался очень заметный поворот к лучшему. С'ехавшиеся в Париж на международный социалистический конгресс представители

местных групп выбрали Национальный Совет партии, которому и принадлежит с тех пор общее руководство ее делами. Этот-то Совет и созвал конгресс в Лилле, происходивший 11—12 октября. Видно, что необходимость конгресса хорошо сознавалось французскими социалистами. 97 городов и общин были представлены на нем 77-ю уполномоченными; число же представленных на нем рабочих *групп и союзов* доходило до 212. Заметно было также, что именно в *марксистах* видят социалисты других стран истинных представителей пролетариата. Лилльский конгресс получил множество приветственных адресов и телеграмм от иностранных социалистов. Не имея возможности приводить здесь все эти адреса и телеграммы, мы выпишем только приветствие, присланное Лилльскому конгрессу союзом «газовых рабочих» (gas workers) и чернорабочих Лондона: «Дорогие товарищи! Мы, рабочие и чернорабочие Англии и Ирландии, посылаем свой братский привет нашим братьям на материке, желаем им полного успеха и надеемся, что конгресс будет содействовать тому об'единению рабочих всего мира, которое одно только и может привести нас к окончательной победе. Еще раз желая успеха вашему благородному предприятию, остаемся к вам братски расположенные. В. Сэрн, генеральный секретарь, В. Уорд, помощник секретаря». Приветствие это было передано конгрессу неутомимой проповедницей социализма Элеонорой Маркс-Эвелинг.

Союз газовых рабочих и чернорабочих Лондона не даром говорил в своем адресе о международном об'единении пролетариата. Лилльский конгресс много занимался этим вопросом. Нужно отдать справедливость французскому пролетарию: у него очень сильно развито чувство солидарности с рабочими других стран. Правда, к этому чувству примешивается у него теперь уже не совсем основательное представление о превосходстве французского народа надо всеми другими народами. Но это представление не мешает даже незатронутому никакою социалистической пропагандой французскому рабочему глубоко сочувствовать не только страданиям пролетариев других стран, но и всякому вообще протесту угнетенных против угнетателей. Разумеется, пропаганда марксистов еще более усиливает в нем это благородное чувство. На Лилльском конгрессе они выразились в следующем адресе, единогласно принятом на первом же заседании:

«Конгресс

«Приветствует те миллионы рабочих Европы и Америки, которые в день 1-го мая показали, что теперь существует новый Интернационал, и выразили непоколебимое намерение добиться от буржуазных

общественных властей восьмичасового дня в ожидании того времени, когда рабочий класс сам овладеет властью с целью общественного переустройства;

«Выражает полное сочувствие всем тем лицам обоего пола, которые страдают во французских и иностранных тюрьмах за свою преданность делу Труда и Революции;

«Поздравляет немецкую социальную демократию с ее избирательной победой 20 февраля и с причиненной этой победой отменой гнусного исключительного закона;

«Протестует против ареста и осуждения русских и польских изгнанников буржуазным французским правительством;

«Предает позору это правительство, которое обесчестило Францию и Республику, настояв на устранении из программы берлинской конференции ограничения рабочего дня для взрослых;

«И перед лицом всего цивилизованного мира ставит к позорному столбу гнусный русский царизм, который пытает политических арестантов и сечет женщин, а с ним и гнуснейшую буржуазную прессу, покрывающую эти жестокости молчанием соумышленника».

После сделанного Ж. Гэдом доклада о положении дел партии, конгресс перешел к рассмотрению очередных вопросов, распадающихся на две категории: 1) вопросы, касающиеся собственно французской рабочей партии, и 2) вопросы международной борьбы пролетариата Между вопросами первого рода важнейшим был вопрос об окончательной выработке устава партии. Читателям, вероятно, интересно будет ознакомиться с принятым конгрессом проектом этого устава. Вот содержание некоторых из его отделов.

Отдел I. *Название партии. Статья 1.* Партия называется рабочей партией. Таким названием необходимо подразумевается организация рабочих в особую классовую партию для политической и экономической экспроприации класса капиталистов и для обращения в общественную собственность средств производства.

... Отдел III. *Администрация партии. Ст. 1.* Администрация партии состоит из Национального Совета, ежегодно выбираемого конгрессом и состоящего под контролем групп того города, в котором он находится.—*Ст. 2.* Национальный Совет выбирает из своей среды одного секретаря для внутренних и одного секретаря для внешних сношений партии. Эти две должности по возможности оплачиваются.—*Ст. 3.* Расходы Национального Совета покрываются: а) ежемесячными пятисантимными взносами, обязательными для всех членов партии... б) продажею десятисантимных карт (Десятисантимная карта свидетельствует

о принадлежности данного лица к партии, и каждый член партии ежегодно должен обзаводиться такою картой).—*Ст. 4.* Национальный Совет имеет право предпринимать для покрытия своих нужд собрания *) и подписки.—*Ст. 5.* Национальный Совет заботится об исполнении решений национальных конгрессов. Он принимает все те чрезвычайные меры, которые кажутся ему необходимыми при данных обстоятельствах. Но по поводу таких мер он дает отчет ближайшему конгрессу.

Отдел IV. *Управление партией. Ст. 1.* Управление партией принадлежит исключительно самой партии, представляемой ежегодными национальными конгрессами.—*Ст. 2.* Решения национальных конгрессов обязательны для всех членов партии. Всякий, кто отказывается подчиниться им, тем самым исключает себя из ее состава.

... Отдел VI. *Ст. 1.* Центральным органом партии служит «Socialiste», руководство которым принадлежит Национальному Совету, и на который приглашаются подписаться все члены партии».

Минуя остальные отделы устава заметим, что членами Национального Совета на 1890—91 г. выбраны: Камескасс, Крэпен, Дэрер, Феррюль, Ж. Гэд, П. Лафарг и Кэнель. Феррулю и Тивриэ, как депутатам, поручено выработать, при содействии Национального Совета, и представить в палату депутатов проекты некоторых законов, регулирующих отношения работников к нанимателям.

Международный социалистический конгресс 1889 года решил, что следующий конгресс соберется в Бельгии или в Швейцарии. Теперь, ввиду настояний бельгийских социалистов, французская рабочая партия окончательно высказалась за созыв конгресса в Бельгии и поручила своему Национальному Совету согласиться на этот счет с социалистами других стран Европы и Америки. Затем в Лилле решено, по примеру прошлого года, организовать майскую демонстрацию в 1891 году. Конгресс приглашает все местные рабочие организации послать к первому мая в Париж своих делегатов, которые, соединившись с тамошней делегацией, должны будут представить в палату требование восьмичасового дня. Кроме того, он советует рабочим повсюду, где это будет возможно, ограничить рабочий день 2-го мая 8 часами. Наконец, в виде более решительной меры для завоевания восьмичасового дня, Лилльский конгресс рекомендует *повсеместную стачку углекопов.* Это во всяком случае счастливая мысль. Без угля шагу не может вступить современная крупная промышленность. Повсеместная стачка углекопов сразу остановила

*) Т.-е. такие собрания, за вход на которые взимается известная плата.

бы ее движение, а между тем такая стачка гораздо легче осуществима, чем повсеместная стачка рабочих *всех* отраслей производства. Решение Лилльского конгресса будет доведено до сведения углекопов всех стран, и—кто знает?—может быть, нам и не так долго придется ждать его исполнения.

Место не позволяет нам говорить о других решениях, принятых в Лилле. Мы должны сказать еще хоть несколько слов о конгрессе синдикальных камер в Калэ, так как ход и исход его указывает на широкое распространение социалистических идей в среде французского пролетариата. Многие буржуа смотрели и смотрят на ремесленные рабочие союзы (chambres syndicales, trades unions, Gewerkschaften) как на лучшее средство удержать рабочих на стезе умеренности и аккуратности. Такое лестное мнение о ремесленных союзах составилось вследствие того, что английские trades unions долгое время находились в наилучших отношениях с либералами. Буржуазия Франции и Германии рассуждала таким образом: в Англии рабочие организованы в ремесленные союзы; организованный в ремесленные союзы английский рабочий класс очень кроток и уступчив. Следовательно, для того, чтобы и наши рабочие стали кротки и уступчивы, нужно организовать их в ремесленные союзы. Логическое достоинство этого силлогизма одинаково с достоинством, например, такого рассуждения: когда идет дождь, развертывают зонтики; следовательно, чтобы пошел дождь, нужно развернуть известное количество зонтиков. Но умилительная для буржуазных сердец дружба английских trades unions с «великой либеральной партией» происходила от таких причин, которых, конечно, не могли создать ни французские chambres syndicales, ни немецкие Gewerkschaften. Вот почему и во Франции и в Германии развитие ремесленных союзов, к величайшему удивлению буржуазных мудрецов, послужило прежде всего и больше всего на пользу социализма. В Германии социальная демократия, во Франции Рабочая партия влияет на ремесленные союзы гораздо больше и лучше, чем все либеральные и реакционные «друзья» ремесленного движения вместе взятые. Впрочем, как видел уже читатель, нечто подобное начинает происходить теперь и в Англии.

На конгресс в Калэ (13—19 октября) явилось 55 уполномоченных, представлявших несколько сот синдикальных камер Парижа, Лиона, Марселя, Бордо, Нанта, Рубэ, Коммантри, Амиена и т. д. и т. д. Английская «Восьмичасовая Лига» прислала туда своего представителя в лице Эвелинга. Его присутствие как бы напоминало уполномоченным синдикальных камер о том, что все существенные вопросы о положении работни-

ков могут теперь решаться только на международной почве. Впрочем, они и не забывали этого. Конгресс синдикальных камер *единогласно* одобрил решение Лилльского конгресса о международном социалистическом конгрессе 1891 года, о майской демонстрации и о повсеместной стачке углекопов. Это уже и само по себе очень недурно. Но к этому нужно прибавить еще, что на конгрессе в Калэ развевалось красное знамя, и что последнее заседание его окончилось при громких криках: «Да здравствует об'единение рабочих! Да здравствует социальная революция!». По окончании конгресса состоялось большое народное собрание, и на нем высказано было много горьких истин буржуазным партиям, которые «постоянно изменяли народу и не подарили его ничем, кроме бедности и массовых расстрелов». Это, конечно, святая истина, но французский пролетариат до сих пор не всегда помнил о ней в своей, так сказать, повседневной политической жизни. По временам он увлекался мыслью о том, что он в своей политической борьбе против эксплоататоров может становиться под одно знамя с радикалами или даже с такими искателями приключений, как «храбрый» генерал Буланже и его сподвижники. Теперь сам ход событий достаточно разоблачил радикалов, буланжистов и даже поссибилистов, и можно надеяться, что французский пролетариат об'единится, наконец, под знаменем рабочей партии. И тогда его дела пойдут не так, как шли в последнее десятилетие, тогда к крику галльского петуха опять начнет прислушиваться вся революционная Европа.

Конгресс синдикальных камер происходил в самый разгар стачки «тюллистов» (рабочих на тюлевых и, если не ошибаемся, вообще на кружевных фабриках). Эта стачка послужила новым доказательством современной международной солидарности пролетариев. Ноттингамские рабочие (в Ноттингаме, как и в Калэ, много тюлевых фабрик) прислали в Калэ делегатов с выражением сочувствия стачечникам и оказали им очень значительную денежную помощь.

Но как бы ни был знаменателен исход всех перечисленных до сих пор социалистических конгрессов, все они кажутся почти совершенно незначительными в сравнении с конгрессом немецкой социальной демократии в Галле (13—19 октября). Это был конгресс *победителей,* и потому его особенно радостно приветствовал социалистический пролетариат всего мира. Уже в конце семидесятых годов немецкая социал-демократическая партия была настолько сильна, что противникам ее стало не под силу бороться с нею на почве тогдашней германской «законности». Против них выковали новое оружие в виде *исключительного* закона. Это было очень сильное оружие, и враги социальной демократии заранее ликовали. Они были убеждены, что скоро от нее останется одно только страшное для всех филистеров воспоминание. Соединенным усилиям «друзей порядка» удалось несколько ослабить влияние социальной демократии. В 1877 г., при выборах в рейхстаг, за кандидатов этой партии было подано 493.000 голосов, а в 1881 году, под давлением исключительного закона, число голосовавших за них избирателей упало до 312.000. Друзья порядка могли, повидимому, надеяться, что дело не остановится на этой первой победе, что социальная демократия быстро пойдет ко дну. Но торжество их было не продолжительно. Уже 1884 г. заставил их призадуматься. За социал-демократов было подано тогда 550.000 голосов. Через три года социал-демократы считали за собой уже 763.000 избирателей и, наконец, в феврале 1890 года они получили 1.427.000 голосов. Вместо угнетенной, осужденной на исчезновение партии, перед защитниками «основ» стояла во всеоружии образцовой организации и несокрушимой дисциплины *самая сильная из всех партий Германии.* Исключительный закон совершенно не оправдал возложенных на него ожиданий. Система *исключительных* преследований не привела ни к чему и пала, увлекая за собою своего главного представителя—железного канцлера. «Внутренняя политика будет его московским походом»,—говорил о нем Родбертус. Эти слова оказались пророческими. Но трудно было реакционерам свыкнуться с мыслью о непобедимости социальной демократии. «Если социал-демократы справились даже с Бисмарком,—думали они,—то долго ли продержится любезный нам порядок? Чего же нам ждать? На что надеяться?» К сожалению или к счастью, утешительница-надежда не замедлила возродиться в реакционных сердцах в виде отрадного ожидания внутреннего распадения социал-демократической партии. Это ожидание отчасти порождало слухи, отчасти само порождалось слухами о каких-то распрях между «*старыми*» и «*молодыми*» социал-демократами, о какой-то грозной «оппозиции» прежним вожакам партии. Говорили, что именно на предстоящем конгрессе вспыхнет ярким пламенем скрытый до времени огонь раздора, что «молодые» дадут на нем решительную битву «старым», и что единство партии разобьется навсегда. Эти слухи так упорно повторялись буржуазной печатью всего мира, что даже у друзей немецких социал-демократов явились опасения за ближайшую будущность партии. Но вот начался нетерпеливо ожидавшийся всеми конгресс, и что же оказалось? Где же социал-демократические междоусобия? Где эта пресловутая оппозиция? Из 413 уполномоченных

нашелся *только один,* явно выказавший в известном смысле оппозиционное настроение, и этот один сам не знал хорошенько, чего же собственно он хочет. И всем до такой степени очевидна была его полнейшая духовная беспомощность, что и тот десяток уполномоченных, который как будто молчаливо сочувствовал ему в начале, скоро и бесповоротно перешел на сторону большинства. Несчастный оратор «оппозиции» очутился в самом жалком положении. «Старым» ничего не стоило бы политически уничтожить его. Но они не хотели употребить во зло свою силу. Они поступили с Вернером по-товарищески. Назначена была комиссия для разбора как его жалоб, так и выставленных против него обвинений. Эта комиссия нашла, что Вернер действовал не по злой воле, а просто по недоразумению. Оставалось, значит, только пожелать, чтобы он лучше выяснил себе задачу и программу партии. Это мягкое решение поразило даже друзей Вернера. Шмидт (из Бургштэдта) заявил, что он, несмотря на свою дружбу с Вернером, поражен беспристрастием вынесенного комиссией приговора и просит конгресс единогласно принять его. Таким образом призрак оппозиции исчез, как исчезает туман от действия солнца. Важнейшие решения конгресса приняты были *единогласно,* т.-е., следовательно, за них голосовал даже Вернер. Что же касается социал-демократического Берлина, сильно восстановленного, как говорили, против «старых», то его настроение достаточно ярко выразилось в следующем заявлении, прочтенном на конгрессе берлинскими уполномоченными: «Так как враждебная нам немецкая и иностранная печать распространяла слухи о том, что берлинские социал-демократы принципиально расходятся с партией и ее руководителями и стремятся вызвать в ней разделение, представители Берлина, Тельтов-Бессков-Шторкова и Нидер-Барнима заявляют: «мы никогда не имели даже тени подобного намерения и всегда будем самым решительным образом противиться всем попыткам этого рода. Мы стоим, как и прежде стояли, на почве основных положений нашей партии... Правда, мы оставляем за собою право свободной критики и ради самой партии желаем, чтобы исчезло всякое личное раздражение как в нашей печати, так и на наших собраниях. Но мы употребим все свои силы на пользу *единства, развития и усиления партии*».

По поводу этого заявления Зингер заметил от лица конгресса, что «берлинские члены партии такие же дельные, смелые и достойные люди, как и остальные ее члены».

Итак, конгресс показал, что на разрушительное влияние «оппозиции» друзьям «порядка» рассчитывать невозможно. Он показал так-

же, что невозможно им утешать себя старым, избитым соображением о бараньей тупости социал-демократической массы, беспрекословно следующей за своими вожаками. Какая там тупость, помилуйте! «Собравшиеся на конгрессе уполномоченные представляли собой такую сумму ума, опытности, мужества и самоотвержения, какой вы не нашли бы ни в каком другом собрании»,—справедливо говорит венская «Arbeiter-Zeitung». Это, конечно, дружеский отзыв; враги этого не скажут; но ведь *только* не скажут, а *сознают* они это прекрасно. Если бы они раньше не знали, как неосновательны все рассуждения о тупой и беспрекословной покорности рядовых социал-демократов своим вожакам, то они увидели бы это на конгрессе. Там происходили самые оживленные прения, и каждый откровенно высказывал свои взгляды, нисколько не боясь постоять за них, если было нужно, против знаменитейших вожаков партии. Подчас раздавалось резкое, даже, если угодно, слишком резкое слово. Но дело происходило не в модной гостиной, а на деловом собрании; споры велись не между дипломатами, а между товарищами, соединенными общностью великой цели, взаимным уважением и, иногда, долголетней совместной деятельностью. Поэтому никто не обнаруживал неуместной обидчивости, и горячие, резкие споры, очень часто заканчивались *единогласными решениями.* Воображаем неприятное удивление буржуазии! Социал-демократическая дисциплина давно уже стала для нее совершенно непонятным явлением. Немецкая буржуазия так уже воспитана, что, когда при ней произносят слово *дисциплина,* она немедленно вспоминает о капральской палке. А у социал-демократов палка-то и отсутствует, хотя их дисциплине завидуют даже прусские фронтовики. Вот и пойми тут, откуда берется эта ужасная дисциплина и чем заменяется у социал-демократов та боязнь наказания, которая издавна принималась всеми почтенными филистерами за самое несомненное «начало премудрости». Правду говорил Гамлет на счет множества вещей, даже не снившихся «нашим мудрецам».

Мы не знаем ничего интереснее и знаменательнее прений, происходивших в Галле по вопросу о *пересмотре программы* немецкой социал-демократической партии. Что такое программа? Это в некотором роде то же самое, что язык. Зачем дан язык человеку? Затем, чтобы человек мог скрывать свои мысли. То же и с программой. Партии выставляют программы для того, чтобы скрывать свои истинные цели и стремления. В виду этого понятно: 1) что никакая партия сама не верит тому, что говорится в ее программе; 2) что можно без малейшего зазрения совести изменять своей программе, а тем более изменять программу, если

это полезно для истинных целей партии; 3) если любая программа имеет что-либо общее с какой-нибудь наукой, то разве лишь с тою, которая в известном слое русских людей называется иногда «химией», а иногда «механикой», но всегда сводится к умению обмануть ближнего. Согласны вы с этим? Конечно, согласны, если только вы трезвый политик, не зараженный социал-демократическими бреднями. Социал-демократы,—те, в качестве закоренелых доктринеров, рассуждают иначе. *Их* программа написана не для того, чтобы обманывать публику, а для того, чтобы развивать сознание народа, указывая ему цель современного общественного движения. *Они* думают, что изменять своей программе позорно, а изменять свою программу партия может только тогда, когда это подсказывается успехами науки, а не преходящим настроением избирателей. И к довершению всего, та наука, на которую опирается *их* программа, отличается каким-то странным характером. Нечего и говорить, что она не имеет ничего общего с «химией» российских плутов. Но кроме того они вносят страшные ереси в излюбленный ими отдел знаний,—в *политическую экономию*. Ни один добрый филистер—хоть убей его!—ровно ничего не понимает в *их* политической экономии. Их «библия», «Капитал»,—это настоящий кастет, как отзывался о нем добрейший Эмиль де-Лавелэ. Извольте рассуждать с такими чудаками!

И как серьезно относятся они к своей программе! Как глубоко обдумывают каждое из ее положений! Как заботятся о том, чтобы она ни на волос не противоречила науке! «Наука идет вперед,—говорил на конгрессе Либкнехт в своем докладе о пересмотре социал-демократической программы;—и наша партия, отрицающая все авторитеты и на земле и на небе, подчиняет свои принципы развитию науки». И это у него не фраза. Иначе, как с точки врения науки, он просто *не может* смотреть на программные вопросы. Прочтите хоть эти заключительные слова его доклада: «Пока партия была еще очень молода, не опиралась на почву науки, относилась к современному движению, как химия относится к алхимии, она много занималась вопросом о будущем общественном устройстве, и тогда многие ломали голову, стараясь решить, кто будет чистить сапоги и мести улицы в будущем обществе. Теперь мы смеемся над этим. Действительность обгоняет теперь самую сильную фантазию... Пусть те господа, которые требуют от нас картины будущего общества, постараются прежде выяснить себе картину современного общества. Какой вид примет оно через десять лет?.. Ответьте сначала на этот вопрос. Тогда мы, в свою очередь, скажем, какой вид будет иметь общество в результате длинного исторического развития. Только не научные головы могут требовать от нас подобных ответов». Голос Либкнехта несколько раз покрывался рукоплесканиями и криками «браво»!

Заметьте, что он говорил это представителям рабочего класса и притом таким представителям его, которые сами в огромнейшем большинстве случаев—рабочие. Что же это такое? Когда, какая партия говорила с пролетариатом таким языком? Можно ли сравнить с подобными речами социал-демократов ту псевдо-научную, слащавую до тошноты, умышленно картавую (для «популярности»), полную всяческих благонамеренных умолчаний и всякой душеспасительной лжи болтовню, с которой удостаивают иногда обратиться к рабочим «ученые» представители буржуазии? О чем свидетельствуют эти умные, эти мужественные речи? Они свидетельствуют о том, что осуществился благородный идеал, что состоялся, наконец, *союз науки с работниками,* что рабочие понимают науку, а наука имеет в рабочих самых понятливых учеников и самых бесстрашных последователей. Этот союз есть величайшее знамение нашего времени. И прав был Лассаль, когда говорил, что плохо придется старому миру в железных об'ятиях нового союза.

При таком отношении социал-демократов к своей программе понятно, что они не могли решиться на необдуманную переделку ее. Окончательный пересмотр программы отложен до следующего конгресса. А в ожидании его социал-демократическая печать подвергнет ее всестороннему разбору. Впрочем, наперед можно сказать, что никаких существенных перемен не сделает в ней и следующий конгресс. Она составлена с таким знанием дела, что выдержит не только придирчивые нападки своих беззубых врагов, но—что гораздо труднее—также и беспристрастную, вдумчивую критику своих сторонников. Некоторым из ее положений придастся более научная формулировка, прибавится, может быть, к ней несколько новых параграфов, касающихся современной тактики партии, да выключены будут некоторые, унаследованные от лассальянцев и теперь уже по общему признанию социал-демократов неуместные требования,—вот все, чем ограничатся предстоящие изменения немецкой социал-демократической программы.

В прежнее время, до издания исключительного закона против социал-демократов, в их программе говорилось, что партия их будет добиваться своих целей всеми *законными* средствами. Исключительный закон сделал невозможной социал-демократическую борьбу на законной почве. Решено было, что партия будет добиваться своих целей *всякими* зависящим от нее средствами. Теперь, с отменой названного закона, возник вопрос, не следует ли опять вписать в программу, что партия

будет держаться *законных* средств. Но Либкнехт нашел это неуместным. В настоящую минуту нам дают возможность держаться законной почвы, но кто знает, что ожидает нас в будущем? Зачем же торопиться нам с заявлениями о своей готовности держаться законной почвы? Так рассуждал он, и конгресс без труда с ним согласился.

К числу важнейших вопросов, подлежавших рассмотрению конгресса, принадлежал вопрос об орагнизации партии. Германское законодательство, давая (когда дает, т.-е. когда не прибегает к исключительным «мероприятиям») некоторую, правда, очень небольшую свободу местным рабочим союзам, чрезвычайно затрудняет об'единение их в одну общую организацию. А между тем без такой организации почти не может существовать никакая деятельная партия. Конгрессу нужно было, обойдя все бесчисленные мели и скалы «законного» кляузничества, создать хоть что-нибудь похожее на организацию. Для общего руководства делами партии выбран совет (Parteileitung), состоящий из 12 членов: 2 председателей (Гэриш, Зингер), 2 письмоводителей (Ауер, Фишер), кассира (Бебель) и 7 контролеров (Доббер, Герберт, Эвальд, Кадэн, Якобей, Шульц и Берэнд). Руководящий совет расходует по своему усмотрению находящиеся в кассе партии деньги; наблюдает за ходом дел партии и за направлением центрального органа партии; созывает конгрессы, которым он представляет отчет о своей деятельности и проч... Для облегчения сношений руководящего совета с местными союзами выбираются в каждом избирательном округе особые *доверенные люди* (Vertrauensmänner). Касса партии пополняется *добровольными взносами* членов. Центральным органом партии признан «Berliner Volksblatt», выходящий под редакцией Либкнехта (который имеет право голоса в руководящем совете). Местные органы не признаются собственностью партии; о них заботятся местные союзы и группы. Вот собственно и вся организация партии. Как видите, в ней нет ничего романтического, и уж чем-чем, а излишним централизмом она не грешит. Напротив, можно сказать, что слишком мало отведено в ней места влиянию и почину Руководящего Совета. Можно, повидимому, опасаться, что с такой слабой организацией не преодолеет партия ожидающих ее трудностей. Но такое опасение будет неосновательным. Исключительный закон не позволял и такой слабой организации социал-демократической партии, а между тем дела ее шли превосходно. Теперь они пойдут, конечно, еще лучше. Ко времени конгресса в Галле партия располагала уже 19 ежедневными газетами с 120.400 подписчиков; 24 органами, выходящими по три раза в неделю и имеющими 58.000 подписчиков; 6 органами, выходящими два раза в неделю с 14.850 подписчиков, и, наконец, 10 органами, выходящими раз в неделю с 60.850 подписчиков. Кроме того, в распоряжении партии находилось более 40 специально-ремесленных органов с 201.000 подписчиков. Еженедельный литературно-политический журнал «Neue Zeit» с 2.500 подписчиков, еженедельный гамбургский иллюстрированный журнал «Gessellschafter» с 19.000 подписчиков и два юмористических листка с 107.000 подписчиков. Недурно? Посмотрите теперь, какие средства составляются у партии из добровольных взносов. Со времени С.-Галленского конгресса (конец августа 1887 г.) и до времени конгресса в Галле, в распоряжение партии поступило 349.729 марок, из которых израсходовано 217.399 марок. Потрудитесь сами сосчитать, сколько оставалось в кассе. Замечательные свойства организации немецкой социальной демократии доказаны выборами 20 февраля, так же, впрочем, как и всеми предыдущими выборами. Вы спросите, может быть, откуда же берется все это у партии, имеющей теперь лишь намек на организацию, а в течение последних 12-ти лет не имевшей даже и намека? Об этом «история умалчивает». И это остается для нас такою же тайной, как и для имперских «правящих сфер».

В последнее время в Германии было очень много *стачек* и, кроме того, в довольно широких размерах практиковалась против людей, вредивших интересам партии, система так называемого *бойкота*. Конгресс решил, что без стачек и бойкота невозможно обойтись рабочим в современном обществе; но так как предпринятые без надлежащей подготовки и организации стачки могут вести за собой невыгодные для рабочих последствия, то следует прибегать к ним с большой осторожностью и стараться о расширении и централизации ремесленных союзов.

Исключительный закон беспощадно нарушал не только политические права рабочего класса, но также и гражданские права рабочих организаций. Произвольные административные «мероприятия» нанесли много материальных убытков этим организациям. Конгресс решил требовать от союзных правительств возмещения таких убытков, ограничивая, однако, это требование исключительно областью *гражданского* права. Об амнистии же по *политическим* «преступлениям» не хотят и слышать немецкие социал-демократы. «Амнистия не желательна ни для нас, находящихся на свободе, ни для тех, которые сидят еще по тюрьмам»,—сказал Бебель, когда поднялась-было речь о ней на конгрессе, и вопрос окончательно исчерпан был этим гордым заявлением.

Города и промышленные центры, вообще говоря, теперь уже завоеваны немецкой социальной демократией. Поэтому ее конгресс решил деятельно взяться за пропаганду *между сельским населением*. Кроме того, для привлечения рабочих польских провинций Пруссии по решению конгресса основан социал-демократический орган *на польском языке*.

По отношению к международной тактике решено: 1) Участвовать в майской демонстрации; но в тех местах, где представились бы непреодолимые трудности для празднования первого мая, демонстрация может быть отложена до ближайшего праздничного дня. 2) Послать уполномоченных на предстоящий всемирный социалистический конгресс, который, согласно предложению бельгийцев, состоится в Брюсселе.

Торжественно начался, торжественно закончился немецкий социал-демократический конгресс. Из Франции, из Бельгии, из Голландии, из Англии, из Австрии, из Дании, из Швеции и из Швейцарии прибыли в Галле представители социалистических партий. Итальянские социал-демократы приветствовали германских в длинном красноречивом адресе. Число всех полученных конгрессом поздравительных адресов доходит до 55, а число телеграмм—до 251. Из речей уполномоченных от иностранных социал-демократических партий наибольшее впечатление на многочисленную, присутствовавшую в зале конгресса (а затем и на всю читающую) публику произвела, конечно, речь французского уполномоченного Ж. Гэда. «Я с радостью и с гордостью приношу доблестной немецкой социальной демократии братский привет и восторженное сочувствие французских работников,—говорил он.—Душою и сердцем мы не переставали быть с вами во время вашей геройской двенадцатилетней борьбы против системы насилий, коварства и провокаторства... И вместе с вами мы торжествовали, когда,—ценою тысячи лет тюрьмы *), высылок сотен ваших лучших товарищей и несмотря на запрещение ваших органов печати и на распущение более чем 300 политических и рабочих союзов,—вы показали себя 20 февраля такими многочисленными, такими дисциплинированными, такими непобедимыми, что вашим врагам, ради собственной безопасности, пришлось отказаться от исключительного закона. Эта победоносная борьба поставила вас во главе воинствующего пролетариата всего мира... Я горжусь своим присутствием среди немецких рабочих, которые прежде всех других

*) За время существования исключительного закона социал-демократы вышесли в общей сумме 1000 лет тюремного заключения.

организовались в классовую партию и задались целью завоевания политической власти для превращения капиталистического производства и капиталистической собственности в общественную собственность и в общественное производство. Программа представляемой мною здесь французской рабочей партии ничем не отличается от вашей. И точно так же, и вы и мы держимся одинаковой тактики. Как и вы, мы,—по выражению, употребленному одним из вас на Копенгагенском Конгрессе,—не парламентские политиканы и не революционных дел мастера. Но наша партия—революционная партия, потому что она стремится к установлению нового общественного порядка... Подобно вам, мы, теперь же добиваясь реформ, требуемых интересами рабочего класса, не обманываем себя ложными надеждами; в избирательной и парламентской борьбе мы видим лишь средство пропаганды, агитации и увеличения своих сил... Что бы ни случилось, мы никогда не разойдемся с вами». Заклеймив затем позорный союз французской буржуазии с русским царем и припомнив сочувственное отношение немецких социал-демократов Парижской Коммуне, Гэд еще раз приветствовал германский пролетариат от имени французской партии и закончил свою блестящую речь восклицанием: «да здравствует социалистическая и рабочая Германия!».

«Скажите нашим братьям во Франции,—ответил на это Либкнехт,—что для нас, как и для них,—нет государственных границ, и что в борьбе за освобождение человечества мы идем вместе с ними. Да здравствует рабочая Франция! Да здравствует социалистическая Франция!».

В глазах французских и немецких филистеров такие речи были, разумеется, государственной изменой. На Гэда напали даже некоторые из французских «непримиримых» (intransigeants). Но ведь это давно известно, что международная солидарность революционного пролетариата—совсем не буржуазного ума дело.

«Никакая сила в мире не справится с социальной демократией,—воскликнул Зингер, закрывая последнее заседание конгресса,—мы не остановимся, мы не успокоимся до тех пор, пока не достигнем своей цели. Мы останемся верны нашему дорогому, теперь снова свободно развевающемуся знамени; верны себе, верны партии. Приглашаю вас (членов конгресса) вместе со мной трижды воскликнуть: да здравствует немецкая, да здравствует интернациональная, освобождающая народы социальная демократия!» Трижды раздался дружный крик, и

глубоко взволнованные члены конгресса, стоя, пропели немецкую рабочую марсельезу. Знаете ли вы ее припев?

Marsch, Marsch,
Marsch, Marsch
Und wärs zum Tod,
Denn unsere Fahn' ist roth *).

Истекающий 1890 г. ознаменовался также сильным под'емом рабочего движения в Австралии. Читатели знают, конечно, из газет об упорной и долгой борьбе австралийских trades unions с капиталистами. Недавно в «Berliner Volksblatt» была напечатана программа образовавшейся в Новом Южном Уэльсе «Австралийской Социалистической Лиги» (Australion Socialist League). Из этой программы видно, что Лига вполне, без всяких оговорок и недомолвок, держится социал-демократических взглядов. Это, кажется, первое проявление социал-демократического движения между рабочими английского языка в колониях.

Повторяем, на 1890 г. не могут пожаловаться социал-демократы. Он подарил их огромными, почти опьяняющими успехами **).

И если успехи эти производят сильное впечатление на нас, людей среднего возраста, политическая мысль которых разбужена была шумом уже значительно окрепшего движения пролетариата, то не трудно

*) Марш, марш, марш, марш, хотя бы на смерть, ведь не даром же у нас красное знамя!

**) Статья эта уже набиралась, когда мы прочли в газетах о рабочих конгрессах в Голландии, в Австрии и в Португалии. Конгресс голландских социал-демократов, который начался 25 декабря (н. ст.) в Гээренвеене и на котором было представлено 38 рабочих союзов, решил праздновать первое мая вместе с рабочими других стран. Такое же решение принято на Брюнском конгрессе австрийских рабочих железоделательных и машино-строительных заводов. На этот конгресс с'ехалось 124 уполномоченных из всех провинций Австрии, за исключением Галиции. Между другими решениями его заслуживает внимания широкий план организации австрийских рабочих железоделательных заводов по образцу английских трэд-юнионов. Постановлено также требовать увеличения числа фабричных инспекторов и издавать особый журнал для рабочих названной отрасли промышленности. В то же время и в том же Брюнне состоялся конгресс гончаров и рабочих стеклянных заводов, на котором также решено требовать сокращения рабочего дня (но до восьми ли часов,—этого мы пока еще не знаем) и основать широкую ремесленную организацию. На обоих конгрессах постановлено *всеми силами добиваться всеобщего избирательного* права. Наконец, на Лиссабонском конгрессе португальских ремесленных союзов *единогласно* решено—там было до 300 уполномоченных—не работать в день первого мая и устроить во всей стране митинги с требованием восьмичасового дня.

представить себе настроение ветеранов социализма, людей, видевших первые, слабые шаги рабочей партии. С каждым годом, почти с каждым днем все роскошнее и роскошнее становятся плоды их трудной, многолетней деятельности; с каждым годом, почти с каждым днем все более и более становится очевидным, что не только окончательная победа совершенно обеспечена за пролетариатом, но что никакие удары врагов не могут теперь хотя бы задержать на сколько-нибудь продолжительное время его победоносное шествие. Что может быть отраднее такого зрелища? Что может быть лучше такой награды за перенесенные невзгоды, бедствия и испытания?

В нынешнем году, в этом году побед и успехов, пролетариат отпраздновал семидесятый день рождения своего учителя—*Фридриха Энгельса*. В настоящее время нет человека, который мог бы сравняться с Энгельсом своими заслугами по отношению к пролетариату. Не помним уже кем замечено было, что написать биографию Энгельса значит написать историю рабочего движения новейшего времени. Это верно, но этим не все еще сказано. Написать биографию Энгельса значит написать также главу из истории человеческой мысли новейшего времени,—очень интересную и глубоко поучительную главу. Вместе с Марксом Энгельс был родоначальником научного социализма, т.-е. целой философской системы, сменившей собою идеалистическую немецкую философию со всеми ее, более или менее незаконными, детищами и со всеми ее, более или менее отдаленными, бедными родственницами смешанного, полу-«реалистического», полу-идеалистического происхождения. Научный социализм есть не только величайшая—а лучше сказать единственная, заслуживающая этого имени—философская система *нашего* времени. Его появление знаменует собою в высшей степени важный поворот в истории человеческой мысли вообще. Прежде движение мысли не имело почти ровно ничего общего с движениями *народных масс*. Носителями ее были высшие классы: духовенство и, отчасти, дворянство, потом буржуазия. В своей борьбе со «старым порядком» буржуазия сама разбудила дремавшую мысль рабочего класса, но пока он боролся под ее руководством, ему доставались лишь ничтожные крохи знания. На него смотрели как на малолетнего, да при тогдашних общественных условиях он и на самом деле был малолетним. Социалисты-утописты предлагали пролетариату уже гораздо более питательную умственную пищу, но утопический социализм далеко еще не был *наукой*. Только трудами Маркса и Энгельса установлено было, наконец, полное согласие между *научным пониманием* действительности с одной стороны и

революционным отрицанием ее—с другой. Современный научный социализм мог появиться только в новейшем обществе и только тогда, когда уже достаточно развились те материальные условия, благодаря которым замена буржуазного порядка социалистическим становится не только возможной, но прямо неотвратимой. И именно потому научный социализм мог искать себе опоры только между пролетариями. Социалисты-утописты обращались с своей пропагандой одинаково и к буржуазии и к пролетариату, и к эксплоататорам и к жертвам эксплоатации. Они видели борьбу классов в современном обществе, но они умели только осуждать ее, противопоставляя ей свои учения о нормальном общественном порядке, который установит между людьми идеальное согласие. Такие учения соответствовали первой эпохе борьбы между пролетариатом и буржуазией. Когда борьба эта стала сильнее, глубже и всестороннее, социалисты необходимо должны были коренным образом изменить свой взгляд на ее историческое значение. Они убедились, что именно борьба классов, и только она одна, приведет к устранению капиталистического способа производства. Они перестали видеть в современном общественном зле одно только зло, поняв его «разрушительную, революционную сторону, которая низвергнет старое общество». Этот новый взгляд на историческое значение борьбы классов с неподражаемым мастерством изложен был в сочинениях Маркса и Энгельса. Появление их сочинений открыло новую эпоху в истории социализма. Из *утопического* он стал *научным*. Само собою понятно, что, принимая борьбу пролетариата с буржуазией за исходную точку дальнейшего общественного развития, марксисты не могли уже одновременно и безразлично обращаться к обеим борющимся сторонам. Буржуазия, заинтересованная в сохранении существующего порядка, видела в них только злостных демагогов, между тем как пролетариат признал их своими лучшими учителями и самыми надежными руководителями. Этим придано было совершенно новое направление как движению мысли, так и движению общественной жизни. Наука заключила неразрывный союз с работниками, а работники стали единственными двигателями прогресса. Этого еще никогда не бывало в истории. Гегель с энтузиазмом говорил о великом афинском народе, который внимал философам, рукоплескал Периклу и наслаждался величайшими произведениями тогдашнего искусства. Но афинская демократия основана была на рабстве. Афинский «народ» представлял собою сравнительно очень немногочисленную кучку людей, умственное, эстетическое и политическое развитие которых предполагало низведение тогдашних производителей на степень «говорящих орудий». Не то теперь. Народ нашего времени, современный пролетариат, есть именно тот класс, руками которого создается все колоссальное общественное богатство. Его умственное и политическое развитие *) не только не предполагает эксплоатации им какого-нибудь класса, но, наоборот, каждый шаг на пути этого развития означает приближение того времени, когда положен будет конец существованию классов, а следовательно, и эксплоатации одного класса другим. И вот этот-то *рабочий «народ»*, этот низший, самый обездоленный из всех классов современного общества, чутко прислушивается теперь к голосу науки и делает ее орудием своего освобождения. Увлечение современного пролетариата теориями Маркса-Энгельса будет иметь несравненно более важные исторические последствия, чем увлечение афинского народа речами ораторов и произведениями великих художников.

Задавшись целью выработать и распространить новую, научную теорию социализма, Маркс и Энгельс взяли на себя поистине титаническую задачу. Им предстояло не только исполнить громадную теоретическую работу,—трудности которой, наверное, испугали бы не так богато одаренных природою людей,— им нужно было также искоренить многочисленные предрассудки тогдашних социалистов. Им приходилось бороться не только с друзьями «порядка», но также с врагами его, революционерами. Отсюда—полемический характер многих из их произведений; отсюда же и та ненависть, с которою по временам обрушивались на них революционеры. Известный демократ сороковых годов Гейнцен утверждал, что Маркс только и делает, что борется с революционерами всех возможных толков и направлений. В пятидесятых годах Виллих и Шаппер нападали на Маркса и Энгельса, как на узких доктринеров, мешающих своею проповедью успехам революции. Наконец, в эпоху Интернационала та же ненависть выразилась в деятельности Бакунина и его последователей. Иногда революционные староверы, повидимому, совсем брали верх над ненавистными им новаторами. Временами дело доходило до того, что у Маркса и Энгельса бывало немного более десятка последователей. Но родоначальников научного социализма нельзя было испугать ни ненавистью, ни неудачами. Смелые и упорные, откровенные и резкие, глубокие мыслители и непобедимые полемисты,

*) Об эстетическом его развитии мы не говорим. Трудно делать большие успехи в этом направлении, живя в буржуазном обществе. Пока существует это общество, эстетическое развитие греков останется для нас недостижимым идеалом.

они делали свое дело, не отступая ни на шаг, не щадя ни одного предрассудка революционеров. И мало-по-малу предрассудки исчезали, ненависть уступала место восторженному удивлению, число марксистов увеличивалось. Прошло сорок лет,—и революционный пролетариат повсюду стал под знамя научного социализма. Теперь уже нет у него других учителей, кроме марксистов. А как велики силы этого пролетариата, известно всем, не окончательно беззаботным на счет политики. Марксизм, бывший в половине сороковых годов не более как *теорией,* известной *самому небольшому кружку* избранных, является теперь непобедимой *политической силой,* а сторонники его считаются миллионами. В этом-то и заключается замечательная особенность нашего времени. Пульс истории бьется теперь с неслыханной прежде быстротою. И это совершенно понятно. На арену политической жизни выступил пролетариат, а о нем справедливо сказано, что в политике он играет такую же роль, какую пар играет в промышленности.

Мы погрешили бы против истины, если бы сказали, что последователей Маркса и Энгельса много даже у нас в России. Нет, у нас только еще началось распространение марксизма. В России есть ученые, понимающие теоретическое значение научного социализма; но почти нет марксистов-агитаторов, нет людей, посвятивших свои силы практическому делу организации политического просвещения пролетариата. Несколько счастливых исключений лишь подтверждают общее правило: в большинстве случаев, русские революционеры относятся к марксизму с такою же подозрительностью, а иногда с такою же ненавистью, с какими он встречался когда-то на Западе. Мы знаем, что предрассудки русских революционеров рассеются так же, как рассеялись предрассудки западно-европейских революционеров. Но мы знаем, кроме того, что это счастливое время придет тем скорее, чем деятельнее будут революционеры, уже ставшие марксистами. В настоящее время многое благоприятствует успеху наших идей. Экономические отношения России выяснились уже настолько, что сами народники чувствуют несостоятельность своего учения; в среде рабочего класса замечается сильное умственное возбуждение. Рабочие люди различных полов и возрастов, мужчины, женщины и дети, проявляют теперь такую жажду знания, каких никогда прежде не бывало в русском народе; общее недовольство существующим порядком вещей, при полной и для всех заметной несостоятельности враждебных марксизму учений, заранее обеспечивает успех нашей проповеди. Побольше энергии, побольше

самоотвержения, настойчивости и преданности делу,—вот все, что требуется нам для быстрого успеха. И если у нас не найдется этого,—мы должны будем винить самих себя, а не внешние обстоятельства, или, если угодно, внешние обстоятельства, но лишь постольку, поскольку они привели *к нашей собственной негодности.* Мы уже не раз говорили, что полицейские преследования не могут служить непреодолимым препятствием для пропаганды между рабочими. Да и вообще всякая начинающая партия заранее проигрывает свое дело, если слишком много задумывается об ожидающих ее трудностях. «Невозможно! Пожалуйста, никогда не произносите этого глупого слова!»—так говорят энергичные люди, а известно, что только перед сильной волей таких людей и расступаются непреодолимые для других внешние препятствия...

Мы надеемся, что еще долго проживет Фридрих Энгельс, служа пролетариату своею редкою опытностью, своими колоссальными знаниями и своим несравненным литературным талантом. Мы надеемся также, что близко то время, когда в каждом значительном русском городе будут существовать многочисленные рабочие кружки, умеющие оценить заслуги великого социалиста. Тогда, и только тогда, станет наше отечество европейскою страною, не в одном географическом, а также и в культурном смысле этого слова. В настоящее время степень сознательности пролетариата есть самое верное мерило культурности всякой страны, вовлеченной в экономический водоворот капитализма.

Только рабочий класс способен нанести смертельный удар царизму. Буржуазия, как русская, так и западно-европейская, в лучшем случае не пойдет в борьбе против него дальше бессильной оппозиции. Царизм, как система, слишком противоречит политическим идеалам буржуазии, чтобы эта последняя могла относиться к нему с неподдельным сочувствием. Несмотря на все свои заигрывания с царем, французское «общество» и французская буржуазная печать были более на стороне Падлевского, чем на стороне генерала Сильвестрова. Что же касается нравственной оценки этих двух лиц, то на ее счет все были единодушны: царский слуга поразил цивилизованный мир своею гнусностью, едва только стали известны его служебные подвиги. Падлевскому сочувствовали люди, не имеющие ничего общего ни с каким революционным движением. Но сильно ли повлияло общественное мнение на буржуазное республиканское правительство? Читатель знает те приговоры, которыми наградило оно Лабрюйэра, г-жу Дюк-Керси и Грэгуара; он помнит те возмутительные издевательства, которые суд позволял себе над Лабрюйэром, мстя ему за царский гнев, навлеченный его поступком на Францию. Скажут, что Франция нуждается в царе вследствие

международных отношений. Но в том-то и дело, что, пока стоит в Европе буржуазный порядок, всегда будут иметь место и международная конкуренция и международные столкновения, а, следовательно, будут иметь силу все те «патриотические» чувства, благодаря которым русский царь всегда найдет поддержку в той или другой из европейских стран. Сегодня очередь за Францией, завтра она может оказаться за Германией. А там... поручитесь ли вы за то, что английская буржуазия устоит перед соблазном выгодного торгового договора? Давно ли между Россией и Америкой шли переговоры о выдаче политических преступников? И ведь эти переговоры едва не привели к желанному для царя концу. Если они не удались один раз, то это еще не значит, что они не увенчаются современем полным успехом. Не говоря уже о международных отношениях, достаточно хорошенько пугнуть буржуазию любой страны красным призраком, чтобы она тотчас же забыла всякий стыд и все предания политической свободы.

На Западе наши революционеры могут найти и находят серьезное сочувствие только между пролетариями. Но западный пролетариат пропитан теперь социалистическими идеями. Поэтому он тем сильнее будет сочувствовать русским революционерам, чем решительнее станут они под знамя международного социализма. А раз станут они под это знамя, они поймут свои обязанности по отношению к русским рабочим. На этом знамени написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и нельзя верно служить ему, не содействуя об'единению рабочих своей собственной страны.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ в 1891 году *).

В последние годы движение западного пролетариата приобрело настолько широкие размеры, что факты, вчера еще казавшиеся свидетельством огромного успеха, ныне представляются чем-то само собою разумеющимся и не вызывают ни восторга, ни удивления. Такова, например, демонстрация 1-го мая. В 1890 году о ней говорили все и каждый, ее приближение вызвало настоящую панику в рядах буржуазии. В следующем году ее продолжали опасаться, к ней готовились, как готовятся к стихийному бедствию, полиция и военные власти были на ногах, но паники уже не было, и ободрившаяся буржуазия даже подшучивала на ту тему, что вот, мол, страшен сон, да милостив Бог: как ни опасны козни социалистов, но я справлюсь с ними, как справлялась не раз и в прежнее время. Правда, склонность к такого рода шуткам буржуазия обнаружила преимущественно тогда, когда опасность совсем миновала и когда, подведя итог совершившимся фактам, она убедилась, что власть осталась пока еще в ее руках. Накануне же майской демонстрации она не столько шутила, сколько злилась, лгала и клеветала. Больше всего отличилась в этом отношении французская буржуазия. За день или за два до демонстрации в одной из парижских газет появилась передовая статья, главная мысль которой могла быть выражена словами: бедная маменька, ты так устанешь, бивши папеньку! Рабочие хотят добиться восьмичасового дня, — говорил чувствительный автор статьи,—они уверяют, что заботятся об интересах всех трудящихся, но подумали ли они о полиции и о солдатах, которым день первого мая принесет не отдых, а страшное утомление. А ведь солдаты и полицейские служители—это плоть от плоти и кость от костей народа. Неужели не пожалеет их французский пролетариат, неужели пожелает он переутомлять их своим беспокойным поведением? — Другой орган парижской буржуазии пошел еще дальше по пути бесстыдной софисти-

*) «Социал-Демократ», книга четвертая, 1892, стр. 102—124.

ки. Как раз накануне демонстрации он напечатал трогательное воззвание к патриотизму французских рабочих, которых заставляют манифестировать вместе с немцами, этими исконными врагами Франции, лишившими ее двух цветущих провинций. Лица, писавшие все эти благоглупости, считали, по немецкому выражению, без хозяина. Они, как видно, не знали, что доводы, убедительные для буржуазных Дерулэдов, не имеют никакой цены в глазах пролетариата. Если майская демонстрация 1891 года *везде* имела еще *более величественный характер,* чем ее предшественница, то во Франции она приобрела особенно важное значение. Здесь усердие охранителей буржуазного порядка привело к разбойническому нападению войска на рабочих в промышленном городке Фурми. Даже буржуазная французская палата устыдилась этого насилия над мирными манифестантами и, чтобы сгладить произведенное им впечатление, обещала приступить к решению социального вопроса. С своей стороны, французское правительство, желая свалить с себя ответственность за майские события, предало суду Кюлина и Лафарга, будто бы виновных в подстрекательстве рабочих «к бунту» (употребляя это выражение, как очень хорошо знакомое русским читателям, мы можем уверить их, что оно прекрасно передает смысл обвинения, выдвинутого против Кюлина и Лафарга). Присяжные—такова сила буржуазного пристрастия!—вынесли обвинительный приговор, вследствие которого Кюлин присужден к тюремному заключению на 6 лет, а Лафарг—на год. Пролетариат ответил на этот приговор октябрьским выбором Лафарга в палату депутатов. О значении этого события можно судить потому, что Лафарг является в сущности *первым марксистом,* получившим доступ во французскую палату. Будущие выборы присоединят к нему Жюля Гэда, и тогда политическая борьба французского пролетариата сразу удесятерит свою силу и энергию.

Французская рабочая партия, до сих пор разбитая, к сожалению, на многочисленные, несогласные между собою фракции, поставлена теперь обстоятельствами в такое положение, что разве только неблагоразумная вражда этих фракций может помешать ее быстрому развитию в самом близком будущем. Буланжизм был последней плотиной, задерживавшей прилив рабочих масс к этой партии. «Бравый генерал» оказал Франции ту неоспоримую услугу, что заваренная им политическая каша покрыла несмываемым позором все буржуазные партии, фракции и факции, независимо от того, были ли они за него, или—против. Буланже убил французский радикализм и тем, против собственного желания и ожидания, помог делу социализма. Французским социалистическим фракциям надо только перестать парализовать друг

друга, чтобы без труда об'единить под своим общим знаменем все недовольные элементы французского народа.

С удовольствием заметим, что названные фракции сделали, по крайней мере, первые шаги к об'единению. В 1889 г. поссибилисты, не желая заседать вместе с марксистами, организовали в Париже особый конгресс, на который им удалось привлечь многих представителей английских рабочих союзов. На Брюссельском конгрессе 1891 г. поссибилисты присутствовали вместе с марксистами и хотя не во всем соглашались с ними, но все-таки не отказались пристать к решениям конгресса, обязательным для всех фракций и для всех народностей.

Брюссельский конгресс представляет собою настолько выдающееся явление в жизни пролетариата, что мы, несмотря на недостаток места, должны подробно рассмотреть его решения.

Всех уполномоченных было на нем 380:—69 от Франции, 42 от Германии, 29 от Англии, 11 от Австрии, 7 от Голландии, 6 от Швейцарии, 5 от Румынии, 5 от Польши, 6 от Америки, 4 от Дании, 3 от Италии, по одному от Испании, Швеции и Норвегии, 2 от Венгрии и 188 от Бельгии. Общее число представленных на конгрессе рабочих доходило, по расчету радикальной французской газеты «Rappel», до 6 миллионов; в одной же из телеграмм агентства «Герольд» оно определено в 3½ миллиона на основании сведений, заимствованных «*от многих членов конгресса*». Это разноречие об'ясняется, вероятно, тем, что члены конгресса в своих вычислениях имели в виду одних только *организованных* рабочих (товарищей, Genossen, как говорят немцы), а радикальная французская газета подводила приблизительный итог всем тем рабочим, которые так или иначе поддерживают рабочие организации, пославшие своих представителей на Брюссельский конгресс, например, подают на выборах свои голоса за их кандидатов. Около всякой деятельной организации всегда есть такого рода сочувствующая атмосфера, и само собою понятно, что если в Брюсселе было представлено около 3½ миллионов организованных рабочих, то общее число пролетариев, в большей или меньшей степени затронутых социалистическим движением, простирается *по крайней мере* до 6 миллионов.

Прежде всего с'ехавшиеся на конгресс представители пролетариата занялись вопросом о *фабричном законодательстве.* Читателям известно, вероятно, что уже Парижский конгресс выставил целый ряд требований, имеющих целью положить некоторый предел эксплоатации труда капиталом. К числу их принадлежит и восьмичасовой день. Что же сделано со времени Парижского конгресса правительствами

различных стран для осуществления этих требований пролетариата? Во многих странах (в Соединенных Штатах Северной Америки, в Австрии, в Дании, в Швеции и в Румынии) ровно ничего, в других (во Франции, в Англии, в Швейцарии, в Бельгии и, прибавим от себя, в России) слишком мало, вернее *почти* ничего. Ввиду этого конгресс единогласно принял следующее решение:

«Стоя на точке зрения борьбы классов и убежденный в том, что об освобождении рабочих не может быть и речи до тех пор, пока существует господство одного класса над другим,—

«конгресс об'являет,

«что фабричные законы и распоряжения, изданные в некоторых отдельных странах со времени Парижского конгресса 1889 г., ни мало не соответствуют справедливым требованиям рабочего класса;

«что Берлинская конференция, по признанию самих ее инициаторов, созванная под давлением Парижского конгресса,—и в этом смысле представляющая собою уступку растущей силе рабочего класса—обнаружила нежелание правительств ввести необходимые реформы;

«что, напротив, ссылаясь на решения этой конференции, некоторые правительства отказались от дальнейшего развития фабричного законодательства в их странах, под тем предлогом, что подобного законодательства нет в государствах, соперничающих с ними на международном рынке;

«конгресс указывает также, что существующее теперь, само по себе недостаточное, фабричное законодательство не находит достаточного применения и исполнения.

«Поэтому он приглашает рабочий класс всех стран энергично бороться всеми имеющимися в его распоряжении средствами пропаганды и агитации за осуществление решений Парижского конгресса, хотя бы борьба его и имела пока лишь то значение, что показала бы, до какой степени господствующие и эксплоатирующие классы враждебны всякой серьезной законодательной защите интересов рабочих.

«Кроме того, принимая во внимание, что необходимо придать одно общее направление международному рабочему движению, в особенности там, где дело касается законодательной защиты интересов труда, конгресс предлагает:

«1) Предпринять в каждой стране постоянное исследование положения рабочего класса и условий, в которые поставлен труд.

«2) Установить обмен сведений, необходимых для развития фабричного законодательства и придания ему однообразного характера.

«Наконец, конгресс советует работникам всего мира об'единять свои силы для борьбы против капиталистов, а там, где рабочие имеют политические права, он советует им пользоваться этими правами для своего освобождения от рабства наемного труда».

По принятии этого решения конгресс перешел к вопросу, имеющему для нас, русских, большое практическое значение, именно к *еврейскому вопросу*. Известно, что под влиянием диких и свирепых преследований многие русские евреи вынуждены были оставить родину, ища убежища частью в различных странах Старого Света, а частью в Америке. Все это была беднота, готовая трудиться до седьмого пота за самое скудное вознаграждение. В Северо-Американских Соединенных Штатах эти изгнанники быстро прониклись духом современного рабочего движения. В их среде образовались рабочие общества, из которых некоторые уже имеют свою военную историю и свои неоспоримые заслуги в борьбе с капиталом. В демонстрации 1-го мая русско-американские евреи принимали самое деятельное участие. Неудивительно, поэтому, что мы встречаем их представителя и на Брюссельском международном социалистическом конгрессе. Чего хотели они, предлагая конгрессу высказаться по еврейскому вопросу, видно из речи этого представителя, товарища *Когана*. «Я явился сюда не как еврей, а как рабочий,—говорил он.—Собственно для социалистов еврейский вопрос так же мало существует, как и военный вопрос (вопрос о милитаризме). Но обстоятельства вынуждают вас обсуждать военный вопрос. То же можно сказать и о вопросе еврейском. Я требую равенства для всех... Евреев травят, преследуют, из них сделали какой-то особый класс. Этот класс хочет бороться и просит места в рядах социальной демократии... Русская печать постоянно нападает на евреев, уверяя, что нас ненавидят даже рабочие-социалисты. Я прошу вас заявить, что это неправда, что вы враги всех эксплоататоров, как евреев, так и христиан *(продолжительные рукоплескания)*, что вы так же сочувствуете рабочим-евреям, как и рабочим-христианам *(рукоплескания)*. Это будет ответом на клеветы русской печати и это даст возможность евреям принять участие в деле освобождения пролетариата *(рукоплескания)* *).

В ответ на речь Когана известный бельгийский социалист Вольдэрс сказал, что почти бесполезно *выражать* сочувствие угнетенным евреям; со стороны *социалистического* конгресса оно подразумевается само со-

*) Восстановляем сказанное товарищем Коганом по газетным отчетам, очень сожалея, что он не прислал нам своей речи. Редакция «Социал-Демократа» была бы очень благодарна ему за такую присылку.

бой. «Социалисты везде отстаивают угнетенных против угнетателей, эксплоатируемых против эксплоататоров. Угнетенные и эксплоатируемые всех стран связаны между собою узами братства... Русский социалистический мартиролог заключает в себе слишком много еврейских имен, чтобы нас можно было заподозрить во враждебном отношении к евреям. Противоеврейское движение поддерживается исключительно буржуазными партиями и об'ясняется, между прочим, тою завистью, которую христианские эксплоататоры питают к эксплоататорам-евреям *(рукоплескания)*. Для угнетенных евреев есть только один путь освобождения: вступление в ряды социалистов».

На основании всего им сказанного Вольдэрс предложил конгрессу принять следующее решение:

«Принимая во внимание, что рабочие и социалистические партии всех стран всегда заявляли, что для них не существует племенной или национальной вражды и не может быть иной борьбы, кроме классовой борьбы пролетариев всех племен против капиталистов всех наций;

«принимая во внимание, что единственным путем освобождения для рабочих-евреев является соединение их с рабочими социалистическими партиями всех стран, где они живут,—

«Конгресс, осуждая подстрекательства против евреев, как уловку, употребляемую капиталистами и реакционными правительствами с целью внести разделение в среду рабочих и отклонить социалистическое движение от его истинной цели;

«признает излишним рассмотрение вопроса, внесенного представителем групп американских социалистов, говорящих по-еврейски, и переходит к очередным вопросам».

Предложенное Вольдэрсом решение вызвало возражения со стороны некоторых французских уполномоченных. Адвокат Аржириадэс потребовал, чтобы конгресс высказался не только против антисемитических (противоеврейских), но и против *филосемитических* подстрекательств (т.-е. подстрекательств *в пользу* евреев и *против* лиц других вероисповеданий). Д-р Реньяр, осуждая направленные против евреев преследования находил, однако, что существует семитический вопрос, составляющий часть социального: «Именно, вопрос еврейских банков, острый вопрос, который кончит тем, что погубит всех нас». После довольно горячих споров конгресс принял решение Вольдэрса с поправкой, предложенной Аржириадэсом.

Мы должны признаться, что нас оно не удовлетворяет. Приняв его, конгресс в сущности отказался входить в рассмотрение еврейского вопроса. Отказ его был основан на том соображении, что социалистический пролетариат никогда не занимался и не мог заниматься противоеврейской травлей. Это, конечно, совершенно справедливо, но это еще ничего не доказывает. Социалисты в своих программах никогда не высказывались против расширения гражданских и политических прав женщин; но это еще не помешало конгрессу принять решение, приглашающее социалистические партии всех стран внести в свои программы требование полного гражданского и политического равенства обоих полов *). «Хотя это требование и стоит уже в нашей программе,—говорил немецкий уполномоченный Зингер,—но есть страны, в которых оно еще не выставлено, и потому наше решение будет вполне уместно... Мы, немцы, тем охотнее высказываемся в пользу этого решения, что в особенности последние выборы доказали нам, до какой степени мы обязаны своими успехами, между прочим, и неутомимой деятельности и восторженной преданности женщин». Почти то же можно было сказать и по поводу еврейского вопроса: хотя мы, социалисты, уже и прежде всегда стояли за полную равноправность людей, независимо от их племенного происхождения и религии, но так как есть страны, в которых враждебные нам партии стараются толкнуть рабочих на путь противоеврейского движения, то вполне уместно будет пригласить все социалистические партии оттенить в своих программах требование полного гражданского и политического равенства граждан всякой данной страны, к какой бы народности, к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали. И мы, социалисты всех стран, с тем большею готовностью сделаем это, что мы знаем, как много обязано евреям своими успехами международное социалистическое движение, и какими низкими побуждениями руководствуются правительства и партии, натравливающие христиан на евреев.—Против такого решения едва ли нашлись бы сколько-нибудь серьезные доводы. Г. Аржириадэсу конгресс мог бы заметить, что *фило*семитизм нельзя ставить на одну доску с *анти*семитизмом. Если бы существовало такое еврейское государство, в котором были бы предоставлены особые права евреям, *как евреям,* а христиане подвергались бы угнетению за то, что они христиане, тогда поправка Аржириадэса оказалась бы вполне уместной. Но так как подобное еврейское государство не существует; так как «филосемитические подстрекательства» происходят (если происходят) в христианских государствах, вовсе не склонных к предоставлению евреям особых политических или гражданских прав; так как, наконец, *фило*семитизм далеко не представляет

*) Решение это было предложено конгрессу присутствовавшими на нем социалистками: Анной Кулишовой, В. Друкер, Э. Ирер, Луизой Каутской и О. Баадер.

собою такой большой политической опасности, какой несомненно является *антисемитизм*, то поправка Аржириадэса лишается всякого смысла. Что же касается «семитического вопроса» д-ра Реньяра, то смешно было бы считаться с таким вопросом. Если «нас» действительно погубят еврейские банки, то они погубят нас как *банки,* а не как принадлежащие *евреям* банки. Вопрос же о банках есть *экономический,* а вовсе не *племенной* вопрос.

К чести французского пролетариата надо заметить, что собственно к *рабочей партии* д-р Реньяр не принадлежит. Он послан был на конгресс каким-то *«кружком для изучения социальных вопросов»*, который, как видно, далеко еще не усвоил себе теорий современного социализма.

Требуя политической и гражданской равноправности женщин с мужчинами, конгресс, разумеется, имел в виду столько же еврейских женщин, сколько и всех других. Какой же вид принимает его требование по отношению, например, к Румынии? Выходит, что он, требуя для румынских *евреев* полной равноправности с мужчинами, не счел в то же время нужным протестовать против гражданского бесправия румынских *евреев*. За что же такое пристрастие к прекрасному полу?

Мы полагаем, что пересмотра решения, принятого Брюссельским конгрессом относительно еврейского вопроса, следовало бы потребовать на будущем конгрессе представителям тех стран (напр., России и Румынии), в которых евреи до сих пор стоят вне общего права и где, поэтому, антисемитическое движение имеет особенно опасный, реакционный характер.

Перейдем к другим решениям конгресса. Из числа вопросов, непосредственно касающихся положения рабочего класса, им были рассмотрены, кроме вышеупомянутого вопроса о фабричном законодательстве, еще вопросы: 1) о стачке и бойкоте *), 2) о поштучной плате и об урочной работе и 3) о праздновании первого мая.

*) Что значит *бойкот*—поясним примером. Положим, что берлинская полиция уговорила какого-нибудь трактирщика не давать социал-демократам имеющиеся у него в «заведении» залы для *собраний*. Тогда партия приглашает рабочих не ходить в такой трактир. Так как в Берлине много сочувствующих социал-демократам рабочих, то *«бойкотированный»* трактирщик несет большие убытки и сдается по-неволе. Бойкотировать какое-нибудь лицо или учреждение значит наложить на него запрещение, прекратить с ним всякие сношения. В руках сильной партии бойкот может быть очень сильным оружием борьбы.

По первому вопросу решение конгресса гласит так:

«При современных экономических отношениях и постоянном стремлении господствующих классов урезывать политические права и ухудшать экономическое положение рабочих, *стачки* и *бойкот* являются для рабочего класса необходимым оружием, как для защиты от нападений врагов, так и для завоевания тех уступок, какие возможны в современном буржуазном обществе.

«Но так как стачки и бойкот являются в то же время обоюдоострым оружием и, будучи применяемы в неудобное время, могут скорее повредить, чем принести пользу рабочему классу,—конгресс советует рабочим каждый раз старательно взвешивать все обстоятельства прежде, чем употреблять это оружие. Для борьбы этого рода конгресс считает безусловно необходимой ремесленную организацию рабочих, которая даст им и численную силу и материальные средства для достижения намеченных целей.

«На этом основании, конгресс советует всем рабочим помогать развитию ремесленных союзов и протестует против всех правительственных и предпринимательских попыток ограничить право рабочих составлять союзы. Он требует также отмены всех законов, стесняющих это право, и наказания тех лиц, которые мешают рабочим пользоваться уже признанным за ним правом.

«Так как, несмотря на всю желательность центральной международной организации, об'единяющей силы рабочего класса, такая организация встретила бы в настоящее время слишком много затруднений, конгресс предлагает устраивать в странах, где это возможно, национальные рабочие секретариаты, которые следили бы за борьбой труда с капиталом и, при всяком столкновении, давали бы возможность рабочим различных стран принимать меры для поддержки их товарищей».

Вот решение, принятое относительно поштучной платы:

«Принимая во внимание, что поштучная плата и урочная работа, все более и более распространяющиеся как в крупной, так и в мелкой промышленности, усиливают эксплоатацию рабочей силы и ухудшают положение рабочих;

«что они постепенно низводят рабочего до положения машины;

«что, вызывая соперничество между рабочими, они уменьшают заработную плату, позволяя предпринимателям рассчитывать средний заработок по такой работе, на какую способны лишь наилучшие рабочие;

«что поштучная плата и урочная работа вызывают постоянные

столкновения, как между хозяевами и рабочими, так и между самими рабочими;

«что во многих отраслях производства они ведут к работе на дому и тем мешают сплочению рабочих и образованию между ними союзов сопротивления, а также препятствуют применению полезных для рабочих фабричных законов,

«конгресс полагает,

«что эта гнусная система сильнейшей эксплоатации рабочих представляет собою естественное следствие капитализма и исчезнет только с капитализмом,

«но что, тем не менее, рабочие организации всех стран должны всеми силами противиться распространению этой системы,

«что система промежуточных подрядов (так называемая англичанами система выжимания пота) также ведет за собою крайне вредные последствия и потому должна вызывать не менее сильный отпор со стороны рабочих».

Русскому читателю, может быть, не совсем понятно, что надо понимать под словами—система промежуточных подрядов. Очень вероятно, что мы неловко выразились, переводя на русский язык относящееся сюда решение конгресса. Пусть же читатель сам найдет подходящее русское выражение, а мы только поясним, в чем тут дело. У нас в кустарном производстве (например, в ткачестве) существуют так называемые *мастерки,* которые, беря материал у скупщиков, раздают его производителям, из заработной платы которых они берут очень почтенный процент «*за комиссию*». Иногда такие подряды подразделяются на несколько ступеней; один «мастерок» передает подряд нескольким другим «мастеркам», а те уже имеют дело с кустарями. Разумеется, получаемая каждым таким мастерком прибыль отнимается от заработной платы производителя. Такую систему немцы называют *системой промежуточных мастеров,* англичане — *системой выжимания пота* (sweating system), а мы называли ее системой промежуточных подрядов. Английское название особенно ясно показывает, до какой степени плохо приходится от нее работникам. Один из английских уполномоченных, Уокэр, заявил на конгрессе, что он приехал именно затем, чтобы протестовать против этой системы.

Читатель знает, что в 1890 году англичане, а в 1891—англичане, немцы и швейцарцы перенесли рабочий праздник с первого мая на *первое воскресенье* этого месяца. Огромному большинству уполномоченных хотелось устранить это отклонение от общего правила, в чем они

наконец, успели. Англичане, голосовавшие сначала против принятого огромным большинством решения, немедленно после голосования об'явили, что, не желая отделяться от рабочих других стран, они также к нему присоединяются. Были также споры о том, следует ли рабочим отказываться в день Первого мая от работы, или они могут ограничиться *вечерними* собраниями. Решено, что отказываться от работы надо повсюду, где это возможно. Некоторые уполномоченные хотели, чтобы майская рабочая демонстрация в пользу восьмичасового дня была также и демонстрацией в пользу международного *мира.* Большинство представленных на конгрессе наций голосовало против этого предложения, на том основании, что Первое Мая и без того имеет *международный* характер, а следовательно заключает в себе протест против войн. (Так, по крайней мере, об'яснил это за представителей своей страны австрийский уполномоченный Адлер, в том же смысле высказался немец Либкнехт). Вот относящееся к Первому мая решение конгресса, на которое мы обращаем внимание наших читателей-*рабочих.*

«Чтобы сохранить за Первым мая его истинный экономический характер: требования восьмичасового дня и оттенения классовой борьбы,—

«конгресс решает,

«что должна быть одна общая демонстрация рабочих всех стран и что эта демонстрация будет иметь место Первого мая.

«Он предлагает прекращать работы всюду, где это возможно».

В одиннадцатом заседании Конгресса говорил докладчик комиссии, выбранной для обсуждения вопроса о милитаризме, Либкнехт. В сильной, красноречивой, глубоко продуманной и горячо прочувствованной речи он показал, что «социализм представляет собою единственное средство уничтожения милитаризма и прекращения международных военных отношений». В заключение он предложил конгрессу единогласно принять следующее решение («чтобы во всем мире раздались этот протест против милитаризма и этот призыв к миру»):

«Принимая во внимание, что милитаризм, лежащий страшной тяжестью на всей Европе, является необходимым следствием постоянного—открытого или скрытого—военного положения, навязанного современным обществам системой эксплоатации человека человеком и вытекающей из нее классовой борьбы,

«конгресс утверждает, что все стремления к устранению милитаризма и установлению всеобщего мира, не направленные против экономической причины зла, останутся бессильными, как бы ни были благородны вызывающие их побуждения;

«что лишь социалистический строй, уничтожив эксплоатацию человека человеком, положит конец милитаризму и упрочит мир;

«что, поэтому, все противники войны должны присоединиться к международной социальной демократии, как к единственной настоящей партии мира.

«Ввиду постоянной опасности, угрожающей европейскому миру, и лже-патриотических науськиваний со стороны высших классов, конгресс предлагает рабочим всех стран постоянно и энергично протестовать против всяких воинственных поползновений и союзов, их поддерживающих, и содействовать торжеству социализма неустанной работой над завершением международной организации пролетариата.

«Конгресс об'являет, что нет другого средства предотвратить всеобщую войну со всеми ее ужасами, которые прежде всего падут на рабочее население,

«и возлагает на господствующие классы всю ответственность за нее перед историей и перед человечеством».

В защиту этого решения говорил и французский уполномоченый *Вальян*. Его речь также очень сочувственно выслушана была присутствующими. Но, к сожалению, оказалось, что об единогласном принятии предложенного докладчиками решения не может быть и речи. Против него восстал *Д. Ньевенгайс,* считавший его слишком неопределенным,—даже фразистым,—и недостаточно радикальным. По его мнению, конгресс должен был «*заявить, что в случае войны социалисты всех стран обратятся к народу с воззванием, приглашающим его сделать всеобщую стачку*». Он думал также, что в этом случае солдаты-социалисты должны отказаться от военной службы. Мимоходом он задел немецких социал-демократов, заметив, что некоторые из них не свободны от национальных предрассудков. Отвечая на его речь, Либкнехт сказал, что вся история немецкого движения доказывает неосновательность подобного упрека, что же касается до фразерства, то им страдает именно предложение Ньевенгайса. «Что значит фразерствовать? Это значит давать такие обещания, которых нельзя исполнить. Буржуазия имела бы право смеяться над нами, если бы мы приняли предлагаемое Ньевенгайсом решение. Принять это решение—значит наперед определить время революции, а революции принадлежат к числу таких вещей, которые следует делать, но о которых не следует говорить: в особенности же не следует заранее определять время революционного взрыва».

Прав или неправ был Либкнехт? Что он был совершенно прав, ясно из следующего, в высшей степени разумного заявления *польских* уполномоченных.

«1) Партия, достаточно могущественная для того, чтобы помешать войне, может сделать и революцию. Декретируем же революцию—это будет еще громче.

«Но, как нам кажется, мы, не будучи в состоянии поступить иначе, заседаем на конгрессе, а не делаем революции. Еще менее возможности сделать революцию будет у нас во время войны. Наша задача заключается в том, чтобы помешать началу войны;

«2) Конгресс должен принять практическое, а не чувствительное решение. Докладчик Вальян справедливо заметил, что надо предоставить отдельным народам выбор средств, которыми они будут препятствовать войне. С революционной точки зрения или, вернее, с точки зрения насильственных действий, на которую становится гражданин Домела (Ньевенгайс), быть может, найдутся средства посильнее стачки, которая именно и *невозможна;*

«3) К чему привела бы стачка во время войны между центральной Европой, где существует организованная социалистическая партия, делающая стачку возможной, и Россией, где такая стачка невозможна? Мы имели бы дело с казацким нашествием.

«Поэтому, если где есть фраза, то именно в голландском предложении, не обращающем внимания на действительное положение вещей.

«Мы, поляки, готовы всем пожертвовать, чтобы парализовать царизм, если бы он начал проявлять воинственность,—и мы это сделаем не стачкой, а более действительными средствами.

«Мы настоятельно просим вас принять в интересах международной революции решение, предложенное Валльяном и Либкнехтом».

Это заявление до такой степени исчерпывает весь вопрос, что непонятным остается одно: зачем Д. Ньевенгайс, человек очень умный и безусловно преданный социализму, заварил на конгрессе такую кашу, которая могла быть питательной только для буржуазии? Это может быть об'яснено только крайней непрактичностью Д. Ньевенгайса. Он принадлежит к числу тех неисправимых идеалистов, которые, от души сочувствуя *делу* пролетариата, никак не могут понять свойственную ему тактику, и потому незаметно для себя часто становятся в противоречие с его насущнейшими *задачами*. На Парижском конгрессе Домела высказывался против восьмичасового дня. На Брюссельском—он, по вопросу о милитаризме высказался почти как анархист. И та, и другая

ошибка проистекает из одного и того же источника. Но, как выдающийся человек, Д. Ньевенгайс имеет большое влияние на своих ближайших товарищей: он—признанный вождь голландских социалистов. Этим об'ясняется то, что только один голландский уполномоченный высказался против его предложения, остальные же поддерживали его и, в свою очередь, давали конгрессу почти анархические советы.

Впрочем, ни на Парижском, ни на Брюссельском конгрессах Ньевенгайс не помешал представителям других стран определить надлежащий способ действий. Требование восьмичасового дня пред'является теперь буржуазии целыми миллионами рабочих, встречая сочувствие *также и в Голландии*. Предложенное Либкнехтом и Вальяном решение относительно милитаризма принято в Брюсселе огромным большинством уполномоченных: за него высказались все нации, за исключением *меньшинства* французов и англичан и большинства голландцев.

Вечером 22 августа окончены были заседания Брюссельского конгресса. В своей заключительной речи Вольдэрс заметил, что этот конгресс разрешил крайне трудную задачу, об'единив все борющиеся фракции пролетариата: «*мы все можем сказать теперь, что его об'единение есть совершившийся факт*». И в самом деле, на *Парижском* конгрессе Англия представлена была очень слабо: большая часть представителей английских рабочих союзов предпочла отправиться на заседавший в то же время и в том же городе конгресс *поссибилистов* (наиболее умеренной социалистической фракции во Франции). В Брюсселе, как уже сказано, поссибилисты сидели рядом с бланкистами и марксистами *), а представители даже очень умеренных английских рабочих союзов открыто стали на точку зрения *борьбы классов*. Это огромный шаг вперед, которым пролетариат обязан прежде всего стараниям и уменью организаторов конгресса—бельгийских социал-демократов.

Изо всех стран Европы только Россия не имела ни одного представителя на Брюссельском конгрессе, между тем как на Парижском от нее было *несколько* представителей. Враги могут с кажущеюся убедительностью заключить из этого, что русское социалистическое движение клонится к упадку. На самом деле отсутствие в Брюсселе русских уполномоченных доказывает как раз обратное: оно вызвано было именно успешным распространением социалистических взглядов в Рос-

*) Там же решено было французскими уполномоченными основать *одну общую* организацию ремесленных союзов во Франции, независимо от того, какому направлению сочувствуют эти союзы: марксистам, поссибилистам или бланкистам.

сии. Кого собственно представляли русские уполномоченные на Парижском конгрессе? Небольшие группы «интеллигентов»; эти группы, не опираясь на существующие в России *рабочие* организации, были социалистическими *только в возможности*. Представители *возможного* социалистического движения в России являлись на деловое собрание представителей *действительного*—и при том уже принявшего огромные размеры—социалистического движения Запада. Их встречали очень сочувственно; но не могли же не видеть они, что положение их по меньшей мере странно. По правде говоря, они напоминали собою тех уличных мальчиков, которых всегда много собирается на военные смотры и парады. Зачем приходят эти мальчики? Они хорошо знают, что в ряды им не попасть, что не для них играет военная музыка, не для них развертывается знамя; но их привлекает самое зрелище, и они довольствуются тем, что промаршируют хоть *около* стройных рядов, стараясь попадать в ногу и придавая себе по возможности воинственный вид. Такая роль недостойна взрослых людей, и мы полагаем, что именно поэтому русские социалисты не явились в Брюссель. По крайней мере русские социал-демократы не явились именно по этой причине. «Мы возложили на себя обязанность покрыть Россию сетью рабочих обществ,—говорится в «*Докладе, представленном редакцией русского «Социал-Демократа» на международный рабочий социалистический конгресс в Брюсселе*». И пока эта цель не будет достигнута, мы будем воздерживаться от участия в ваших с'ездах. Пока она не будет достигнута, всякое представительство на них русской социальной демократии было бы *фиктивным*, а мы не хотим *фикций*. Мы уверены, что скоро такое воздержание уже не будет иметь смысла. Очень возможно, что на будущем международном конгрессе вы увидите в вашей среде настоящих представителей русских рабочих. А в ожидании этого времени, мы уверены, что все вы, без различия национальностей, пожелаете нам успеха».

«Настойчивые усилия русских социалистов позволяют надеяться,—сказал Вольдэрс на последнем заседании,—что на будущий конгресс явятся представители организованного русского пролетариата, не те русские, которые живут за границей, а русские из России». Пусть запомнят эти слова наши рабочие. Их ждут и радостно встретят их западно-европейские братья.

Конечно, с точки зрения полицейских преследований непосредственное появление русских рабочих на международном социалистическом конгрессе—дело очень трудное и, повидимому, несбыточное: их представители не могли бы вернуться на родину. Но, во-первых, можно

обойти и эту трудность (разумеется, мы не скажем *печатно,* как сделать это), а во-вторых,—и в крайнем случае—рабочие кружки могут давать свои полномочия лицам, оставляющим Россию или живущим за границей. Все дело тут в том, чтобы не было обмана, чтобы лица эти представляли на конгрессе *не самих себя,* а *существующие в России рабочие общества.* Посылают же на конгрессы своих представителей социалисты-рабочие русской Польши, а ведь они живут под тем же царским правительством, что и русские рабочие.

Кроме общих заседаний конгресса рабочие представители собирались в Брюсселе также на особые международные *конференции по отдельным ремеслам.* Укажем на конференции: 1) рабочих горных заводов, 2) рабочих, занимающихся обработкой продуктов, идущих в пищу (булочников и т. д.), 3) рабочих, обрабатывающих волокнистые вещества (ткачей, прядильщиков и т. п.), и 4) рабочих, обрабатывающих *дерево.*

Мы не станем описывать праздников, устроенных в честь членов конгресса бельгийской рабочей (социалистической) партией. Скажем только, что если бы какая-нибудь волшебная сила перенесла русского рабочего на один из таких праздников, он подумал бы, что ему снится самый фантастический, самый несбыточный сон: в обширных, прекрасно убранных залах или под открытым небом,—на улицах, в саду,—собираются тысячи народа, поются революционные песни, музыка играет революционные марши, все веселы, все уверены в себе, в торжестве дорогого дела... «А где же полиция?»—спросил бы русский человек, и, к удивлению своему, услышал бы, что в Бельгии есть *политическая свобода,* что там полиция не имеет никакого права вмешиваться в такие собрания, за которые у нас услали бы в Камчатку. Великое дело—политическая свобода!

Упомянем в заключение об адресе, присланном на Брюссельский конгресс *рабочими союзами Австралии.* Трудно следить из Европы за успехами рабочего движения в этой отдаленной части света. Но поскольку мы знаем о нем, мы можем с уверенностью сказать, что оно очень быстро развивается, решительно направляясь в сторону *социализма.* В своем обращении к Брюссельскому конгрессу австралийские рабочие заявляют, что их цели нисколько не отличаются от целей европейских и американских рабочих; они настаивают также на создании *всемирной организации пролетариата.*

Из национальных социалистических конгрессов прошлого года мы упомянем здесь лишь об Эрфуртском конгрессе (14—20 октября) немецкой социальной демократии. И буржуазия, и пролетариат интересовались им едва ли меньше, чем международным Брюссельским конгрессом. На нем обсуждался важный вопрос о тактике партии, вопрос, от решения которого зависела вся ее будущность. Блестящая победа, одержанная партией на последних выборах в рейхстаг, и вызванное ею падение Бисмарка с его исключительным законом в огромной степени увеличили силу и значение немецкой социал-демократии. Вследствие этого некоторые из ее приверженцев стали требовать перемены ее тактики. В ее среде зародилось два новых направления: одно—направление Фольмара и его мюнхенских сторонников—в своей умеренности и аккуратности грозило превзойти даже французских поссибилистов; другое—направление так называемой оппозиции—было сначала чем-то вроде социал-демократического бунтарства. Оба эти направления произошли в сущности из одного и того же источника: из преувеличенного представления о силах партии. Фольмар думал, что эти силы дают возможность заключить выгодное перемирие с господствующими классами. А чтобы расположить эти классы к уступчивости, он готов был если не совсем отречься от конечной цели партии—*социалистической организации производства,*—то, по крайней мере, признать и об'явить ее делом очень отдаленного будущего, таким делом, ради которого социальная демократия не должна отказываться от выгодных сделок с врагами: лучше синица в руках, чем журавль в небе,—рассуждал мюнхенский агитатор. Оппозиция думала иначе: ей казалось, что сила партии теперь уже достаточно велика для того, чтобы социал-демократы могли вести пролетариат к восстанию. Приверженцы каждого из этих новых направлений были сравнительно очень малочисленны. Но раз они явились, с ними необходимо было считаться. Эрфуртский конгресс должен был решить поднявшиеся споры.

Явившись на конгресс, Фольмар скоро увидел, что о торжестве его направления не может быть и речи. Как человек сдержанный и рассудительный, он, не вдаваясь в бесполезные препирательства, заботился лишь о том, чтобы обеспечить себе не слишком постыдное отступление. Выражая полную готовность подчиниться мнению большинства, он просил конгресс не принимать решений, унижающих его, Фольмара, как политического деятеля. Таким образом, с этой стороны спор прекратился довольно скоро, хотя не знаем, *на долго ли.*

С оппозицией было больше хлопот. Чтобы дать читателю возможность судить об ее, будто бы, крайне революционных стремлениях, припомним, в каком положении находится теперь немецкая социал-демократия. Вот как характеризует его Фридрих Энгельс в статье, по-

явившейся первоначально в альманахе французской рабочей партии: «Социалисты получили на выборах голосов:

В 1871 г.	101.927
» 1874 »	351.670
» 1877 »	493.477
» 1884 »	549.990
» 1887 »	763.128
» 1890 »	1.427.298

«Со времени последних выборов правительство сделало с своей стороны все возможное, чтобы толкнуть народные массы к социализму... Мы можем рассчитывать поэтому, что на выборах 1895 г. у нас будет, по крайней мере, 2½ миллиона голосов, а в 1900 от 3½ до 4 миллионов на десять миллионов всех избирателей... Этой сплоченной и постоянно растущей массе специалистов противостоят лишь разрозненные буржуазные партии. В 1890 г. обе фракции консерваторов получили вместе 1.737.417 голосов; национал-либералы—1.177.807; прогрессисты—1.159.915; католики—1.342.112. При таком положении дел сплоченная партия, получившая 2½ миллиона голосов, заставит сдаться всякое правительство. Но голоса избирателей далеко еще не показывают всей силы немецкого социализма. Избирательное право имеют у нас только лица, достигшие 25 лет. Но молодое поколение всего охотнее склоняется к социализму; поэтому им все более и более заражается немецкая армия. За нас теперь пятая часть армии, через несколько лет за нас будет третья часть ее, а около 1900 года большая часть армии, этого некогда прусского по преимуществу элемента в Германии, будет социалистической. Берлинское правительство знает это так же хорошо, как и мы, но оно ничего не может сделать. Армия ускользает из его рук». Читатель подумает, может быть, что Энгельс высказывает слишком радужные надежды на будущее. Мы не хотим спорить с ним. Мы заметим лишь, что дело ни мало не изменится, если мы допустим, что не в 1900, а в 1910 или даже в 1915 г.г. немецкая социал-демократия возьмет политическую власть в свои руки. Ясно, что и в таком случае эта партия поступила бы более чем странно, если бы, по совету Фольмара, она пошла на сделки с господствующими классами: входить в сделки, значит уступать; уступчивость по отношению к врагам пролетариата *вообще* недостойна социалистов, а уступчивость по отношению к врагам, находящимся при последнем издыхании, была бы прямой изменой. Столь же странно было бы, если бы партия теперь же стала толкать пролетариат на путь открытого восстания, как этого хотелось оппозиции. Сделать это значило бы пойти на верное поражение, между тем как в недалеком будущем ей предстоит несомненная победа. Только очень недалекие или очень неискренние люди могли давать немецкой социальной демократии подобные советы.

К сожалению, представители оппозиции оказались людьми не только недальновидными и политически незрелыми, но и крайне бестактными. Как ни ошибочны были их взгляды на деятельность партии, но, разумеется, никто не мог отнять у них права *критиковать* принятый способ действий. Они не хотели и не умели воспользоваться этим правом. Вместо *критики* они пустили в дело *ругательства* и самые недостойные, самые оскорбительные *обвинения*. Враги могли только радоваться, слыша, как «оппозиция» обвиняет партию *в политическом развратe,* а ее вожаков *в испорченности,* позволяющей им «откармливаться» на счет рабочих и прибегать чуть ли не к *подкупам* для удержания за собой нагретых местечек. Партия не имела права отнестись равнодушно к подобным обвинениям. На Эрфуртском конгрессе обвинителям предложено было или подтвердить свои упреки какими-нибудь фактическими доказательствами, или взять их назад. Обвинители не сделали ни того, ни другого. Тогда разрыв сделался неизбежен...

Теперь бывшая оппозиция представляет собою что-то вроде отдельной партии, все более и более пропитывающейся анархическим духом. Дальнейшую судьбу этой будто бы партии предсказать не трудно. Пример Моста и его приверженцев слишком хорошо показывает, как велики и блестящи могут быть предстоящие ей революционные победы.

На Эрфуртском конгрессе принята была новая редакция программы партии. Теперь это совершенно марксистская программа, не заключающая в себе никаких остатков лассальянства. Еще в половине семидесятых годов в Германии дело обстояло с лассальянством (с его «железным законом» и с его производительными ассоциациями) приблизительно так, как у нас обстоит оно с «общиною»: читатель, вероятно, не раз встречал очень хороших и очень толковых людей, которые говорили ему, что вот, мол, всем хороша программа русских социал-демократов, да нет в ней места общине, а без общины нам, хорошим людям, нельзя ни жить, ни действовать. Нечто в этом роде говорили лассальянцы по поводу программы немецких марксистов, не принимавших всерьез требования Лассаля относительно государственной помощи производительным ассоциациям. Чтобы не огорчать лассальянцев, марксисты решились сделать в своей программе книксен в сторону «железного закона» и производительных ассоциаций. Никаких ассо-

циаций из этого, разумеется, не произошло, но произошло соединение двух социалистических фракций, что было существенно важно в то время. Теперь все социал-демократы убедились, что лассальянские требования не выдерживают критики, и потому решили вычеркнуть их из своей программы. Это, разумеется, очень хорошо, но нас берет раздумье: если немцам нужно было 16 лет, чтобы расстаться с ассоциациями, существовавшими только в голове Лассаля, то сколько столетий потребуется русским социалистам, чтобы расстаться с общиной, несомненно существовавшей некогда в русской деревне!

Впрочем, теперь на русскую историческую сцену выступает такой общественный класс, который по самому положению своему не может не быть чужд всякого рода *самобытности*. Мы говорим о рабочих.

Крушение старых экономических порядков, пробудив русский народ от его вековой спячки, вызвало в нем небывалую прежде жажду знаний. Она заметна даже в деревнях. Вот как описывал корреспондент «Русских Ведомостей» опыт народных чтений в Александрийском уезде, Херсонской губернии (в том самом уезде, за которым, как видел читатель из внутреннего обозрения третьей книжки «Соц.-Дем.» накопилось, по бедности крестьян, невероятное количество недоимок).

«*Александрия,* Херсонской губернии, 9 февраля. Опыт *сельских народных чтений* с туманными картинами, произведенный в прошлом году александрийским земством, дал хорошие результаты. Он показал, как сильна в сельском населении любознательность и какую пользу могут принести народные чтения в деревнях, если это дело будет поставлено рационально. Чтения производили учителя и учительницы земских школ. Из их отчетов, присланных в уездную управу, видно, что не только ученики, но и взрослые заинтересовались чтениями. Число присутствовавших с каждым чтением увеличивалось, так что иногда не все могли поместиться в школе; так, например, в с. Аджимке на первом чтении было 180 человек, в том числе взрослых 80, а на последнем—400, из них 270 взрослых. Но обстановка чтений в некоторых селениях была более чем неудобная. В селе Губовке во время чтения, по описанию учительницы, «в классе трещали окна и двери; староста, сотский и десятские едва сдерживали напор толпы, грозили «холодною» и зуботычинами; слышались вопли: «голубчику, пустыть», со стен и потолка текла вода; кому делалось дурно, тот мог выйти лишь по головам толпы, как по полу; сил не хватало читать, задыхались».

В городах потребность знания еще сильнее. Можно сказать без преувеличения, что рабочий класс это *тот класс, который всего прилежнее учится в современной России.* Устроенные в больших городах

бесплатные народные читальни буквально осаждаются рабочими. Чтобы нас не заподозрили в преувеличении, сошлемся на «Новое Время», газету, которую никто не упрекнет в излишнем пристрастии к пролетариату.

«К январю 1891 г. в Петербурге будет три народные бесплатные библиотеки. Число это ничтожно сравнительно с миллионным населением столицы. Для удовлетворения той громадной охоты к чтению, которая, как показал уже опыт, существует среди бедного и простого сословия, нужны не три, а, может быть, тридцать три бесплатных читальни. Не трудно убедиться, что современное положение дела далеко не удовлетворяет нуждам населения. Прочтите коротенькие отчеты Пушкинских библиотек, издаваемые Городской Думой, или, что еще лучше, зайдите в одну из них и посидите там. Вы наглядно увидите, как велика охота к чтению в среде простого класса. Я бывал в читальнях и не раз уходил оттуда с грустным чувством. Тяжело видеть, как на ваших глазах отказывают в чтении какому-нибудь десятилетнему малышу. Бедный мальчуган пришел, быть может, с окраины города (дети приходят оттуда часто) и терпеливо ждет на холодной лестнице, пока не очистится свободное место. А места освобождаются не скоро,—их мало. В особенности много посетителей в читальне вечером. Набирается одновременно до 80 и более человек, преимущественно молодежи от 9 и до 18 лет. В небольшой зале все места занимаются быстро. Каждый вновь прибывший подходит к конторке, шопотом спрашивает себе книгу и тихонько садится читать. Разговоры отсутствуют; ходят на цыпочках. Тишина и порядок образцовые. Вы видите только ряд детских головок, погруженных в чтение и слышите шорох переворачиваемых листов. Даже не верится, что большинство сидящих—дети. До какой степени серьезна и углублена в свое занятие аудитория читальни, можно видеть из следующего факта: в последнее мое посещение с одним из взрослых читателей сделалось дурно. Принесли воды, пришел сторож и больного вывели из залы. Произошел, конечно, небольшой переполох. К моему удивлению, на шум повернулось только несколько ближайших голов. Большинство не обратило никакого внимания и, очевидно, не слышало шума. Замечательно деликатное отношение друг к другу царит здесь, в среде этих рабочих, мастеровых, детей сапожников, кухарок, столяров и т. п. люда... Главный контингент посетителей в читальнях—рабочие, мастеровые, фабричные и их дети... Рабочие и дети, как мне говорили, приходят, например, с Охты в читальню у Семеновского полка.

«Очень часто им приходится отказывать за неимением мест. Те, которых не пустили, почти никогда не уходят, а терпеливо ждут. Бывает и так, что места не освобождаются до закрытия библиотеки. И приходится тогда беднякам уходить домой на окраину города, что называется, «не солоно хлебавши» («Н. В.», № 5258, маленький фельетон).

Учатся не только рабочие, учится даже прислуга. Петербургские горничные и кухарки охотно посещают воскресные школы и прилежно учат уроки из грамматики или арифметики. Не имея возможности приводить здесь много фактов, мы отсылаем читателя к интересной книге г. Пругавина «*Запросы народа и задачи интеллигенции*» и к замечательным статьям г. Рубакина «*К характеристике читателя и писателей из народа*» («Сев. Вестник», апрель и май 1891 г.). Статьи г. Рубакина интересны в особенности тем, что в них приводится множество отзывов самих «читателей из народа» относительно того, что собственно хотелось бы им знать и чего требуют они от народной книжки. И как многочисленны, как разнообразны те отрасли знания, которые стремится обнять пробудившаяся мысль современного русского рабочего! «Я желал бы знать,—пишет один рабочий,—как образовалась земля и появился человек? И какую жизнь вел? Затем жизнь историческую и развитие, как умственное, так и нравственное, и появление литературы и поэзии главных народов,—мне желательно знать хорошо и понятно». Словом, целая энциклопедия! Но ему и этого кажется мало: «Кроме того,—прибавляет он,—мне желательно знать многое другое»... Другой добродушно сообщает: «Я и не знаю, что для меня полезно знать: одно хорошо, а другое лучше». Существующая популярная литература не удовлетворяет читателей из народа. Рабочие очень не любят поучительных книг. «Все нашего брата учат!»—насмешливо говорит рабочий, возвращая учительнице поучительную книгу. «Ужо вот мы их в посту почитаем, а то больно уж поучительны»,—говорят фабричные, отказываясь от предложенных им поучительных книг. «Глубоко ошибаются,—пишет г. Рубакину мещанин Херсонской губ. Г. З.,—что народу особые книжки нужны. Что преследуют эти господа? Цель образования народа? Так вот что: с ихними взглядами они много не сделают, ибо они говорят, что народу только и нужно писать особым языком. Как же он будет образовываться, если он будет читать только особый язык?» Еще один читатель из народа пишет: «В литературе для общества попадаются часто скучные и даже глупые, ей Богу, глупые книги (их я могу назвать). Вот такую скучную книгу и дадут читать крестьянину или мещанину. Ну, что же? Книга ужасно скучная. Даже попадись вам скучная книга, неужели вы прочтете ее без всякой мины до конца? Так и нам.—Прочтешь четверть книги и бросишь, а между тем лица трубят: им непонятны фразы, они не могут читать книг, предназначенных для общества. Нет, народу нужны *не народные книги,* а *дешевые,* потому что он *бедняк,* а не *дурак*».

Да, русский рабочий бедняк, а не дурак, что бы о нем ни «трубили лица!» Этот *умный, мыслящий бедняк* поставлен в условия, которые безропотно выносить могла бы разве вьючная скотина. Не удивительно, поэтому, что он борется, что он протестует всеми возможными для него способами. Уже 1890 год ознаменовался многими стачками рабочих. Напомним о некоторых из них.

В начале июня того года газеты сообщали о стачке на Нытвинском заводе князя Голицына (в Пермской губ.). В стачке участвовало до 500 человек. В августе происходили беспорядки в Ярославле. Вот что рассказывалось о них в «Нижегородском Листке».

«1-го августа, вечером, на большой фабрике Корзинкина произошли беспорядки среди рабочих, произведенные частью восьмитысячной массы. По слухам, неудовольствие рабочих возбуждено слишком большими и частыми штрафами. Результат беспорядков оказался следующий: громаднейший лабаз с товарами на несколько десятков тысяч рублей буквально совсем разгромлен, при чем много товара рабочими побросано в реку Которость, стекла во множестве окон выбиты и кое-что попорчено внутри фабричных зданий. К утру 2-го августа было арестовано до 60 главных виновников беспорядков. Аресты продолжаются».

В феврале того же года в Минусинском округе на прииске Барташева произошли «беспорядки», хорошо рисующие положение приисковых рабочих.

«У Барташева провинился чем-то один рабочий. Не задумываясь долго, без суда и следствия, Барташев приказывает конюхам всыпать этому рабочему достаточное количество лоз, а потом выгнать из прииска. Вся эта резолюция была точно и немедленно выполнена. Прошло несколько дней, и между рабочими прошел слух, что наказанный и выгнанный с прииска товарищ замерз в степи. Подобный слух поднял команду на ноги; все бросили работать, осадили Барташева и служащих в их домах, завладели приском и отрядили в степь партии для розыска погибшего. К счастью Барташева оказалось, что прогнанный рабочий нашелся где-то в улусе» («Восточное Обозрение»).

Вскоре после этого «беспорядки», повидимому, еще более значительные, произошли на прииске Базилевского-Черемных. Вызваны они

были, по словам «Восточного Обозрения», неудовольствием рабочих на крутые расправы, обычные у распорядителя приисков. Названная газета полагает, что «следовало бы обратить внимание на урегулирование власти разных хозяев и управляющих на приисках». Трудно спорить против этого, но не менее трудно надеяться, что правительство действительно «обратит внимание». Это слишком противоречило бы его собственному пристрастию к «крутым расправам».

Начало 1891 года ознаменовалось, как известно, стачкой рабочих Нового Адмиралтейства в Петербурге. В апреле, услышав об опасной болезни Н. В. Шелгунова, петербургские рабочие поднесли ему сочувственный адрес, который мы приводим здесь дословно.

«Дорогой учитель Николай Васильевич!

«Читая ваши сочинения, научаешься любить и ценить людей, подобных вам. Вы первый признали жалкое положение рабочего класса в России. Вы всегда старались и стараетесь до сих пор об'яснить нам причины, которые отодвигают нас назад и держат нас в том угнетенном состоянии, в котором мы закованы, словно в железные цепи, нашими правителями и капиталистами.

«Вы познакомили нас с положением братьев-рабочих в других странах, где их тоже эксплоатируют и давят. Картина, которую вы нарисовали, пробудила интерес сначала не в рабочих, а в других классах, да не для рабочих вы и писали. Русские рабочие принуждены так много и так постоянно работать, чтобы только жить, что им некогда читать. Да большая часть и не умеет читать *), а если кто из них и умеет,—что он найдет в книгах, написанных для рабочих? Никто не учит нас, как выбиться из жалкого положения, в котором мы теперь находимся. Нам твердят о терпении, о молчании, о том, чтобы мы не давали воли выражению наших страданий, и за это обещают награду в будущем. Только благодаря людям, которые, по вашим собственным словам, имеют несчастие смотреть выше общего уровня или выше классовых интересов, научились мы понимать ваши сочинения и узнали, как наши товарищи-рабочие в Западной Европе добились прав, борясь за них и соединяясь вместе. Мы поняли, что нам, русским рабочим, подобно рабочим Западной Европы, нечего рассчитывать на какую-нибудь

*) Теперь это уже не так. Но такое преувеличение совершенно понятно в устах рабочих, пред'являющих серьезные требования себе и своим товарищам. Когда рабочий позволяет себе подобное преувеличение, он не «трубит», подобно «лицам».

внешнюю помощь, помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы.

«Те рабочие, которые поняли это, будут бороться без устали за лучшие условия жизни теми средствами, которые вы указали в ваших сочинениях. Вы выполнили вашу задачу,—вы показали нам, *как* вести борьбу.

«Может быть, ни вы, ни мы не доживем до того, чтобы увидеть будущее, к которому стремимся и о котором мечтаем. Может быть, не один из нас падет жертвою борьбы, но это не удержит нас от стараний достигнуть нашей цели».

Жертвы не замедлили, конечно, явиться. Несколько рабочих было арестовано и выслано по случаю демонстрации на похоронах Шелгунова, в которой рабочие вообще принимали очень деятельное участие.

Майская демонстрация западного пролетариата показала, что теперь и русские рабочие понимают значение революционного призыва: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В первое воскресенье после первого мая (н. с.) в Петербурге состоялось тайное собрание, на котором собрались представители рабочих кружков со всех концов столицы. Речи, произнесенные на этом собрании рабочими ораторами, составят эпоху в истории русского революционного движения. Мы издали их отдельной брошюрой и потому здесь ограничимся лишь двумя выписками из них: «Чтоб улучшить наше положение,—говорил один из ораторов,—мы должны стремиться к замене существующего экономического строя, дающего широкий простор для произвольной кулацкой эксплоатации, на более лучший и справедливый социалистический строй. Но для того, чтобы осуществить на деле такой экономический порядок, нам необходимо приобрести политические права, которых в настоящее время мы не имеем. Приобрести же политические права мы будем иметь возможность лишь только тогда, когда на нашей стороне будет такая организованная сила, которой правительство не решилось бы отказать в ее требованиях». Рабочие прекрасно понимают как важность этой великой цели, так и трудность ее достижения. Но трудности не пугают их. «Товарищи! Трудно будет нам на первых порах,—говорил другой оратор,—вступить в борьбу с нашими врагами за наши экономические и политические права, но вспомним, что еще теперь, в настоящую минуту, тысячи интеллигентов сидят за нас в Сибири, в тюрьмах, на каторге! Вспомним, что не легко досталось улучшить свое положение нашим братьям, западным рабочим, так стало быть и нам не легко будет улучшить свое под разгулом деспотической реакции, которая будет нас преследовать на каждом шагу. Товарищи! Трудно нам будет, но

наука освободила западных рабочих, она поможет и нам просветить умы наши и наполнить души наши святой истиной любви друг к другу. Будем, друзья, бороться за истину, не отступим шага назад до самой своей смертной агонии, за правду, за равенство, братство, свободу! Будемте учиться, об'единяться, сами и, товарищи, будемте организоваться в сильную партию! Будемте, братья, сеять это великое семя с восхода и до захода солнца, во всех уголках нашей русской земли».

И не в одном Петербурге протестуют рабочие. Вот что прочли мы в «Донской Речи» в июне прошлого года.

«*Демонстрация рабочих*».—Из Козлова сообщают в «С. От.», что рабочие всех мастерских Козлово-Рязанской дороги, более 600 человек, произвели демонстрацию, отказываясь платить 6%, вычитаемых в пользу пенсионной кассы, и требовали возвратить удержанное. Для успокоения взволновавшихся два раза являлся начальник жандармов, а в мастерских вывешено об'явление управляющего дорогою о том, что вычеты будут возвращены» («Д. Р.», № 67).

В конце лета и осенью начались голодные волнения как в деревнях, так и в городах—в Витебске, в Полоцке, в Динабурге, в Виндаве. В городах главными «элементами беспорядка» являлись, разумеется, частью рабочие местных промышленных заведений, частью братья их по положению: мелкие мещане и бедные ремесленники. Замечательно, что в Западном крае евреи энергично поддерживали христианских «бунтовщиков».

Разрозненные, голодные бунты сами по себе не опасны даже для слабого правительства. Но они очень опасны даже для «сильной власти» в том случае, когда голодный народ уже настолько развит, что способен задумываться о *политических* причинах своего бедственного положения. Тогда разрозненные бунты легко могут перейти в одно сплошное революционное движение.

Голод 1891 года застал трудящуюся Россию в самом беспомощном экономическом положении. Но, к счастью, для нее, в политическом отношении она *уже не беспомощна*. Русский рабочий *бедняк*, но он *не дурак*. И в этом обстоятельстве заключается надежнейший залог успеха для революционеров. Пусть только не закрывают они глаз на это обстоятельство, пусть не уподобляются тем «*лицам*», которые, с самодовольствием филистеров, «*трубят*» о глупости и неразвитости русского пролетария!

---

1 МАЯ 1890 ГОДА *).

«В Европе появился страшный призрак—призрак коммунизма. Все власти старой Европы заключили между собою священный союз для травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские».

Так говорил «Манифест Коммунистической Партии» накануне французской революции 1848 года. С тех пор прошло более сорока лет; внешние и внутренние отношения европейских государств успели существенно измениться во многом; история Германии, Франции, Италии, Австрии, Англии и даже России ознаменовалась важными событиями; много раз сменялись правители и правительственные системы,—а страшный призрак продолжает гулять по Европе, по-прежнему наводя ужас и на папу, и на царя, и на французских радикалов, и на немецких полицейских. И по-прежнему все власти старой Европы, все фракции и факции господствующих классов, соединяются между собою для борьбы с ним, забывая и национальную вражду, и взаимную ненависть партий.

Впрочем, призрак коммунизма пугает теперь не только европейских бар и мещан. С ним познакомился также и «Новый Свет», Северная Америка, страна долларов и быстрой наживы. Практичные янки забыли всякий стыд и все предания политической свободы, заметив появление страшилища. Юридическое убийство анархистов в Чикаго показало, что в борьбе за существование все средства так же хороши для американской буржуазии, как и для европейской. «Призрак» коммунизма стал повсеместным гостем, рабочий вопрос стал всемирным вопросом в полном смысле слова.

И по мере того, как зреет этот вопрос, по мере того, как близится его решение, он все более и более освобождается от фантастических примесей и привесок. Теперь уже никто не увлекается систе-

---

*) «Социал-Демократ», книга вторая, август 1890 г., стр. 43—60.

мами социалистов-утопистов, воображавших, что им удастся освободить пролетариат, ни мало не нарушая интересов высших классов. Теперь уже все социалисты видят, что экономические интересы пролетариата диаметрально противоположны интересам этих классов и что, поэтому, рабочий вопрос есть вопрос *классовой борьбы,* борьбы на жизнь и смерть между пролетариатом и буржуазией, между производителями продуктов и их присвоителями. Не менее ясно сознают это и г.г. присвоители. Они видят, к чему идет дело. И вот почему, после их столетней болтовни о «правах человека и гражданина», рабочий класс даже в самых свободных странах не может сделать серьезного шага в защиту своих интересов, не становясь об'ектом «исключительных мер» и не вызывая паники в рядах своих эксплоататоров. Поразительный пример такого рода паники мы видели весною нынешнего года.

Международный рабочий социалистический конгресс, состоявшийся в Париже в июле прошлого года, принял решение относительно агитации в пользу восьмичасового рабочего дня. Постановлено было пригласить рабочих всех стран высказаться путем одновременных и повсеместных манифестаций в пользу этого решения. Днем таких манифестаций было назначено первое мая 1890 года. На социалистическом конгрессе почти вовсе не было представителей буржуазной прессы, да и вообще она как будто мало интересовалась им. Казалось, что шум столетней годовщины Великой революции, блеск всемирной выставки и бесчисленное множество всяких других конгрессов, имевших тогда место в Париже, помешали имущим классам обратить внимание на международный с'езд представителей пролетариата. Некоторые из этих последних находили даже, что не следовало собираться социалистическому конгрессу во время выставки, так как во всякое другое время он произвел бы гораздо большее впечатление. Как бы там ни было,—рабочий конгресс окончился, делегаты раз'ехались по домам и можно было думать, что все вошло в старую колею, что во внутренних отношениях цивилизованных стран ровно ничего не изменилось. Но так только казалось. В действительности скромное решение социалистического конгресса глубоко и сильно повлияло на общественное мнение Запада. Пролетариат повсюду сочувствовал ему, а этого было достаточно, чтобы о нем задумались и высшие классы, следящие за рабочими с таким же вниманием, с каким хороший тюремщик следит за своими заключенными. Первоначально сделана была попытка гипнотизировать пролетариат бессодержательными фразами, в изобилии расточавшимися на берлинской конференции, созванной коронованным немецким Хлестаковым. Однако, конференция не привела ни к чему, а между тем ро-

ковое число приближалось, первое мая было уже не за горами. После неудачного гипнотического сеанса г.г. присвоителям оставалось лишь припомнить старое правило, столько раз испытанное в социальной медицине: чего не могут вылечить медикаменты, лечит железо, чего не лечит железо, лечит огонь. Имущие классы стали вооружаться. В Мадриде и в Берлине, в Париже, в Риме и в Вене, словом повсюду, заговорили о военных приготовлениях. Министры республиканской Франции соперничали в воинственности с прусскими юнкерами. Ни один род оружия не был оставлен в покое: пехота, конница и артиллерия одинаково должны были принять участие в защите «порядка». «Старая Европа» как будто готовилась к нашествию варваров. И без глубочайшего презрения нельзя было смотреть на этот перепуг «порядочных» людей, на эти воинственные приготовления эксплоататоров к международному празднику эксплоатируемых.

Больше всего трусила буржуазия Австрии. За исключением России, едва ли есть страна, в которой рабочий класс находился бы в таком бедственном и угнетенном положении, как в монархии Габсбургов. В некоторых отраслях производства рабочий день там простирается до 15—17 часов, между тем как рабочая плата показалась бы низкой даже далеко не избалованному русскому крестьянину. Рабочий класс не имеет там никаких политических прав, не имеет той свободы, которая в других, более передовых странах позволяет пролетариату организоваться для самообороны. Но, с другой стороны, в австрийских рабочих уже пробудилось классовое сознание. Социал-демократам этой страны удалось организовать, если и небольшую, то очень деятельную и энергичную партию. Австрийские социал-демократы смотрели на движение в пользу восьмичасового рабочего дня, как на лучшее и наиболее практичное средство агитации. Они с энтузиазмом взялись за дело, и их проповедь всколыхнула самые отсталые слои населения. Как глубоко проникла она, показывает пример Остpау (австрийская Силезия), где в апреле текущего года были, как известно, сильные волнения. Рабочие прилегающей к Остpау местности были до последнего времени терпеливыми жертвами «предпринимателей», к числу которых принадлежат Ротшильд, братья Гутманы, граф Вильчек, князь Сальм и другие «сильные мира сего». Средняя рабочая плата рудокопов не простирается выше 18 гульденов в месяц, при чем урезывается еще штрафами и обязательной покупкой харчей в хозяйских лавках. В довершение всего, тамошние рабочие находятся под сильным влиянием духовенства. Трудно было ожидать, чтобы эти экономически-подавленные, умственно-неразвитые люди отозвались на призыв международного ра-

бочего конгресса. Но и они не остались глухи к нему, только сочувствие свое они выразили очень наивным образом. Рудокопы графа Вильчека еще в половине апреля собрали 80 гульденов и предложили их священнику, прося его отслужить первого мая под открытым небом обедню, чтобы они могли помолиться Богу за успех движения в пользу восьмичасового дня. Разумеется, благонамеренный священник принял эту просьбу за простое кощунство. В своей бескорыстной преданности интересам христианско-еврейского капитала, он не только отклонил выгодное для него предложение, но и указал на членов являвшейся к нему рабочей депутации бургомистру и горному директору, а те, в свою очередь, не нашли ничего лучшего, как арестовать «агитаторов», бесстыдство которых простиралось до того, что они самого бога хотели сделать пособником социал-демократических козней.

В течение всего апреля в самых захолустных углах Австрии происходили рабочие собрания, высказавшиеся в пользу восьмичасового дня. Становилось очевидным, что 1-ое мая будет общим праздником австрийского пролетариата. По пословице «у страха глаза велики», буржуазии казалось, что этот день будет днем страшного суда. «Со времени революции 48-го года здесь не было подобного движения,—писал венский корреспондент архибуржуазной женевской «Tribune». Некоторые говорят даже, что современное рабочее движение шире и глубже движения 1848 года. Я не знаю, находимся ли мы накануне революции. Но несомненно, что, если правительство не хочет быть свергнуто, оно должно примириться с мыслью о радикальной эволюции. Волнение среди рабочих приняло характер и размеры, совершенно неслыханные до сих пор в Австрии. Революционные брошюры наводнили рабочие центры... Несмотря на самоуверенность, выказываемую здешними властями, приходится признать, что положение дел очень серьезно, и что из него не выведут ни штыки, собираемые вокруг Вены, ни те три поезда, которые приготовлены на вокзале в Пресбурге, чтобы при первой же тревоге двинуть гарнизон этого города на столицу... Современное движение глубоко всколыхнуло народные массы».

Блестящее аристократическое общество Вены издавна привыкло собираться 1-го мая на веселое гулянье в Пратере. Но в нынешнем году ему было не до веселья, и уже во всяком случае не Пратер мог послужить местом модных увеселений: там должна была произойти манифестация в пользу восьмичасового дня. «Я встречаю знакомую светскую даму,—пишет уже цитированный нами корреспондент,—и спрашиваю ее, будем ли мы иметь удовольствие видеть ее на майском гулянье. Едва ли,—отвечает она,—не подумайте, что я боюсь, но мой муж

не хочет, чтобы я принимала участие в прогулке. Вечером встречаю в клубе мужа этой дамы.—Будете в Пратере?—Видите ли, собственно я совсем не трушу, но жена ни за что в мире не хочет позволить мне выйти из дому 1-го мая, и кажется, что в интересах семейного мира я должен буду уступить».

Таким образом, в интересах «семейного» и всякого другого мира, эти храбрецы прятались по домам, между тем как королевско-императорские войска готовились кровью пролетариата смыть с себя позор Сольферино и Садовой. Но удастся ли им это «дело чести»? Хорошо, если—удастся! А если—нет? Если пролетариат возьмет верх? Предусмотрительные буржуа принимали свои меры «на всякий случай». По известиям многих газет, депозитные банки были буквально осаждены вкладчиками, основательно рассудившими, что осторожность не мешает никогда, и что если, паче чаяния, придется покидать любезное отечество, то лучше покинуть его с полным кошельком, чем с пустым карманом.

В своем страхе австрийская буржуазия доходила до невероятного цинизма. Венская «Abendpost» за несколько дней до 1-го мая поместила на своих страницах следующую, так сказать, много обещающую заметку:

«По телеграфическим известиям о беспорядках, происходивших в Билиц-Бяле 23-го числа этого месяца (т.-е. апреля), выходит, будто войска стреляли в рабочих сначала холостыми зарядами, и только потом, когда это не произвело надлежащего действия, стали стрелять пулями. Из достоверных источников мы знаем, что холостыми зарядами там вовсе не стреляли, так как уже после первого залпа многие бунтовщики были убиты, а некоторые ранены. Поэтому несомненно, что в других подобных случаях оружие будет употреблено в дело без всякого промедления. Кроме того, его превосходительство президент совета министров и заведующий министерством внутренних дел граф Таафе, ввиду происшествий в Бяле, счел нужным напомнить всем местным начальникам о тех законодательных постановлениях, в силу которых может быть употреблено против бунтовщиков оружие».

Понятна цель этой заметки. Напечатавшей ее газете хотелось успокоить своих читателей и при тогдашних обстоятельствах ей казалось, что нет более успокоительного известия, как известие о том, что войска не медлят стрелять в бунтовщиков *пулями*. Вероятно, она была по своему права, но это не помешало венской «Arbeiter Zeitung» сказать, что, не произведя никакого впечатления на рабочих, заметка эта еще более, и притом без всякой надобности, перепугала буржуазию.

Что австрийское правительство решило защищать «порядок» до последней крайности,—в этом не может быть никакого сомнения. Но в то же время оно понимало, что даже от стрельбы пулями дело порядка выиграет очень немного. Отсюда—двойственность, заметная во всем его поведении. Оно считает нужным напомнить рабочим, что они не имеют права самовольно покидать мастерские в будни, и что всякий рабочий, празднующий 1-ое мая, подвергнется преследованию за нарушение контракта с хозяином; а с другой стороны оно же советовало предпринимателям разрешить рабочим отпраздновать 1-ое мая, чтобы таким образом избежать неприятных столкновений. Большинство крупных заводчиков и фабрикантов последовало разумному совету, но едва ли вывело этим правительство из его затруднительного положения: чем большее число рабочих пользовалось бы свободою в день 1-го мая, тем многолюднее должны были быть рабочие собрания, тем труднее было бы удержать собравшихся на почве щепетильной австрийской «законности». Так рассуждало и сообразно тому действовало австрийское правительство. Первого мая войска заняли главные улицы и площади столицы. Большая часть магазинов и банки были заперты. Словом, власти были на высоте призвания. Оставалось ждать врага.

Подобный же переполох был и в других странах Западной Европы. Ходили слухи, что в правительственных кругах Берлина поднимался вопрос о мобилизации армии и о созыве резервистов. Дружески расположенный к рабочим Вильгельм не хотел, повидимому, отказать им в военных почестях в день их международного праздника. Вместе с тем, по всей Германии власти старались расстроить этот праздник. Баварское правительство строго запретило всем рабочим казенных заводов и фабрик участвовать в нем, и приняло энергичные меры к охранению «спокойствия». Войска готовы были по первому знаку кинуться на рабочих. В Саксонии развешанные на всех железнодорожных станциях об'явления напоминали рабочим 110-ую статью уголовного свода, карающую возбуждение к неповиновению властям. Железнодорожным рабочим запретили праздновать 1-ое мая под страхом потери места. Владельцы машиностроительных заводов Лейпцига совещались между собою о том, как следует наказать майских манифестантов. По этому поводу между ними составлялись настоящие коалиции. То же было в Дрездене, в Герлице, в Гера-Грейце и других саксонских городах и местностях. Но по известиям венской «Arbeiter Zeitung» особенно старался помешать майскому празднику сенат Гамбурга. Впрочем, совершенно напрасно. Читатель знает, вероятно, из газет, что праздник этот удался там лучше, чем где бы то ни было.

В Италии рабочим казенных заводов также грозили потерей места за празднование первого мая. В Римини, в Турине, в Павии, в Брешии, в Падуе, в Генуе, в Ливорно, в Неаполе, во Флоренции, в Пизе, в Палермо власти усердно заботились об охранении спокойствия и довели рабочих до крайней степени раздражения. Даже многие буржуазные газеты признавали, что беспорядки, сопровождавшие майский праздник в Италии, вызваны были невыносимыми придирками полиции.

В Испании министерство внутренних дел обещало не препятствовать мирным рабочим манифестациям, но на случай волнений всюду приняты были решительные меры. В Мадриде, в Барцелоне и в некоторых других городах за несколько дней до первого мая были произведены аресты между социалистами, при чем несколько человек взяли тотчас же по выходе их с рабочих собраний, где они обратили на себя внимание горячими речами в защиту восьмичасового дня. Первого мая войска оцепили банки и заняли важнейшие стратегические пункты промышленных городов. В тот же день телеграф принес замечательное известие: республиканцы выехали из Барцелоны, не желая, чтобы, в случае беспорядков, их заподозрили в подстрекательстве. Республиканская «интеллигенция» Барцелоны, очевидно, принадлежит к «порядочному» обществу и не имеет ничего общего с пролетариатом и его нуждами. Будем надеяться, что испанский пролетариат не забудет ее «порядочности».

Во Франции вороватый Констан не упустил случая выступить в роли защитника собственности и других основ. Эта роль, не совсем подходящая для него ввиду всем известных недостатков его личного характера, была, однако, очень полезна ему, как политическому человеку. Спасая «общество», он упрочивал свое министерство. Благодарность и рукоплескания буржуазии становились тем горячее, чем более суетилось правительство. Осыпаемый похвалами всей буржуазной прессы, министр-«колбасник» (читатель знает, что Констан берет взятки колбасой, как известный гоголевский герой брал их борзыми щенками), министр-saucissonnier запретил уличные манифестации, поставил войско под ружье на всей территории республики, стянул к Парижу гарнизоны соседних городов и, для большей безопасности, приказал сенскому префекту занять здание парижской думы (Hôtel de Ville). Против этого возражали с точки зрения муниципальной «свободы»; но до свободы ли буржуазии, когда дело идет об усмирении пролетариата? С точки зрения свободы некрасивы были и те обыски и аресты, которые во множестве производились, в виде «предварительной меры», во Франции. И тем не менее, какой же серьезный и благо-

намеренный человек стал бы обращать внимание на подобные мелочи? Кому не известно, что «права человека и гражданина» существуют только до тех пор, пока рабочему классу не придет в голову серьезно воспользоваться ими?

Вот как описывал «Gaulois», меры, которые, по распоряжению правительства, приняты были для охранения спокойствия в Париже: «Самомалейшие скопища будут тотчас же разгоняться. Все городовые, все агенты сыскной полиции и полиции нравов будут употреблены в дело, точно так же, как конница и пехота парижской гвардии. Войска будут собраны в казармах. Придут подкрепления из Венсена, Версаля и других соседних городов. Войско будет готово выступить по первому сигналу, чтобы разгонять манифестантов и атаковать их, если окажется нужным... Арестованных будут немедленно отправлять в депо полицейской префектуры. Для этой цели в полицейском участке каждого квартала будут приготовлены тюремные кареты».

Относительно Бельгии мы находим в «Figaro» очень интересную заметку. По словам корреспондента этой газеты, бельгийский военный министр разослал ко всем начальникам отдельных частей циркуляр следующего содержания: «Хотя, повидимому, нет основания опасаться беспорядков в день первого мая,—я, по распоряжению совета министров, прошу вас не позволять людям выходить в этот день из казармы. Таким путем мы сохраним войска под руками, а на улицах не видно будет в этот день военных». «Figaro» так комментирует этот циркуляр: «Известно было, что беспорядков не будет, и тем не менее не позволяли выходить из казарм солдатам, чтобы они не смешивались с манифестантами. В этом сквозит опасение, которое не имело бы никакого основания, если бы солдаты не набирались в Бельгии исключительно между рабочим населением» («Figaro», 7 мая 1890 г.). С своей стороны, мы можем только похвалить благоразумие бельгийского правительства. Как нейтральная страна, Бельгия нуждается в солдатах исключительно только для усмирения рабочих; прочен ли будет «порядок», если пролетарии, одетые в военные мундиры, будут манифестировать вместе с пролетариями в блузах?

Английская буржуазия неохотно прибегает к исключительным мерам. В Лондоне не грозили разгонять «самомалейшие скопища» манифестантов. Но и там, ввиду манифестации приняты были меры, доказавшие, по словам «Figaro», что «столица соединенного королевства имеет энергичного начальника полиции».

II.

Канун майской манифестации был глубоко поучителен. В Европе были только две партии, две нации: буржуазия и пролетариат. В среде буржуазии царствовало, как мы уже знаем, смятение; вся ее надежда приурочивалась к военной силе. Работники сохраняли спокойную уверенность, твердую решимость громко заявить свое справедливое требование. Все, что можно было сделать для успеха манифестации—было уже сделано; вожакам пролетариата оставалось только еще раз в немногих словах, напомнить ему значение наступающего дня. И на всем континенте Западной Европы, всюду, где есть хоть некоторые зачатки рабочих организаций, как в одном бесконечном военном лагере, повторялся один и тот же пароль, раздавались одни и те же распоряжения. Весь рабочий класс стоял под знаменем восьмичасового дня, согретый одним чувством, одушевленный одной великой идеей. Это зрелище было ново даже для видавшего виды Запада.

Чтобы читатель сам мог судить о настроении обеих сторон, приводим две характерные выписки.

«Солдаты стоять наготове; двери домов заперты; в квартирах заготовлены припасы, как будто в виду осады; дела остановились; женщины и дети не отваживаются выйти на улицу; все подавлены тяжелой заботой».—Так говорит буржуазная венская «Neue Freie Presse» в передовой статье, помеченной 30 апреля.

Обратимся к венской же «Arbeiter Zeitung». «Что скажем мы теперь, когда только несколько часов отделяют нас от великого, многозначительного дня? Все взвешено и обсуждено, ничто не забыто. Мы уверены, что первое мая пройдет величественно и повсюду оставит сильнейшее впечатление... Нет надобности говорить еще что-нибудь о значении этого дня... Старый и малый, друзья и враги, все, все хорошо понимают его теперь... Речь идет о жизненном интересе миллионов людей, и эти миллионы заявят, что они хотят защитить свои интересы... Потому, приходите, все бедные и нуждающиеся, все подавленные и угнетенные!.. Завтрашний день—день надежды и уверенности в победе, один из тех дней, которые имеют решительное влияние на ход истории. Отпразднуйте его серьезно и радостно. Вы все знаете, как нужно вести себя!.. Покажите вашу железную дисциплину, докажите, что у вас есть классовое сознание! Враг рабочих—всякий, кто подаст повод к беспорядкам! Да здравствует первое мая! Да здравствует законный 8-часовой день!»

Достаточно сопоставить эти выписки, чтобы видеть, до какой сте-

пени пролетариат перерос буржуазию, до какой степени эксплоатируемые серьезнее, разумнее, нравственно выше своих эксплоататоров.

Но вот наступило и прошло первое мая, прошло торжественно и спокойно всюду, где защитники «порядка» имели благоразумие воздержаться от слишком больших беспорядков. У буржуазии точно гора с плеч свалилась. Непосредственная опасность прошла. Буржуазная печать даже стала подсмеиваться над своим собственным страхом. А некоторые органы ее с торжеством закричали о полнейшей «неудаче» майской манифестации. В особенности в английских газетах заметен был прилив веселости, насмешливости и остроумия (мы увидим сейчас, откуда явилось у них такое настроение духа). «Майский праздник прошел, а Европа продолжает стоять на месте. Гора не родила ничего, кроме мыши»,—острит «Daily News» в № от 2-го мая. «Майская демонстрация, которая должна была дать нам поразительное зрелище рабочих Европы, собравшихся одновременно во всех городах и столицах материка, чтобы потребовать 8-часового дня — говорит «Standard» — даже друзьями движения должна быть признана очевидно неудавшейся. Никогда, никакое обещание не противоречило так сильно исполнению, как противоречит событие 1-го мая тем предсказаниям, которые раздавались относительно всемирного движения рабочих. Мы должны с сожалением признать, что Труд не в состоянии организоваться лучше, чем в данном случае». Почему же думает так почтенная газета? И почему ей кажется, что майская демонстрация потерпела неудачу? Читайте: «Наши утренние телеграммы содержат подробные отчеты обо всем случившемся в главных городах Европы; и если не принимать во внимание немногих и очень незначительных беспорядков, то можно сказать, что в общем первое мая прошло спокойно и с гораздо меньшими неудобствами для общественной жизни, чем можно было ожидать заранее». Вот оно что! Дисциплина и самообладание рабочих означают их поражение! Какой глубокий политический смысл! Какое серьезное понимание рабочего движения!

Басня о повсеместных восстаниях, имеющих будто бы произойти первого мая, была сочинена самой буржуазией. Ее повторяли только буржуа, да их аристократические соумышленники и союзники, современные дворяне в мещанстве. Своим происхождением она обязана была исключительно только буржуазному перепугу. И именно этот, поистине баснословный, перепуг буржуазии свидетельствовал об ее невероятной ограниченности, о ее беспримерном умственном падении. Она воображала, что социал-демократы собирались на международный конгресс в Париже главным образом для того, чтобы заказать пролетариату всемирную социальную революцию к заранее, и притом совершенно точно, обозначенному сроку. Но вожаки пролетариата умнее вожаков буржуазии. Они знают, что революции по заказу не делаются (чего до сих пор не знает буржуазия, пережившая, однако, не мало революций), и если бы кому-нибудь из них пришло в голову предложить своим товарищам проект подобного заказа, то на него, наверное, посмотрели бы как на человека несколько поврежденного. Кроме того, социал-демократы умеют взвешивать шансы победы, и никогда не позволили бы себе толкать пролетариат на баррикады в такое время, когда господствующий класс имел полную возможность вооружиться с ног до головы. При подобных обстоятельствах всякая попытка открытого восстания была бы безумием, если не изменой. Вот почему социал-демократы повсюду старались предупредить столкновения рабочих с войсками и полицией. Рабочие газеты всех стран не переставали твердить, что первое мая должно быть *мирным праздником* пролетариата, который, в интересах своего собственного дела, обязан остаться твердым и спокойным, несмотря ни на какие вызовы со стороны врагов. Социал-демократы не настаивали даже на том, чтобы в день первого мая рабочие повсюду отказались работать. Социал-демократические депутаты немецкого рейхстага в своем воззвании «*К работникам и работницам Германии*» справедливо заметили, что, при всей доброй воле, рабочим так же невозможно повсеместно отказаться от работы в этот (будничный) день, как организовать всеобщую стачку. Задача движения первого мая сводилась ко всеобщей внушительной манифестации в пользу восьмичасового дня. Но рабочий класс мог манифестировать посредством вечерних собраний и петиций, отнимая таким образом у предержащих властей всякий повод к вооруженному вмешательству в это дело. В воззвании немецких социал-демократических депутатов даже в особенности рекомендуется путь петиций. «Какой бы вид ни приняла манифестация в той или другой местности, мы советуем—говорится там—повсюду организовать собрание возможно большего числа подписей для петиции, которая потребует от рейхстага осуществления решений парижского конгресса». Путь петиции выбрали также и французские социал-демократы. Путь этот остался бы необходимым даже в том случае, если бы празднование первого мая преимущественно приняло характер уличных манифестаций. Требование 8-ми-часового дня может осуществиться только законодательным путем. Поэтому пролетариат вынужден стучаться в двери законодательных собраний. Можно сказать, пожалуй, что петиции имели бы больше шансов успеха, если бы их принесли в парламенты многотысячные толпы рабочих. Но это не так. Тогда невозможно было бы

избежать кровавых столкновений, а подобные столкновения не только ослабили бы силы уже существующих рабочих организаций, но к тому же запугали бы и отдалили бы от социал-демократов те слои пролетариата, которые до сих пор еще не были затронуты движением и в привлечении которых заключалась одна из важнейших сторон всего дела.

Смешны люди, воображавшие, что *революционный день* первого мая мог быть *днем революции*. Для сознательного пролетариата 8-мичасовой день не цель, а средство. Его завоевание не будет революцией, но оно приблизит ее. Социальная демократия сумеет хорошо воспользоваться тем досугом, который получит пролетариат при 8-мичасовом дне. Социалистическая пропаганда примет новые, небывалые размеры, и соответственно этому возрастут силы международной рабочей партии. 8-мичасовой день будет большой, хотя далеко еще не окончательной победой экономии труда над экономией капитала. Но именно для того, чтобы рабочий класс мог одержать эту победу, Первое мая *должно было пройти мирно*. И оно прошло мирно почти повсюду. «Standard» видит в этом доказательство неспособности рабочих к единодушному действию. В действительности же мирный исход Первого мая доказывает как раз обратное.

Социальная демократия довела уже пролетариат до той степени классового сознания, на которой он теряет склонность к *беспорядкам* и начинает стремиться к *революции,* которой могут только помешать бесцельные и беспорядочные вспышки. Но стремление к революции доказывает *не умеренность,* а именно возросшую *требовательность* рабочего класса. Напрасно, поэтому, буржуазные газеты говорили после Первого мая об его умеренности. Они должны были припомнить французскую пословицу: «ce qui est ajourné n'est pas perdu». Если рабочий класс остался спокойным в день своего праздника, то это вовсе еще не доказывает, что отныне настала эра мирного развития и крошечных реформ. Это доказывает только, что приближается эра *коренного переворота*. Прежде, когда даже передовые слои пролетариата не имели ни организации, ни ясно сознанной цели впереди, их ненависть к существующему обществу не могла выражаться ни в чем, кроме «*беспорядков*». Теперь, когда пролетариат сорганизовался и сознал свою задачу, он всеми силами избегает «*беспорядков*» для того, чтобы сохранить свои силы для *переворота*. Прежде рабочие «бунты» были часты и неизбежны, теперь они станут вероятно все реже и реже, потому что склонность «к бунтам» уступает место *революционному сознанию* пролетариата. Это очень хорошо само по себе, но хорошо ли это для буржуазии? И не обнаруживает ли она свою политическую ограниченность,

когда, наблюдая совершающееся перед нею превращение пролетариев-«бунтовщиков» в пролетариев-*революционеров,* она поздравляет себя с неожиданным успехом и превозносит умеренность «настоящих рабочих»?

Мы думаем, что телеграф своевременно сообщил нашим читателям, как прошел на самом деле всемирный рабочий праздник. Те же самые буржуазные газеты, которые с торжеством заносили в свою летопись мнимое майское поражение рабочих, печатали на своих столбцах телеграммы, доказывавшие поразительное единодушие пролетариата. (См., напр., хоть телеграммы «Daily News»). Бернский «Bund», которого никто, конечно, не заподозрит в симпатиях к социализму, признает, что первого мая миллионы и миллионы рабочих Старого и Нового Света единогласно заявили требование 8-мичасового дня и в его словах нет ни малейшего преувеличения. В майской манифестации, действительно, тем или иным способом приняли участие работники всех цивилизованных стран, до маленькой, земледельческой Норвегии включительно.

Впрочем, если буржуазные английские газеты говорили о неудаче майской манифестации, то для этого у них была совершенно достаточная причина. Они, естественно, находились, главным образом, под впечатлением английских событий, а в Англии в день первого мая пролетариат остался совершенно спокойным. «В Лондоне нас угостили смешной лилипутской манифестацией,—глумился «Standard» в своем номере от 2-го мая.—Около тысячи праздных людей позабавились шествием в Гайд-Парк. Смотреть на них как на подавленные жертвы капитала (down trodden victims of capital) было бы глупо до смешного!» Почтенная газета была вполне уверена, что английский пролетариат и на этот раз избежал континентальной заразы. Но, увы, прошло два дня, и уверенность ее оказалась неосновательной. В воскресенье, 4-го мая, в лондонском Гайд-Парке произошла колоссальная демонстрация в пользу восьмичасового дня. Трудно сказать, как велико было число манифестантов. Одни оценивают его в 200.000, другие даже в полмиллиона. Но довольно того, что, по словам лондонского корреспондента «Journal de Genève», в течение всего девятнадцатого века Англия, классическая страна колоссальных митингов, не видала ничего подобного. И эта манифестация, замечательная уже сама по себе, важна еще в том отношении, что в ней приняли деятельнейшее участие пролетарии Ист-Энда, эти в полном смысле слова «down trodden victims of capital» Еще несколько лет тому назад они не помышляли ни о каком движении. Но в начале прошлого года они начали шевелиться; между ними

образовался большой союз газовых и других рабочих (Gaz Workers and general Labourers Union), насчитывающий теперь около ста тысяч членов. После известной стачки на лондонских доках дело пошло еще лучше и быстрее. Теперь Ист-Энд имеет уже много союзов, совершенно свободных от духа консерватизма и исключительности, отличающего старые Trades-Unions. И все эти союзы с восторгом отозвались на призыв марксистов, к которым они вообще относятся очень сочувственно. Стройными рядами, со знаменами и с музыкой шли в Гайд-Парк эти новобранцы социализма, новобранцы, которым суждено придать совершенно новый вид всему английскому рабочему движению.

«Многочисленные, присутствовавшие на митинге буржуазные политики,—говорит Энгельс *),—унесли с собой домой, в качестве общего впечатления, уверенность в том, что английский пролетариат, в продолжении почти сорока лет составлявший хвост и послушное избирательное орудие великой либеральной партии, проснулся, наконец, к новой самостоятельной жизни и к новому самостоятельному действию... Четвертого мая 1890 года английский рабочий класс вступил в великую международную армию. И это событие составит целую эпоху... Прекратилась, наконец, долгая спячка английского пролетариата, наступившая с одной стороны, вследствие неудачи чартистского движения 1836—1850 г.г., а с другой—вследствие колоссального под'ема промышленности за время 1848—1880 г.г. Внуки старых чартистов вступают теперь в ряды борцов... и раньше, чем думают многие, армия английских пролетариев будет так же хорошо об'единена, так же хорошо организована, как любая другая рабочая партия, и ее появление будет с восторгом приветствовано пролетариями материка и Америки».

Но что говорить об Англии! Каковы бы ни были причины, задержавшие там на некоторое время ход рабочего движения, за его будущность ручались и промышленное развитие этой страны и ее политическая свобода. Агитация в пользу восьмичасового дня ознаменовалась еще одним, правда, гораздо менее значительным и громким, но во всяком случае очень отрадным и многообещающим успехом. Майский рабочий праздник праздновался *даже в Варшаве* **). Варварский гнет нашего правительства не помешал рабочим русской части в Польше заявить свою солидарность с рабочим классом Запада. Отныне польские пролетарии становятся признанными членами всемирной рабочей семьи, а польские социалисты могут гордиться результатами своей деятельности. Им по справедливости могут завидовать их русские товарищи. Странное, в самом деле, явление: во всем мире нет «интеллигенции», которая столько кричала бы о своих социалистических наклонностях, и в то же время едва ли где-нибудь есть интеллигенция, до такой степени «беззаботная» насчет рабочего движения, как именно наша русская «интеллигенция»! Зная русских рабочих, мы не сомневаемся в том, что между ними было много людей, с сочувствием следивших (поскольку давали для этого возможность русские газеты) за агитацией в пользу восьмичасового рабочего дня. Майский праздник, конечно, нашел себе сочувственный отклик в сердцах многих русских пролетариев. Но что сделала интеллигенция для того, чтобы облегчить им выражение их солидарности, с их западно-европейскими братьями? Мы, «интеллигенты», разумеется, не могли себе отказать в удовольствии ознакомиться с ходом и исходом парижского социалистического конгресса. Некоторые из нас сочувствовали его решениям, другие,—и, вероятно, большинство—по закоренелой бакунистской привычке, находили их недо-

*) См. статью его: «Der 4 Mai in London». «Arbeiter-Zeitung», № 21.

**) Об этом редакция «Социал-Демократа» получила следующее известие: «Уже за несколько недель до первого мая по фабрикам и мастерским рабочие начали поговаривать о необходимости присоединения к международному празднеству.

По мере приближения первого мая, возрастало оживление в среде рабочих. Они с интересом следили за всеми газетными известиями об агитации в пользу восьмичасового дня на западе.

Революционное общество «Пролетариат» напечатало и распространило в нескольких тысячах экземплярах прокламацию, в которой приглашало рабочих достойно отпраздновать день Первого мая.

По фабрикам начались совещания, толки, сговор. Рабочие сочувственно говорили о «четверге» (o czwartku).

Наступило первое мая.

В железнодорожных механических мастерских не работали 5-ое и 7-ое отделения.

Фабрики: Handke (от 200 до 300 человек), Repphan (300 рабочих), Orthwein (200 рабочих), Gostynski (число рабочих неизвестно) и др. стояли.

На фабриках: Norblin, Fraget, Putzer, Lilpop и других не работала часть работников. Кроме того, на некоторых фабриках перестали работать после обеда. Кроме фабричных не работало много ремесленников. Энергичнее всего показали себя рабочие из «Mechanicznych warsztatow». Видя, что их остальные товарищи продолжают работать, они собрались перед зданием фабрики и потребовали, чтобы те немедленно бросили работу; в окна фабрики полетели даже камни. Явилась полиция, были произведены аресты.

Что касается интеллигенции, то она горячо помогала рабочим, доказательством чему служат аресты из ее среды.

Общее число арестов простирается до 20-ти. В том числе арестовано *10* человек *рабочих*. Против своего обыкновения полиция вела себя довольно сдержанно. Патрулей не было никаких. Зато шпионы явились в изобилии».

статочно «революционными». Но ни те, ни другие не позаботились о том, чтобы ознакомить русский рабочий класс с содержанием этих решений. О, нет, для этого мы слишком революционны! И таким образом, благодаря «революционности» русской интеллигенции, Россия, по обыкновению, оказалась *самой отсталой* страной в революционном отношении. Перед нашими глазами совершалось движение, подобного которому не знает история. Но мы были слишком «интеллигентны», чтобы принять в нем какое-нибудь участие. Не станем распространяться о том, что подобное поведение русской «интеллигенции» заживо хоронит ее, как *деятельную* и *прогрессивную* политическую силу. По отношению к большинству «интеллигентов» наш голос остался бы голосом вопиющего в пустыне. Но теперь между русскими встречаются уже люди, в той или другой мере, сочувствующие рабочему движению и понимающие его значение; теперь между ними есть уже *социал-демократы*. К этим-то людям мы и хотим обратиться теперь с нашим товарищеским советом. На всемирном празднике Первого мая 1890 года Россия блистала, как говорится, своим отсутствием. Мы, русские социал-демократы, всеми силами должны стараться смыть с себя этот стыд. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы в будущей майской манифестации так или иначе приняли участие и русские рабочие. Каким именно образом можем мы взяться за исполнение своей *обязанности*,— об этом, разумеется, неудобно рассуждать печатно. Но что, при доброй воле, она легко исполнима,—это не подлежит ни малейшему сомнению. И пусть не обманываются наши русские товарищи насчет значения того дела, которое мы им предлагаем. Участие наших рабочих во всемирной агитации в пользу восьмичасового дня непосредственно не приведет, конечно, к «революции». Зато оно придаст новые колоссальные силы нашему революционному движению. Оно будет больше, чем всякое другое действие, способствовать развитию классового сознания в русском пролетариате. А когда разовьется это сознание, когда русские рабочие возвысят голос в защиту своих интересов, когда они хоть отчасти проникнутся теми стремлениями, которые одушевляют теперь их западных братьев, тогда недолго просуществует и русское самодержавие. Метла рабочего движения навсегда сметет его с лица русской земли...

Но возвратимся к западным делам. Буржуазия бодрее смотрела бы в будущее, если бы могла с уверенностью сказать себе, что майская манифестация была чем-то вроде бунтовской попытки в анархическом вкусе. Так как Первое мая к «бунту» не привело, то вся эта попытка только лишний раз доказала бы несостоятельность подобного способа действий. Но манифестация Первого мая была не революционной бравадой, а сознательным движением в духе социал-демократической программы. Требование пролетариата должно быть и будет исполнено. Буржуазия понимает это и начинает торговаться и хныкать. Некоторые из ее писателей говорят, что рабочие слишком много «запрашивают»: восьмичасовой день—это очень хорошая вещь; такая хорошая вещь, что ее можно назвать идеалом; но кто же не знает, что идеал недостижим? Нужно довольствоваться некоторым приближением к нему. Десятичасовой день тоже очень хорошая вещь. И право, рабочим можно было бы помириться на нем с буржуазией. Но еще до майской манифестации рабочие газеты выяснили, что восьмичасовой день вовсе не может быть идеалом для пролетариата: его идеал заключается в полном устранении капиталистического способа производства, и этот рабочий идеал тем отличается ото всяких буржуазно-романтических идеалов, что он вполне *достижим*. Движение в пользу восьмичасового дня именно делает целью приблизить время осуществления этого идеала, странного уже тем одним, что он, повидимому, совсем не идеален (что идеального в достижимом идеале? Это не более, как грубый материализм, достойный лишь непросвещенной черни).

В парижском «Temps» Жюль Симон, тот самый Жюль Симон, который «Русским Ведомостям», самому «передовому» органу нашей печати, кажется истинным другом фабричного законодательства, горько оплакивает участь капитала, угнетаемого ненасытными рабочими. Посмотрите, в самом деле, в каком несчастном положении находится бедняжка-капитал: «Его вынуждают оставаться праздным один день в неделю (т. е. в воскресенье). Я одобряю это; но его потери очевидны... То же замечание, и в гораздо большей степени, применяется и к запрещению ночного труда; то же замечание относится и к ограничению рабочего дня детей, женщин и мужчин. Его заставляют принимать меры для оздоровления мастерских (это уже совсем не хорошо! А впрочем, нет, это пожалуй и хорошо, но, послушайте, к чему ведет это); скажу еще раз—это хорошо, но часто это взваливает на него новое бремя. Его заставляют отвечать даже за те несчастные случаи, в которых он не виноват (вот она, угнетенная невинность!). Теперь его хотят принудить страховать рабочих на случай несчастий, болезней и старости (а между тем, ему это совсем не нужно: старые, больные, искалеченные «руки» всегда можно заменить здоровыми и свежими). Он не хозяин у себя дома, за ним надзирают фабричные инспектора, а иногда рабочие делегаты (после этого очевидно, что речь должна итти теперь уже не об освобождении труда, а об освобождении капитала). Прежде он мог составлять устав для своей фабрики. По какому праву? — спрашивает

автор одного лежащего передо мною, проекта. Разве он имеет законодательную власть? (сейчас видно, что автор проекта совершенно неблаговоспитанный человек: порядочные люди не задают таких щекотливых вопросов)... прежде он мог, по крайней мере, удалять рабочих, ленивых или неспособных, или таких, которые проповедывали беспорядок в его мастерской; он и теперь, пожалуй, может сделать это, но только в том случае, если прогнанный рабочий не принадлежит к синдикальной камере, потому что, если рабочий принадлежит к ней, то он может все позволить себе: за его удаление патрона приговорят к трехмесячному тюремному заключению (Извольте «работать» при таком положении дел! Правда, такое положение дел выдумано красноречивым автором единственно для красоты слова, но все-таки синдикальные камеры порядочно-таки отравляют жизнь капитала. Удивительно, как он еще соглашается влачить свое жалкое существование! Но его терпение уже, очевидно, истощается). У поставленного в такое трудное положение работодателя является стремление удалиться от дел, если захотят позволить ему это, и он, несомненно, удалится, тогда ко всему прочему прибавится повышение заработной платы». А когда «удалится» работодатель, то рабочий останется без хлеба, «ибо невозможно работать без капитала». Почтенному сотруднику почтенной газеты кажется, что рабочий класс ест теперь капитал «как артишок, листик за листиком». Желая спасти от жадности рабочих хоть частицу этого вкусного, сочного и питательного плода, Жюль Симон взывает к примирению классов. «Рабочий, ведущий войну с капиталом, и предприниматель, не желающий по справедливости поделиться прибылью с работником, одинаково подготовляют катастрофы. Рабочие, хотите жить, работая? Предприниматели, хотите спасти капитал! Делите прибыль» («Temps», 20 июня 1890 года).

Но о разделении прибыли и о недостижимо идеальных свойствах восьмичасового дня говорят все-таки более уступчивые буржуазные писатели, понимающие, что не следует капиталу «дорожиться» в настоящее время, когда ему приходится характеризовать свое положение грустными словами поэта:

... Ты, радость, умчалась;
Одна о минувшем тоска мне осталась.

Кроме этих уступчивых буржуа, есть еще и неуступчивые. Те стараются уверить пролетариат, что всякие попытки сократить рабочий день равносильны посягательству на национальное благосостояние. Известно, что под «богатством народов» буржуа всегда понимал свое собственное богатство. С этой точки зрения ограничение рабочего

дня, как и всякое уменьшение степени эксплоатации работника, является государственным преступлением. Но пролетариат смотрит на дело иначе. Для него перестали быть убедительными учения буржуазных экономистов. Не собьют его с толку ни уступчивые, ни неуступчивые адвокаты буржуазии. Тут повторяется известная история борьбы голодных крыс с сытыми:

Крысу не поймаешь в тонкий силлогизм,
Крыса перескочит всяческий софизм.

Знают это «сытые крысы» и скорбят духом, и пищат о красном призраке коммунизма. И нельзя им не пищать о нем. Коммунизм странствует теперь повсюду, увлекая за собой рабочие массы. И не осилят его ни папа, ни царь, ни французские радикалы, ни немецкие полицейские.

«Святой, память которого празднуется в день Первого мая, называется—Карл Маркс,—писала «Neue Freie Presse».—«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»—этот клич впервые кликнул Маркс, и Первое мая является его отголоском. Кого может обмануть агитация в пользу восьмичасового дня! (Никто и не обманывал вас, господа. Никто не говорил, что восьмичасовой день может быть целью рабочего движения. Почитайте рабочие газеты, вы увидите, как изображали они это дело). Речь идет о том, чтобы доказать солидарность всех рабочих, занести агитацию в самые отдаленные деревни, усилить в каждом пролетарии ненависть против источника его доходов и внести горечь в его отношения к предпринимателю (тут опять маленькая буржуазная ошибочка; люди, агитировавшие в пользу восьмичасового рабочего дня, старались усилить в пролетариях ненависть не против «источника их дохода», а против *источника их эксплоатации,* которая, как известно, и вносит «горечь», и даже очень много горечи, в отношения работника к предпринимателю). Первое мая есть первый натиск той социалистической партии, которая стремится разрушить основу современного общества, уничтожить частный капитал, порвать с системою наемного труда и угнетать нации с помощью физической силы рабочих» (Бедные работники! Увлеченные социалистическими демагогами, они не ограничатся уничтожением «частного капитала», а обратят свою физическую силу против самих себя: так, очевидно, нужно понимать буржуазную газету, потому что с уничтожением классов все члены «нации» будут рабочими).

Человек, написавший цитируемые строки, все-таки неглупый человек. При всех своих буржуазных предрассудках, он понял смысл майского движения лучше, чем понимали его г.г. анархисты. Первое мая

1890 г. в самом деле представляет собой величайшее торжество марксизма, т.-е. социальную демократию. Горячими и сознательными исполнителями решений, принятых на конгрессе марксистов, явились даже такие рабочие, которые не имели ни малейшего понятия о социализме. Став таким образом, общепризнанной выразительницей нужд и стремлений рабочего класса, социальная демократия сразу удесятерила свое могущество.

Отныне весь пролетариат, во всем своем составе, не перестанет прислушиваться к ее голосу.

Известный Якоби, в своей речи «*О цели рабочего движения*», сказал, что в настоящее время основание одного рабочего союза, по своим историческим последствиям, важнее, чем битва при Садовой. Что же сказал бы он о всемирном движении пролетариата в пользу восьмичасового дня? Он назвал бы его величайшим явлением в культурной истории новейшей Европы. Ни один монарх, ни один парламент не может померяться теперь влиянием с социальной демократией. Одного знака ее достаточно, чтобы привести в движение рабочий класс всего цивилизованного мира. Ее силы громадны, и лишь ослепленные предрассудками люди могут не видеть теперь, что ей, и только ей, безраздельно и бесспорно принадлежит будущее.

Да здравствует социальная демократия! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОЧИХ.

Во всех образованных странах Европы и Америки вот уже второй год *) происходят 19 апреля (по тамошнему календарю 1-го мая) большие демонстрации рабочих. «Хорошие господа»: фабриканты, купцы, помещики, банкиры и все их приспешники (короче—вся *буржуазия)* очень боятся этих демонстраций. Так боятся, как будто рабочие собираются всех их перерезать. Двигаются войска, суетятся полицейские, совещаются озабоченные министры,—словом, беда да и только, вот-вот начнется светопреставление! Посмотрите, как струсили «хорошие господа» в Вене (столица Австрии) накануне рабочей демонстрации прошлого года.

«Солдаты стоят наготове; двери в домах заперты; в квартирах заготовлены запасы, как будто в виду осады; дела остановились; женщины и дети не смеют выйти на улицу»... **).

Какие, подумаешь, страсти! И чем же вызван весь этот перепуг? Тем, что *рабочие решились требовать сокращения своего рабочего дня до восьми часов.* Вот и все. И вот чего до смерти перепугались «хорошие господа».

Неужели это так страшно? Кому как,—а хорошим господам это действительно очень страшно. Страшно потому, что—неровен час!—раззудится плечо, разгуляется рука у рабочего класса, и тряхнет он на всю эту почтенную публику так, что и следа от нее не останется. Страшно еще и потому, что сокращение рабочего дня кажется невыгодным всем тем, кто сам не трудится, а живет на счет трудящихся.

Рабочим же очень выгодно сокращение рабочего дня. И потому они единодушно требуют его в Англии и во Франции, в Германии и в Австрии, в Европе и в Америке.

---

*) Писано в 1891 г.

**) Так говорит газета «Венская Свободная Печать» в № от 19 апреля (1 мая) 1890 г.

Посмотрим, в чем тут дело? Почему выгоден для рабочих короткий рабочий день?

I.

Припомним времена крепостного права. Помещик сажал своих крестьян на тягло, давал им землю *). Крестьяне обрабатывали эту землю и тем кормились. На обработку этой земли им давалось где два, где три дня в неделю. Остальные дни недели они работали на барщине и ничего не получали за свой труд. Помещик продавал хлеб, засеянный, убранный и отвезенный к купцу его крепостными, и клал себе в карман полученные от купца денежки. *Эти деньги составляли его доход.* Откуда же получался этот доход? Понятно откуда. *Доход помещика создавался даровым трудом крестьянина.*

Теперь нет крепостного права. Теперь крестьяне и рабочие свободны. Теперь они работают по вольному найму. И это, конечно, лучше, чем работать из-под крепостной палки. Но не надо думать, что наемный рабочий трудится только на себя. Нет, он трудится также и на хозяина. *Доход хозяина* (фабриканта, заводчика, помещика, земля которого обрабатывается наемными рабочими) *создается даровым трудом наемного рабочего.*

Мы сейчас об'ясним это. А теперь вернемся к барину, владеющему крепостными «*душами*».

Вообразим, что вышел такой закон, который запретил крепостным работать на помещика больше одного дня в неделю. К чему привел бы такой закон?

Крепостной крестьянин мог бы лучше обработать свою собственную ниву. Он мог бы отдохнуть лишний день. Мог бы заняться каким-нибудь промыслом. Во всяком случае, как бы ни поступил крестьянин, новый закон принес бы ему большую пользу.

Конечно, пользуясь своей властью, помещик дошел бы крестьянина не мытьем, так катаньем. Он мог бы потребовать от него денежного оброка. Мог бы сократить его запашку (дескать, все равно, толку от тебя мало) и так далее. Все это было бы возможно при неограниченной власти помещика. Поэтому к закону, запрещающему крестьянину работать на помещика больше одного дня в неделю, нужно было

*) Впрочем, это так только говорится, что он *давал* ее. На самом деле земля принадлежала прежде крестьянам, помещики же отняли ее у них и стали потом им же «давать» ее за работу.

бы прибавить еще один закон, запрещающий помещику уменьшать запашку крестьян, требовать с них денежного оброка и вообще взыскивать с них те потери, которые принес бы ему первый закон.

Вообразим же, что правительство запретило помещику взыскивать с крестьян эти потери. Что произошло бы тогда в хозяйстве нашего помещика?

У него оказалось бы слишком мало рабочих. Для обработки его земли каждый крестьянин по три дня в неделю проводил на барщине. Теперь каждый крестьянин работает на него только один день. Ясно, что вся земля помещика не может быть обработана теперь его крепостными. Положим, у него 300 десятин, и для обработки этих 300 десятин все его крестьяне должны были прежде работать по три дня в неделю. Теперь они работают только один день. Значит, они обработают только 100 десятин. А что же сделает помещик с остальными?

Для их обработки он должен искать новых работников, которым должен платить деньгами или землею. Положим, что были бы такие вольные работники, которые до издания новых законов скитались бы без работы из одной деревни в другую. К ним и обратился бы наш помещик: они получили бы от него работу, а с нею и кусок хлеба.

Помещику невыгодно было бы расходоваться на наем этих работников. Но работникам выгодно было бы найти работу. Стало быть, невыгодные помещику новые законы были бы выгодны его крепостным и тем вольным людям, которые скитались без работы и без пристанища. Помещик плакался бы на новые законы. Он говорил бы, что их придумали злые люди. А крепостные крестьяне и пропадавшие без работы вольные люди радостно приветствовали бы эти законы.

Но, может быть, наш помещик стал бы обрабатывать свои поля машинами. Известно, что машиной и на поле и в мастерской можно сделать во много раз больше, чем без машины. Поэтому, накупив машин, наш помещик, пожалуй, и обошелся бы как-нибудь без найма новых работников, своими крепостными, работающими не более одного дня в неделю.

Но ведь чтобы помещик мог купить машины,—надо их сделать. А делают их опять-таки работники. Значит, чем больше стали бы покупать помещики машин, тем больше стали бы нанимать рабочих на машиностроительные заводы. Некоторые из людей, пропадавших прежде без работы, нашли бы теперь места на машиностроительных заводах. И эти люди радостно приветствовали бы появление законов, за-

прещающих крепостным работать на помещиков больше одного дня в неделю.

Вообразим теперь такой случай. Крепостные крестьяне, работающие на помещика только один день в неделю, в свободное время стараются как можно больше учиться. И изучают они особую науку, ту науку, которая показывает, каким образом могут они совсем избавиться от помещика: не только не работать на него даже один день в неделю, но и всю помещичью землю обратить в свою собственность. Тогда еще полезнее для них оказались бы новые законы и еще понятнее было бы, почему не любят этих законов помещики.

Все это мало похоже на правду. При крепостном праве не было законов, запрещавших крестьянам работать на помещиков больше одного дня в неделю. Да если бы и были такие законы, то вряд ли стали бы учиться крепостные крестьяне. И очень трудно, а лучше сказать, невозможно им было дойти до такой науки, которая научила бы их, как избавиться от помещиков и отобрать их землю.

Но то, что мало похоже на правду, когда мы говорим о крепостных крестьянах, *есть истинная правда, когда мы говорим о нынешних наемных рабочих.*

Теперь рабочие *могут* добиться таких законов, которые сократят время их дарового труда на хозяев. Теперь легко рабочим дойти до той науки, которая покажет им, каким образом могут они совершенно покончить с хозяевами и завести новый общественный порядок. И не только могут дойти рабочие до этой благодетельной науки. Они *уже доходят* до нее. Они все лучше и лучше понимают ее. Но у них мало свободного времени. Оттого учатся они все еще слишком медленно. Если бы удалось рабочим добиться сокращения рабочего дня до восьми часов, то времени у них было бы больше; учились бы они скорее и скорее избавились бы от хозяйского гнета.

II.

Мы сказали, что *доход хозяина (капиталиста) создается даровым трудом рабочего.*

Это чувствует каждый рабочий. Но не каждый ясно понимает это. Да оно и неудивительно. Не далеко еще то время, когда это плохо понимали самые ученые люди. Теперь наука *(политическая экономия)* хорошо выяснила это дело. Теперь нельзя сомневаться в том, что работник даром трудится на капиталиста, как крепостной даром трудился на помещика.

На первый взгляд это очень странно. Как же так—даром? Ведь хозяин, как-никак, платит же своему рабочему? Как же можно говорить о даровом труде рабочего?

Правда, хозяин платит рабочему за его труд. И все-таки рабочий даром трудится на хозяина.

Заработная плата—это корм рабочего человека, как овес, сено и солома—корм рабочей лошади.

Нельзя не кормить рабочую лошадь. Нельзя не кормить и рабочего. Впрочем, нет, это не совсем так. Хозяин всегда постарается накормить лошадь, потому что лошадь его собственная. Ее смерть принесет ему убыток. А от смерти одного, двух, трех и даже целой тысячи рабочих фабриканты не несут никакого убытка. Большая смертность между рабочими только тогда была бы убыточна хозяевам, когда рабочих осталось бы в живых меньше, чем их нужно хозяевам. Посмотрите, что бывает у нас в южных степных губерниях, когда слишком мало крестьян приходит летом для уборки хлеба. Каждому из них поневоле платят дорого, и сельские хозяева жалуются на убытки. То же самое было бы, если бы во всей России оказалось мало рабочих. Поднялась бы заработная плата, хозяева закричали бы, что они разоряются. А пока этого нет, рабочий может умирать со спокойной совестью. Его смерть не огорчит никакого капиталиста.

Хозяин платит рабочему за его труд. Он «кормит» его и называет себе его благодетелем. Но ведь и помещик «кормил» своих крепостных. Он отводил им землю, или отпускал им месячное, или давал им содержание у себя в *«людской»*. Крепостной отрабатывал барину все то, что получал от него на свое содержание. На это нужно было, положим, три дня в неделю. Но помещику этого было мало. Ему нужно было получить с имения *доход*. Он заставлял крестьян работать на барщине остальные три дня, а иногда прихватывал и воскресенье. Этим-то трудом на барщине и создавался доход помещика. И только этот труд крепостных и можно было назвать *даровым*. Пока крепостной отрабатывал то, что стоило помещику его содержание, он трудился не на помещика, а на самого себя.

То же делает и наемный рабочий. Он работает частью на себя, а частью на хозяина. Фабричный получает, положим, пятьдесят копеек в день. Эти деньги он должен отработать хозяину. Он отработает их, положим, в течение шести часов. Если работа на фабрике начинается в пять часов утра, то к обеду работник отработает хозяину все, что получил от него. Но хозяину нужен *доход, барыш,* нужна *прибыль*. И вот

он заставляет фабричного работать до восьми часов вечера. Все это время работник трудится для него *даром. И этим-то даровым трудом создается прибыль фабриканта* *).

У нас в России рабочий день фабричных продолжается 13—14 часов. Из этих 13 или 14 часов на себя (т.-е., чтобы отработать полученную плату) рабочий трудится самое большее пять часов. А все остальное время он работает даром на фабриканта. И работает он очень недурно. Наши фабриканты получают по 40, по 50, а иногда даже по 60 процентов на капитал. Это значит, что каждый рубль приносит им сорок, пятьдесят или даже шестьдесят копеек; каждая тысяча рублей приносит четыреста, пятьсот или даже шестьсот рублей барыша. Как видите, очень выгодно быть «благодетелем» рабочего человека!

Итак, прибыль капиталиста создается даровым трудом рабочего.

Само собою понятно, что чем больше трудится рабочий на хозяина, тем выгоднее хозяину, тем больше его прибыль. А рабочий трудится на хозяина тем больше, *чем длиннее рабочий день*. Стало быть, *хозяину выгодно удлинять рабочий день.*

А рабочему? Как раз наоборот. *Рабочему выгодно сокращать рабочий день.*

Если бы наши фабричные вместо 13—14 часов стали работать только по 10 часов в сутки, то они и уставали бы меньше, и *зарабатывали бы больше, чем теперь.*

Это, может быть, не совсем понятно на первый раз. Мы сейчас поясним это примерным расчетом.

Возьмем ткацкую фабрику и положим, что на ней работает 60 человек. Рабочий день продолжается 10 часов. Стало быть, все 60 человек вместе трудятся 600 часов (60 человек по 10 часов каждый). В эти 600 часов выделывается столько-то штук полотна. Но вот хозяин решил, что впредь его рабочие будут работать не по 10, а по 12 часов. Сказано—сделано. Главный мастер об'являет рабочим о новом распоряжении хозяина. Рабочие недовольны. Они ворчат, но мастер грозится расчетом, и они покоряются. Что же выходит?

Чтобы сработать всю хозяйскую работу, нужно 600 рабочих часов ежедневно. *Прежде* каждый ткач работал 10 часов, всех ткачей нужно было *60. Теперь* каждый ткач работает 12 часов и всех ткачей нужно хозяину только 50 человек (потому что эти 50 человек, работая по 12 часов в день, дают 600 рабочих часов, а ведь 600 рабочих часов и нужно было для того, чтобы сработать всю хозяйскую работу). *Поэтому хозяин прогоняет десятерых рабочих.*

*) Кто хочет подробнее прочитать об этом, пусть возьмет книжечку Дикштейна—«*Кто чем живет*».

Они идут к другому фабриканту. Но тот тоже ввел у себя двенадцатичасовой день и потому рассчитал многих рабочих. У него не найти теперь работы. Наши бедняки идут к третьему, к четвертому фабриканту. Везде один ответ: не надо рабочих, своих расчитываем. Но ведь не помирать же с голоду! Потерявшие работу ткачи стараются соблазнить хозяев выгодными условиями найма. Они готовы работать хоть за полцены. Хозяева пользуются этим и уменьшают плату всем своим рабочим: «Кто не доволен, ступай вон, много вашего брата шляется без дела!» Рабочие опять покоряются: податься им действительно некуда. Так и падает заработная плата, потому что *не имеющие работы рабочие везде сбивают цену.*

Наука (статистика) показала, что меньше всего зарабатывают рабочие в тех ремеслах, где рабочий день всего длиннее.

На это есть много причин. Но одна из очень важных причин именно та, что чем длиннее рабочий день, тем меньше рабочих нужно хозяевам, а чем меньше рабочих нужно хозяевам, тем больше сбивается цена на «*рабочие руки*».

Теперь мы знаем, к чему ведет удлинение рабочего дня. Посмотрим, к чему ведет его сокращение.

Вы и сами легко поймете это. Положим, что на нашей ткацкой фабрике рабочие опять стали работать по 10 часов. Тогда фабриканту мало пятидесяти ткачей. Чтобы фабриковать столько же товару, сколько фабриковалось его прежде, ему нужно 60 рабочих. Он нанимает тех, которые не имеют работы. Найдя работу, эти люди уже не сбивают цены на свои «*руки*». Теперь уже хозяин знает, что не так-то удобно прижимать рабочих: если уйдут они, то трудно будет найти новых. И вот он становится ласковей, податливей. Рабочие улучают время и требуют увеличения платы. Хозяин уступает.

Итак, *сокращение рабочего дня ведет к увеличению заработной платы.*

Это надо знать и помнить рабочим. Часто кажется им, что чем больше станут они работать, тем больше будут получать. *Но они жестоко ошибаются.* На деле выходит, что *чем больше работают они, тем меньше получают.*

Поэтому рабочим всегда следует стараться сокращать свой рабочий день.

Конечно, если бы какой-нибудь отдельный рабочий стал работать меньше, чем его товарищи, то его прогнали бы с фабрики или стали бы вычитать у него все его прогулы, разумеется, со штрафами. Плохо пришлось бы такому рабочему. Невыгодно, глупо сокращать рабочий день *в одиночку*. Но очень выгодно, очень разумно сокращать его *всем рабочим вместе*.

Некоторые скажут, пожалуй, что *при поштучной плате* рабочим выгодно удлинять, а не сокращать свой рабочий день. *Это ошибка.*

При поштучной плате рабочий точно так же трудится даром на фабриканта, как и при поденной. Если за штуку товара работник получает, скажем, 10 копеек, то та же самая, сделанная рабочим, штука товара приносит хозяину по крайней мере 10, а не то и 15 и 20 копеек барыша. Чем больше штук товара приготовит рабочий, тем выгоднее хозяевам. А рабочий лезет из кожи вон, чтобы приготовить их побольше. Поэтому хозяева очень любят поштучную плату. При ней им удается выжимать из рабочего гораздо больше, чем при поденной плате.

Но при поштучной плате рабочий усердствует на свою голову. Фабриканту нужно, положим, десять тысяч штук товара в год. Чем больше таких штук приготовит каждый отдельный рабочий, тем меньше рабочих надо нанимать хозяину. А мы уже знаем, что чем меньше рабочих нужно хозяевам, тем ниже заработная плата.

Чем больше трудится каждый рабочий при поштучной плате, тем меньше получает он за каждую штуку. *Значит и при поштучной плате рабочим выгодно сокращать рабочий день.*

У нас во владимирском фабричном округе есть особый разряд рабочих, называемых *котами*. У котов нет постоянной работы. Их берут на фабрики только временами, только тогда, когда хозяевам понадобится сработать лишний товар. А как только сокращается спрос на их товары, хозяева сокращают производство, и тогда *коты* опять кладут зубы на полку. Нечего и говорить, что жизнь этих несчастных людей не жизнь, а постоянная мука. Но мало того, что коты бедствуют сами. Они сбивают цену всем другим рабочим. А хозяева в расчете на котов не стесняются прижимать своих рабочих: чуть какое неудовольствие,—ступай вон, было бы болото, черти будут! Если бы вышел закон, запрещающий хозяевам заставлять рабочих работать больше десяти часов в сутки, то, может быть, *коты* нашли бы работу, перестали бы сбивать цену на «рабочие руки», и заработная плата стала бы выше.

Рабочих, подобных нашим котам, много не в одной только России. За границей их наверное не меньше, чем у нас. Этот разряд рабочих носит в науке особое название: его называют *запасной рабочей армией*.

Все понимают теперь, что чем меньше эта «*армия*», тем выше заработная плата.

И это еще не все. Не мало хороших вещей в каждой лавке, на каждом базаре. Но даром их не дают. За них надо заплатить деньги. У кого больше денег, тот больше и покупает. У рабочего денег немного. Поэтому немного и покупает рабочий, *не велика его покупательная сила*. И чем ниже его заработная плата, тем меньше у него этой приятной и полезной силы. Много ли может купить бедный, голодный *кот*. При сокращении рабочего дня поднимается заработная плата; у рабочего шевелится больше денег в кармане. *Его покупательная сила увеличивается*. Он покупает больше товаров. А кто делает товары? Те же рабочие. Больше покупают товаров—больше рабочих нанимают хозяева. А чем больше рабочих нужно хозяевам, тем выше заработная плата.

Значит, при сокращении рабочего дня заработная плата будет расти еще и оттого, что увеличится покупательная сила рабочих.

Но господа фабриканты тоже не дураки. Повышать рабочую плату им не расчет. Поэтому, при сокращении рабочего дня, они постараются ввести побольше *машин*. Машины могут заменить многих и многих рабочих. Машины часто и придумывались только потому, что фабрикантам не хотелось повышать плату или вообще уступать рабочим. Не одна хорошая машина придумана была в Англии во время *стачек*. Введение новых машин наверное помешает, по крайней мере, до некоторой степени тому повышению платы, которое должно было бы произойти от сокращения рабочего дня. Кроме того, и при коротком дне фабриканты сумеют, тоже при помощи своих машин, заставить рабочих трудиться столько же, или почти столько же, сколько они трудились прежде. Известно, что человек в 10 часов сделает иной раз не меньше, чем в пятнадцать, если будет работать *прилежнее, настойчивее*. Фабриканты сумеют заставить рабочих работать *прилежнее*. Они и при коротком дне выжмут из них столько же, сколько выжимали при длинном. На это большие мастера господа механики. Если будет так, то рабочая плата не повысится от сокращения рабочего дня. *И, однако, оно все-таки принесет рабочим большие выгоды.*

Длинный рабочий день и плохая пища так изнуряют рабочего, что он стареет раньше времени. Статистика показала, что средняя жизнь «хороших господ» часто вдвое длиннее средней жизни рабочих *). Вот

*) Что такое средняя жизнь—понятно само собою. На всякий случай, об'ясним. Возьмем тысячу бедняков, родившихся в нынешнем 1891 году. Из

почему сокращение рабочего дня было бы полезно рабочим даже в том случае, если бы фабриканты, заведя новые машины, не имели бы нужды в новых рабочих руках. Правда, рабочая плата осталась бы прежняя. Но у рабочих все-таки было бы больше времени для отдыха. Тогда меньше болезней, меньше смертности было бы между рабочими. А это и само по себе не дурно. Кому охота хворать, кому охота умирать раньше времени?

Теперь английские рабочие—не по закону, а по обычаю—работают не больше десяти часов в сутки. А прежде работали они гораздо больше. И замечено, что с тех пор как сократился их рабочий день, они стали здоровее, чем были прежде.

Повторяем, улучшение здоровья рабочих само по себе очень важная вещь. Им можно и должно было бы требовать сокращения рабочего дня ради одного только здоровья. Но кроме здоровья, сокращение рабочего дня приносит им еще одну, очень большую, пожалуй даже самую большую выгоду. *Оно дает им свободное время, нужное для того, чтобы учиться.*

Трудно учиться человеку, работающему 13—14 часов в сутки. Тут уж не до ученья, не до книги. Тут, дай бог, отдохнуть и выспаться, чтобы на завтра опять приняться за ту же каторжную работу *). Правда, есть такие люди, которые и при такой работе находят время почитать книжку. Года три тому назад писали в газетах, что умер в Петербурге фабричный, у которого осталась целая гора книг, написанных лучшими писателями в России. Но ведь надо иметь очень уж большую охоту к ученью, чтобы поступать так, как поступал этот фабричный. Не у всякого есть такая большая охота. А кроме охоты, нужно еще здоровье. Слабому человеку при самой большой охоте трудно сесть за книжку, проработавши 13 часов. А учиться необходимо рабочим. Без учения не изба-

них некоторые умрут раньше недели, другие проживут несколько месяцев, третьи доживут до году, до двух, до пяти лет; четвертые умрут не раньше десяти, пятнадцати лет, а некоторые умрут стариками. Сосчитаем, сколько лет прожили все они вместе. Получим, положим, 20 тысяч лет. Разделим это на тысячу. Получаем 20. Это значит, что если бы бедняки жили одинаково долго, каждый прожил бы 20 лет. Эти двадцать лет и будут составлять *среднюю жизнь* бедняка. Так же точно можно высчитать среднюю жизнь богатых людей. И ее действительно высчитали в некоторых странах и нашли, что в среднем богатые люди живут вдвое дольше бедных.

*) И это, опять-таки, только говорится—*каторжная* работа. На самом деле каторжники везде работают меньше свободных рабочих. А часто и едят каторжники лучше, чем эти свободные, ни в чем и ни перед кем невиноватые люди.

вятся они от гнета капиталистов. Даже больше того. Чем дальше, тем тяжелее будет жить рабочим, если не сумеют они разделаться с нынешним порядком вещей. Это опять-таки доказано наукой.

Все это поняли рабочие западной Европы и Америки. Потому-то и требуют они сокращения рабочего дня до восьми часов. Раз добьются этого рабочие, тогда дела пойдут не по теперешнему. Тогда не долго продержатся нынешние порядки.

Заметьте, что восьмичасового дня требуют рабочие не одной какой-нибудь страны, а решительно всего образованного мира. Только в отсталых, необразованных странах нет речи об этом. Но в таких странах и порядки другие. Там мало капиталистов, мало наемных рабочих. Там восьмичасового дня некому и требовать.

Английский рабочий живет не так, как живет немецкий рабочий, немецкий не так, как итальянский или французский. Но, несмотря на это, английский рабочий находится *в сущности в таком же положении, как и немецкий, французский или итальянский.* У него тот же враг—хозяин. Та же цель—добиться таких порядков, при которых рабочие были бы сами себе хозяевами. Вот почему понимающие дело рабочие везде смотрят на рабочих других стран, как на своих товарищей и братьев. Они помогают одни другим. В прошлом году случилась стачка на тюлевых фабриках во Франции. Рабочие английских тюлевых фабрик прислали деньги для поддержки французских стачечников. Потом случилась стачка у английских рабочих, их поддерживали французы. И это не редкость. Рабочие идут дальше этого. Весной нынешнего года в Париже был с'езд углекопов разных стран (главным образом Бельгии, Франции, Англии, Германии). На с'езде решено составить один большой союз из всех углекопов всех образованных стран. Когда будет такой союз, углекопы всех стран будут составлять одну семью. Чтобы где что ни случилось, они будут поддерживать друг друга, и легче им будет бороться с хозяевами.

Рабочие всех образованных стран должны действовать и уже действуют сообща во всех важных случаях. Без взаимной помощи и поддержки рабочим никогда не удастся взять верх над хозяевами.

Добиваться восьмичасового рабочего дня решили на *международном* с'езде рабочих в Париже 1889 году. *Международными* с'ездами называются такие с'езды, на которые с'езжаются уполномоченные не одного государства, а многих. На парижском международном рабочем с'езде (конгрессе) были уполномоченные от рабочих Англии, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Голландии, Испании, Швеции, Дании, Аме-

рики и пр. Были и русские уполномоченные. Но посланы они были не прямо рабочими, а различными социалистическими кружками, в которых иногда совсем нет рабочих. Следовало бы поступать не так. Следовало бы, чтобы уполномоченных посылали *сами рабочие*. Это было бы разумнее и полезнее *).

Парижский с'езд решил, что ежегодно 19 апреля (1-го мая по заграничному календарю) рабочие всех стран будут требовать от своих правительств издания закона, который ограничит рабочий день восемью часами. Конгресс не решил, как именно должны требовать рабочие такого закона. Это должны решить сами для себя рабочие каждой отдельной страны. Почти везде рабочие решили *не работать* в день 19-го апреля. Вот почему мы и назвали этот день *всемирным праздником рабочих*. В некоторых странах рабочие подают также в парламенты *прошения*, в которых излагают свое требование. Наконец, везде в этот день происходят народные собрания, на которых об'ясняется публике польза восьмичасового дня. Такие собрания происходят иногда под открытым небом, на площадях или в парках. Бывает, что на них сходятся целые сотни тысяч (например в Англии). Часто эти сотни тысяч рабочих стройными рядами, со знаменами и с музыкой проходят по улице, делают так называемые *демонстрации*. До сих пор такие демонстрации лучше всего удавались в Англии и в Австрии.

Рабочие потому обращаются в парламенты с прошениями, что законы издаются парламентами. А рабочие хотят, чтобы именно *законом сокращен был их рабочий день*. Без закона нельзя обойтись в этом случае. Если закон не запретит фабрикантам заставлять рабочих работать больше восьми часов, то рабочим не добиться восьмичасового дня. Всегда найдутся такие фабриканты, которые сумеют соблазнить или заставить своих рабочих работать больше. Эти рабочие повредят и себе и другим, испортят все дело, помешают другим рабочим добиться восьмичасового дня.

Русскому человеку восьмичасовой день может показаться чем-то совсем невозможным. Где уж там говорить о восьмичасовом дне, когда теперь рабочий день доходит до 14 часов! Но за границей рабочий день короче, чем у нас. В Англии рабочие работают не больше десяти часов в сутки. В Швейцарии рабочий день по закону равняется 11 часам (правда, закон этот часто нарушается). В Германии на этот счет бывает всяко:

*) С тех пор, как автор писал эти строки, на международных конгрессах уже появлялись представители русских рабочих.

местами рабочий день у немцев не короче, чем у русских. Но *вообще* рабочий день в Германии короче, чем в России. А вот в Америке на *казенных* фабриках и теперь уже работают не больше восьми часов в день. Американские рабочие еще раньше европейских стали требовать введения восьмичасового дня также и на всех *частных* фабриках. И европейским рабочим нет никакого расчета отставать от американских. Не сразу добьются восьмичасового дня рабочие. На первый раз хозяева постараются помириться с ними на меньшем: предложат им, положим, девятичасовой день. Не дурно будет и это. Но рабочие не удовольствуются этим и потребуют нового сокращения рабочего дня. Наконец, добьются они и восьми часов. Как будут поступать они после этого—покажет время. Может быть, рабочие потребуют сокращения рабочего дня до шести часов. А, может быть, большинство их настолько разовьется к тому времени, что и совсем покончит с хозяевами: заведут новый *социалистический порядок*, в котором уже не будет *наемных* рабочих. Работать будут все способные люди и не на хозяев, а на самих себя, на *все общество*, от которого и будут получать свое содержание. Тогда уже видно будет, по скольку часов в день должен будет трудиться каждый.

III.

Теперь читатель понимает, почему требуют рабочие восьмичасового дня. Теперь он знает, какой смысл имеет всемирный рабочий праздник 19 апреля (1 мая). Но, может быть, он слышал, что везде в западной Европе в этот день против рабочих выставляются войска. Может быть он читал и о том, как во французском городке *Фурми* солдаты перебили в нынешнем году многих рабочих (между ними были женщины и дети) за то, что они требовали восьмичасового дня. И, может быть, ему непонятно, как это могут происходить подобные вещи в *республике*. Или уж ровно ничего не значит свобода? Или правду говорят те люди, которые уверяют рабочих, что им от свободы не может быть ни жарко, ни холодно?

Нет, *эти люди ошибаются*. Свобода—великая вещь. Без свободы было бы гораздо хуже французским рабочим. Теперь они имеют право заводить союзы, собираться на собрания, издавать свои рабочие газеты. Французского рабочего нельзя сослать или посадить в тюрьму *административным порядком*, то-есть, по желанию полиции. С ним должны поступать *по закону*. Это одно. А кроме того и закон-то дает рабочим во Франции гораздо больше свободы, чем в России. Французский рабочий—

гражданин, а не *обыватель.* Он выбирает депутатов (гласных) в парламент, а парламент есть высшая власть в стране. Он может отдать под суд любого министра. Правда, во французском парламенте огромное большинство гласных (депутатов) тянет хозяйскую руку. Вот потому-то этот парламент и похваливает тех министров, которые приказывают стрелять в рабочих. Но выбор парламентских депутатов зависит от народа. Теперь сами рабочие (про крестьян и говорить нечего) часто посылают в парламент таких людей, которые всеми силами отстаивают интересы богатых. Но, во-первых, даже и эти депутаты не смеют смотреть на рабочий народ так, как смотрят на него подобные им люди в России. А, во-вторых, кто же мешает народу посылать хороших депутатов в парламент? Мешают ему бедность и незнание. Но это горе поправимое. Когда больше узнают рабочие, тогда перестанут водить их за нос разные обманщики. Тогда они станут посылать в парламент своих настоящих друзей. А потом придет время, когда рабочие усилятся до такой степени, что созовут *свой собственный, революционный рабочий парламент,* который и заведет новое общественное устройство. Конечно, без борьбы при этом не обойдется. Но что же за беда? Это будет полезная борьба. Она принесет рабочим *полную* свободу. Все дело только в том, чтобы поскорее приходило время этой последней борьбы. А придет оно тем скорее, чем больше будут знать, чем больше разовьются рабочие. А при республике, при свободе им легче учиться и развиваться, чем при таких порядках, как наши русские. Значит, очень полезна рабочим даже и такая свобода, какая существует в нынешней Франции, где правительство находится в руках буржуазии. Такая свобода все-таки гораздо лучше, чем русское рабство. И лучше всего она тем, что приближает время полного освобождения рабочих.

Но довольно о других странах. Поговорим о России. Как поступать русским рабочим в виду всемирного рабочего праздника 19-го апреля?

Собственно говоря, мы не хотели решать этот вопрос. Мы хотели только рассказать русским рабочим о том, чего добиваются их заграничные товарищи. Рабочим одной страны всегда полезно знать, чего хотят и что делают рабочие другой страны. Русским же рабочим особенно полезно знать, что делают заграничные рабочие. Эти рабочие ушли гораздо дальше наших, и нашим надо учиться у них. А как именно будут поступать русские рабочие, поняв, чего хотят их заграничные товарищи,—это пусть они решают сами, *на месте.*

Скажем одно. Очень полезно было бы русским рабочим принимать

участие во всемирном рабочем празднике. Они входили бы этим в общую рабочую семью, привыкали бы следить за делами европейских рабочих. Они перестали бы смотреть на себя, как на каких-то отверженцев, которым нельзя и думать об улучшении своего положения. Правда, русский царь жестоко наказывал бы их за такое участие. Но ведь вон в губерниях бывшего Царства Польского те же порядки и та же полиция, что и в России, а сумели же польские рабочие отпраздновать 19-ое апреля. Уже в прошлом году его праздновали рабочие многих варшавских фабрик. А в нынешнем году к варшавским рабочим пристали рабочие некоторых других местностей.

Правда и то, что у нас на многих фабриках рабочие и не слыхали о всемирном рабочем празднике. Но надо постараться, чтобы они поняли в чем дело, надо об'яснять им значение этого праздника. Поверьте, что не дурак русский рабочий и не так уже трудно понять ему тех людей, которые станут выяснять ему правильные взгляды на вещи.

Каким образом можно праздновать 19 апреля в России? Выходить на улицу, делать демонстрации пока не стоит: слишком много потеряли бы мы людей на этих демонстрациях. Но не ходить на работу в день 19 апреля вполне возможно. Конечно, и это надо делать с толком. На таких фабриках, где согласились бы праздновать 19 апреля 15—20 человек, не ходить на работу не стоит. А где праздновать 19 апреля захотели бы все рабочие или хоть половина их (конечно мы не говорим о маленьких заведениях), там не работать в этот день было бы очень хорошо. Наконец, все понимающие дело рабочие должны были бы хоть на тайных собраниях праздновать великий день. Они могли бы приглашать на эти собрания своих знакомых, об яснять им значение праздника, рассказывать о движении заграничных рабочих.

— Но ведь у нас нет парламента, от которого можно было бы потребовать сокращения рабочего дня. А к царю нечего и соваться с таким требованием.

Царь, конечно, не охотник разговаривать с рабочими. Не любит он и думать об их нуждах. Но не сидеть же поэтому русским рабочим сложа руки. Царь потому только и всемогущ, что его пока еще терпит русский народ. Когда народ поймет, что царское правительство приносит ему вред, правительство это будет свергнуто. Если бы русские рабочие захотели добиться восьмичасового дня *(или хотя бы на первый раз вообще сокращения теперешнего непомерно длинного дня)* и в то же время видели бы, что не добьешься этого от царского правительства,

то тем скорее пало бы это правительство. А это была бы огромная победа.

Кроме того, не надо думать, что сокращение рабочего дня совсем невозможно при теперешнем правительстве. Если бы рядом с нами не было западной Европы, в которой рабочие *наверное* добьются исполнения своего требования, тогда нечего было бы и говорить о сокращении рабочего дня в России. Ну, а в виду Европы, в которой будет короткий рабочий день, подастся и русское правительство. Но и для этого надо, чтобы рабочие не были немы, как рабы. Дитя не плачет—мать не разумеет, говорит пословица. Еще меньше разумеет *злая мачиха*.

Русское правительство неподатливо только до тех пор, пока думает, что народ стоит за него горой. А как только зашевелятся рабочие, оно сразу пойдет на уступки. Постараемся, чтобы поскорее зашевелились русские рабочие!

ВОЕННЫЙ ВОПРОС НА КОНГРЕССЕ В ЦЮРИХЕ.

В редакцию журнала «L'Ère nouvelle».

Вы попросили меня послать вам те несколько слов, которые я произнес в Цюрихском конгрессе по вопросу о милитаризме. Я вам посылаю их в надежде, что они встретят у ваших читателей более благосклонный прием, чем тот, который им был оказан большинством французских делегатов.

Как докладчик комиссии, я защищал так называемую немецкую позицию. Вы, без сомнения, имеете ее текст, так что я не привожу его здесь *).

Я сказал, что предложение голландцев—военная забастовка во время войны—является не чем иным, как *утопией*. В самом деле, для того, чтобы осуществить это предложение, нужна сила, большая сила, нужно, чтобы армии слушались голоса социалистической демократии. Однако, когда мы будем иметь эту силу, нам не нужно будет складывать оружия: *нашим долгом* будет найти для оружия другое применение, характер которого очень легко предвидеть. Пока мы не сильны до такой степени, пока армия не с нами, всякая революция в духе предложения голландцев остается пустой фразой, лишенной всякого практического смысла.

Больше того, успехи социализма не везде одинаковы. Так, в Гер-

*) Вот текст, о котором идет речь:

«Позиция рабочих в случае войны окончательно определена резолюцией Брюссельского конгресса относительно милитаризма. Международная революционная социалистическая демократия всех стран должна восстать всеми находящимися в ее власти силами против шовинистических аппетитов господствующих классов; она должна все теснее соединять узами солидарности рабочих всех стран; она должна неослабно работать над сокрушением капитализма, который разделил человечество на два враждебных лагеря и который натравливает народы друг на друга. Вместе с уничтожением господства классов исчезает война. Падение капитализма означает мир во всем мире».

мании мы имеем уже очень сильную и превосходно организованную партию. В России мы присутствуем только при первых шагах социалистического движения. Предположим, что в случае войны между Россией и Германией наши немецкие товарищи сумеют организовать военную забастовку,—тогда русская армия покорит центральную Европу, и вместо торжества социализма мы увидим торжество казацкой нагайки. Вот почему голландское предложение является не просто утопией, а *реакционной* утопией, осуществление которой было бы очень вредно для дела свободы. Дело идет не о том, чтобы проповедывать крестовый поход против северного деспота. Кровь пролетариата слишком дорога, чтобы нам пришла в голову подобная идея; кроме того, рабочие Западной Европы имеют и без того много дела у себя дома. Но пусть русское правительство держит себя спокойно,—социалисты будут первыми борцами против всяких воинственных тенденций. И если это ненавистное правительство не будет держаться смирно, если оно попробует наложить свою тяжелую лапу на соседние народы, тогда всякое воздержание будет преступным, тогда нужна будет война, смертельная война, война без отдыха и пощады! И эта война *против нашего правительства* будет в то же время войной *за освобождение нашего народа*.

Вот вкратце то, что я сказал в своей первой речи против голландского предложения. Гр. Домела в своем ответе сравнил меня с Бисмарком, который постоянно восклицал: «вот идут казаки». Голландский делегат придерживался того мнения, что русский деспотизм не может иметь ничего страшного для немцев, которые сами не пользуются большой политической свободой: немного меньше, немного больше деспотизма,—сказал он,—это, собственно говоря, одно и то же, как утверждал Гейне. Нашествие варваров не всегда является несчастьем для цивилизованных народов; наоборот, нашествия иногда приносили значительную пользу дела развития человечества. Общее правило—*одно нашествие стоит другого;* французам достаточно только вспомнить бедствия войны 70—71 г.г. Немецкие социалисты ничего не сделали, чтобы побороть у себя милитаризм; они сами не свободны от шовинистических настроений, как это доказывает хорошо известная речь Бебеля против России.

Как вы знаете после речи гр. Домела завязался долгий спор. Каждая нация высказывалась в лице одного из своих делегатов, и когда я, как докладчик, получил слово, чтобы резюмировать прения, стало очевидным, что предложение голландцев будет отвергнуто подавляющим большинством. Излишне было бы защищать уже выигранное дело, и я

поэтому ограничился некоторыми замечаниями второстепенного порядка.

Я сказал, что неправильно считать предложение большинства комиссии предложением немцев. На Брюссельском конгрессе оно защищалось французом Вальяном так же, как и немцем Либкнехтом. Даже на Цюрихском конгрессе меньшинство французской делегации, имеющее в своей среде Боннье, делегата рабочей партии, Жаклара и некоторых других, также высказалась за него. Точнее, потому, назвать это предложение—франко-немецким. *(Протесты и крики со стороны французов и голландцев).* Я рад, что могу отметить это согласие между немецкими социалистами и частью французских социалистов, так как оно доказывает еще раз, что не шовинизм воодушевляет тех, кто защищает наше предложение. Все, что было сказано против него, настолько нелогично и так мало понятно, что я одно время спрашивал себя, не начинал ли наш главный противник гр. Домела говорить на языке «волапюк», употребление которого он рекомендовал пролетариям. *(Шум со стороны голландцев, минута смятения).* В самом деле, что можно сказать о той части речи, где он старался нас успокоить относительно последствий нашествия варваров. Что ответить гражданину Домела, говорившему нам, что немецкий строй почти ничем не отличается от русского. Спросите присутствующих здесь венгерцев: они с 1849 г. хорошо узнали, что такое русский «порядок»; обратитесь к польским делегатам—они расскажут вам на этот счет много назидательного. Что можно, вообще говоря, сказать об этой странной идее? Доказать, что одно нашествие стоит другого? Разве дело идет о том, чтобы выбрать из двух нашествий то, последствия которого будут менее печальными? Разве это дело конгресса? В этом ли заключается вопрос, стоящий в порядке дня? Большинство комиссии совершенно просто сказало, и это ясно, как день, что если социалисты Германии и Франции исполнят свой долг, война между этими двумя странами сделается невозможной, и тогда постоянной угрозой для европейского мира останется один только русский царизм. Гр. Домела в длинной тираде распространялся против шовинистических настроений. Вы правы, милостивый государь, эти настроения сейчас неуместны, и позор тому, кто явится на социалистический конгресс с злопамятством и национальной завистью. Но кто же питает эти чувства, сто крат достойные осуждения? Вы ставите в упрек Бебелю его речь против России. Если бы он нападал на русский народ, он был бы шовинистом, и я, защищая его мнение, был бы предателем своей родины. (Французы кричат: *Вы им и являетесь! Да здравствует анархия!).* Но дело обстоит не так, как вы это себе представляете. Бебель нападает на офи-

циальную Россию, на властителя севера, голодом морящего свой народ, на поставщика виселиц, и не нам упрекать Бебеля за эти нападки.

В нашей несчастной стране интересы нации диаметрально противоположны интересам правительства. Все, что делается в пользу последнего, является ущербом для нации, и, наоборот, все, что подкапывает правительство, выгодно народу. Вот почему мы можем быть благодарны Бебелю за то, что он еще раз разоблачил вампира всея Руси. Браво, друг, вы хорошо сделали, не теряйте случая сделать это еще раз, обличайте наше правительство как можно чаще, поставьте его к позорному столбу, бейте сильнее... Таким образом вы окажете нам большую услугу.

Что касается нашего *народа*,—наши немецкие друзья хотят *свободы* для него, и, быть может, придет то время, когда немецкие социалистические батальоны будут бороться за нашу свободу, как некогда армии Национального Конвента боролись за свободу народов того времени...

Будем ли мы сетовать на Бебеля за то, что в своей речи, которую Домела вменяет ему в преступление, он выразил симпатию к благородной и несчастной польской нации. Что касается нас, русских революционеров, мы не продадим Польши, как это сделала французская буржуазия, которая когда-то кричала: «Да здравствует Польша, милостивый государь!» и которая после этого пошла приносить свои извинения г. Моренгейму.

Вот здесь-то большинство французской делегации подняло такой сильный шум, что я лишен был возможности продолжать свою речь. Слышались возгласы: «Да здравствует анархия!». Эти граждане как будто забыли, что анархия и царизм—две совершенно разные вещи... Впрочем, время мое уже истекло, и мне оставалось немного прибавить к тому, что я уже сказал. Так как гр. Домела цитировал Гейне, я намеревался привести по поводу его речи следующие стихи того же автора:

«Я знаю мотив этой песни и текст
И авторов знаю отлично:
Тайком они пили вино, а в речах
Водой угощали публично».

(«Германия», перев. *В. Водовозова*).

Гр. Домела кончил свою речь, сказав, что если будет принято предложение голландцев, то государи задрожат на своих тронах. В заключение я мог бы сказать, что если мы дадим такое доказательство своего легкомыслия, государи ехидно усмехнутся; особенно стал бы радоваться великий петербургский Могол, убедившись в том, что пролетариат не представляет собой серьезной партии, а является ребенком, которого можно забавлять дешевыми игрушками.

Вот все, что я сказал и что хотел сказать. Буржуазные газеты взапуски клевещут на меня. Даже некоторые социалистические органы заявляют, что я оскорбил гр. Домела (См. «Le Peuple», Бельгия). Позволю себе надеяться, что вы отнесетесь более справедливо ко мне.

Преданный вам *Г. Плеханов*.

АНАРХИЗМ и СОЦИАЛИЗМ

I.

Точка зрения утопического социализма.

Как известно, *французские материалисты* XVIII в., ведя беспощадную борьбу против *«бесчестных»*, иго которых тяжело давило тогдашнюю Францию, не переставали в то же время заниматься исследованием того, что они называли *совершенным законодательством*, т.-е. лучшего из всех возможных законодательств. Таким представлялось им законодательство, которое обеспечило бы всем человеческим «существам» наибольшую сумму счастья. Оно могло бы быть принято любым человеческим обществом, потому что оно само́е *совершенное*, а, стало быть, и самое «естественное» законодательство. Отклонения в сторону такого «совершенного законодательства» занимают в произведениях Гольбаха и Гельвеция не мало страниц.

С другой стороны, *социалисты* первой половины XIX в. с невероятным усердием и беспримерным рвением предавались изысканиям самой лучшей из всех возможных социальных организаций—*совершенной социальной организации*. Это самая выдающаяся, самая характерная черта, присущая как им, так и материалистам XVIII в. Ей мы и должны раньше всего уделить свое внимание.

Для разрешения проблемы о совершенной социальной организации, или—что сводится к тому же—о самом лучшем из всех возможных законодательств, нам, само собой разумеется, необходим критический *масштаб*, при помощи которого мы могли бы сравнивать между собой различные «законодательства». И этот критерий должен быть совершенно особого свойства. В самом деле, речь ведь идет *не* об *относительно* лучшем законодательстве, т.-е. не о лучшем или самом лучшем законодательстве, возможном *при данных обстоятельствах*. Нет, мы должны найти *абсолютно совершенное* законодательство,—именно такое, совершенство которого ни в чем не зависело бы ни от времени, ни от обстоятельств. Мы вынуждены, следовательно, совершенно отвлечься от *истории*, так как в ней ведь все *относительно*, все зависит от обстоятельств времени и места. Но что же в таком случае может

нам служить путеводной нитью в наших «законодательных» изысканиях, раз мы не принимаем во внимание истории человечества? Такой путеводной нитью будет, очевидно, *человечество, человек вообще, «человеческая природа»*, для которой история служит лишь внешним проявлением. Таков наш точно установленный критерий. *Совершенным законодательством, самым лучшим из всех возможных законодательств будет то, которое наиболее соответствует «человеческой природе»*. Может, правда, случиться, что даже обладая подобным критерием, мы все-таки не решим проблемы о лучшем общественном строе—либо за недостатком «просвещенности», либо за недостатком логики: человеку свойственно ошибаться. Но неоспоримым представляется, что эта проблема *может* быть решена; что стоит только опереться на точное знание человеческой «природы», чтобы быть в состоянии найти такое совершенное законодательство или такую совершенную социальную организацию.

Такова была точка зрения французских материалистов в области социальных наук. Человек,—говорили они,—это—чувствующее и мыслящее существо. Он избегает неприятных ощущений и ищет приятных. Он достаточно рассудителен для понимания того, что для него полезно и что вредно. Раз мы познали эти основные положения, то наша обдуманность и добрая воля помогут нам прийти, в наших изысканиях о наилучшем законодательстве, к таким же хорошо обоснованным, строго доказанным и неоспоримым выводам, к каким, в своей области, приходят математики. Так, Кондорсе ставил своей задачей дедуктивно выводить все требования здравой морали из простой основной истины, что человек—существо «чувствующее» и «одаренное рассудком».

Нужно ли говорить, что Кондорсе ошибался? Если «философы» в этой отрасли исследований и пришли к неоспоримым, хотя и *чрезвычайно относительной* ценности выводам, то только потому, что, сами того не замечая, они беспрестанно покидали свой абстрактный исходный пункт—«человеческую природу вообще»—и становились на точку зрения *более или менее идеализированной природы представителя тогдашнего третьего сословия*. Этот человек «чувствовал» и «мыслил» вполне определенным образом, в точном соответствии с окружающей его социальной средой. В его «природе» было отстаивать буржуазную собственность, представительный образ правления, свободу торговли («laissez faire, laissez passer»—беспрестанно кричала «природа» этого человека) и т. д.

В действительности французские философы всегда имели в виду видимые им политические и экономические потребности третьего сословия. Это был их фактический критерий. Но они пользовались им *бессознательно* и подходили к нему лишь обходным путем абстракции. Их сознательные приемы всегда сводились к абстрактным размышлениям о «человеческой природе» и о тех социальных и политических учреждениях, которые наиболее соответствовали природе.

Такие же приемы были вначале свойственны и социалистам. Морелли, дитя восемнадцатого века, «наперед предвидя бесконечную массу пустых возражений», выдвигает в качестве неоспоримого принципа, что «в моральной сфере *природа всегда одна, постоянна, неизменна*... что ее законы не меняются» и что «все, что можно было бы привести относительно различия нравов диких и цивилизованных народов, все-таки не в состоянии доказать, что сама эта *природа меняется*». В лучшем случае это могло бы только доказать, что «некоторые народы, вследствие чисто внешних случайностей, отступили от требований «природы»; другие подчинялись им в силу простой привычки; третьи, наконец, подчинялись ей через посредство измышленных законов, не всегда противоречивших этой природе. Короче говоря, «*человек изменяет правде, но она никогда не исчезает*» *).

Фурье опирается на анализ человеческих страстей. Роберту Оуэну исходным пунктом служат известные размышления относительно образования человеческого характера. Сен-Симон, который уже обладает широким пониманием исторического *развития* человечества, то и дело опять возвращается к человеческой природе, чтобы уяснить себе законы этого развития; а сен-симонисты заявляют, что их философия «основывается на новом понимании человеческой природы». Социалисты разных толков могли сколько угодно расходиться в понимании сущности человеческой природы. Но все они, без исключения, убеждены были в том, что социальная наука не имеет и *не может* иметь другой основы, кроме правильного понимания именно этой природы. Они в этом отношении нисколько не отличаются от материалистов восемнадцатого века. «Человеческая природа»—это их неизменный критерий, как при критике существующего общества, так и при поисках совершенного общественного строя, каким он должен быть.

Морелли, Фурье, Сен-Симона, Оуэна мы считаем теперь социалистами-*утопистами*. И так как мы уже знакомы с общим для них основным взглядом, то мы можем теперь отдать себе ясный отчет,—в чем, именно, заключается утопическая точка зрения. Это будет тем полезнее, что противники социализма очень часто употребляют слово «уто-

*) См. «Code de la Nature», Paris 1841 (Edition Villegardelle), p. 66, note.

пический», не связывая с ним никакого, хотя бы приблизительно точного, смысла.

Утопистом является всякий, кто задумает совершенную социальную организацию, исходя при этом из какого-нибудь абстрактного принципа.

Абстрактный принцип, который лег в основу теоретических изысканий утопистов,—это понятие о «человеческой природе». Бывали, впрочем, утописты, которые пользовались этим принципом *косвенно*—при помощи каких-нибудь *производных* от него понятий. Можно, например, при построении «совершенного законодательства» или идеальной организации общества, брать исходным пунктом понятие общих «*прав человека*». Но каждому ясно, что это понятие в последнем счете вытекает из понятия о «человеческой природе».

Точно так же до очевидности ясно, что можно быть *утопистом, не будучи социалистом*. *Буржуазные* тенденции французских материалистов восемнадцатого века с особенной силой выплывают наружу в их рассуждениях о совершенном законодательстве. Но это нисколько не уничтожает утопического характера этих изысканий. Мы уже видели, что приемы утопических социалистов ничем не отличаются от приемов Гельвециев или Гольбахов, — этих передовых борцов революционной французской буржуазии.

Более того. Можно относиться отрицательно ко всякой «музыке будущего», можно быть убежденным в том, что *существующий* социальный мир, в котором мы имеем счастье жить, *лучший* из всех возможных социальных миров,—и несмотря на все это, можно «строение и жизнь социального организма» рассматривать *с той самой точки зрения*, с которой их рассматривали утописты.

Это кажется парадоксальным, а между тем, нет ничего вернее этого. Вот пример.

В 1753 г. появилось произведение Морелли, которое носит следующее заглавие: «Les Iles flottantes ou la Basiliade du célèbre Pilpaï, traduit de l'indien». Вот несколько аргументов, при помощи которых один из тогдашних журналов («La bibliothèque impartia'e») («Беспристрастная библиотека») критиковал коммунистические идеи автора:

> «Достаточно известно, какое огромное различие существует между самыми прекрасными умозрениями этого рода и возможностью их применения. В теории мы берем человека таким, каким он представляется нашему воображению,—послушно приспособляющимся к каким угодно учреждениям, с одинаковым рвением защищающим взгляды и виды законодателя. Но как только мы захотим перенестись в мир действительный, нам придется иметь дело и с действительными людьми, т.-е. с людьми тупыми, невежественными, ленивыми или охваченными какими-нибудь сильными страстями. Проект о *равенстве*—это один из тех проектов, которые больше всего *противоречат характеру* человека. Люди *рождаются* либо для *господства*, либо для *повиновения*. Среднее состояние для них тягостно».

Люди рождаются либо для господства, либо для повиновения. Нет, следовательно, ничего удивительного, если мы в обществе встречаем господ и рабов; этого требует человеческая «природа». «Беспристрастная библиотека» могла сколько угодно отвергать «коммунистические умозрения», но точка зрения, с которой она рассматривала социальные явления, точка зрения «человеческой природы», у нее была та же, что и у *утописта* Морелли.

Пусть нам не говорят, что этот журнал, вероятно, был неискренен в своей аргументации, и что он только потому ссылался на человеческую «природу», что хотел привести кое-что в пользу эксплоататоров, в пользу тех, кто «господствует». Была ли «Беспристрастная библиотека» искренна или лицемерна,—факт тот, что в своей критике теории Морелли она стала на точку зрения, на которой стояли все писатели тогдашнего времени. Все они ссылались на так или иначе понимаемую человеческую природу,—все, за исключением отсталых писателей, которые—в качестве живых теней отжившего прошлого—все еще продолжали ссылаться на волю «*Божию*».

И мы уже знаем, что эта точка зрения «человеческой природы» была унаследована и девятнадцатым веком: у утопических социалистов не было другой точки зрения.

Пример Сен-Симона—этого гениального человека с энциклопедическими познаниями—может быть, лучше всяких других примеров показывает, насколько эта точка зрения была ограничена и недостаточна, и в какой безнадежно запутанный лабиринт противоречий она заводила всех тех, кто ею пользовался. Сен-Симон говорил нам с самым глубоким убеждением: «Будущее составляется из последних членов ряда, первые члены которого образуют прошлое. Если хорошо изучить первые члены ряда, то легко определить следующие члены; следовательно, *из точных наблюдений над прошлым легко вывести будущее*». Это до такой степени верно, что в первую минуту невольно может возникнуть вопрос: почему же причисляют к утопистам человека, имеющего такое ясное представление о связи, существующей между различными фазами исторического развития? Но стоит только поближе

познакомиться с историческими идеями Сен-Симона, чтобы убедиться в том, что его не без основания назвали утопистом. Будущее определяется прошлым; историческое развитие человечества есть закономерный эволюционный процесс. Но какова та *пружина*, какова та *сила*, которая приводит в движение человеческий род, которая ведет его от одной стадии развития к другой? В чем может заключаться эта сила? Где ее нужно искать?—Тут-то Сен-Симон становится на точку зрения всех утопистов, на точку зрения «человеческой природы». Так, по его мнению, основной причиной французской революции была перемена сил, происшедшая как в материальной, так и духовной области. Для того, чтобы революция привела к хорошим результатам, необходимо было бы «силы, получившие перевес, приложить к непосредственной политической деятельности». Другими словами, необходимо было бы поручить «промышленникам» и «ученым» выработать такую политическую систему, которая соответствовала бы новому социальному порядку. Этого не случилось, а потому революция, которая *началась* хорошо, почти непосредственно за этим была направлена по *ложному пути: «юристы»* и *«метафизики»* стали господами положения. Как об'яснить это историческое явление? «В природе человека,—отвечает наш Сен-Симон,—переходить от одной доктрины к другой не иначе, как через посредство связующего их звена. Этот закон, в особенности, применим к различным политическим системам, через которые естественный ход цивилизации заставляет проходить человеческий род. Так, необходимость создала в *«индустрии»* элемент новой материальной силы, которой предназначено заменить силу *«военную»*, а в позитивных *«науках»*—элемент новой духовной силы, призванной стать на место прежней *теологической*. Эта же самая необходимость должна была (еще раньше, чем перемена в состоянии общества стала особенно замечаться) развить и воплотить в действительность материальную и духовную силу ублюдочного, преходящего характера,—силу, единственная роль которой заключалась в том, чтобы вызвать переход от одной социальной системы к другой» *).

Мы видим, таким образом, что «исторические ряды» Сен-Симона в сущности ничего не об'ясняют. Они даже сами нуждаются в пояснениях, а для этого необходимо прибегнуть к неизбежной «человеческой природе»: французская революция пошла, мол, по ложному пути потому, что человеческая природа обладает такими-то и такими-то свойствами *).

*) «Du Système industriel», par Henri Saint-Simon, Paris, MDCCCXXI (1821), p. 52.

Одно из двух, либо человеческая природа неизменна—как это предполагал Морелли,—и тогда *она ничего не об'ясняет в истории*, представляющей нам беспрерывные изменения, совершающиеся в отношениях людей между собою; либо она сама *изменяется* в зависимости от обстоятельств, при которых людям приходится жить,—и тогда она является не *причиной* исторического развития, а его *следствием*. Французские материалисты прекрасно знали, что человек есть продукт окружающей его социальной среды. «Человек всецело—воспитание», говорит Гельвеций. Казалось бы, что, согласно этому, Гельвецию следовало бы оставить точку зрения «человеческой природы», чтобы изучить законы развития *среды*, формирующей человеческую природу тем, что дает социальному человеку то или иное «воспитание». И Гельвеций, действительно, кое-что сделал в этом направлении. Но ни ему, ни его современникам, ни социалистам первой половины девятнадцатого века, ни кому бы то ни было из представителей науки той же эпохи не удалось открыть новое миропонимание, которое сделало бы возможным изучение процесса развития социальной среды—этой истинной причины исторического «воспитания» человека — и тех перемен, которые происходят в его «природе». Таким образом, приходилось опять возвращаться именно к человеческой природе, как к единственному исходному пункту, который, казалось, предлагал хоть сколько-нибудь прочное основание для научных исследований. Но так как человеческая природа, с своей стороны, все-таки меняется, то, повидимому, неизбежно, пришлось *отвлечься от этих изменений* и искать постоянных, *основных* свойств, которые сохраняются, несмотря на всевозможные изменения второстепенных (несущественных) особенностей. Таким образом, в конце-концов, приходили к тощей абстракции, вроде следующей обстракции «философов»: «человек есть чувствующее и мыслящее существо». Эта формула казалась тем более ценной находкой, что она давала полнейшую

*) Точно так же смена «критических» и «органических» периодов в истории об'ясняется в последнем счете особенностями «человеческой природы». Ясно, что подобная точка зрения должна была бы породить массу *фантастических аналогий* между индивидуальным организмом и организмом социальным. *Контизм (буржуазная карикатура сен-симонизма)* изобилует такого рода аналогиями. Сам Сен-Симон ничего не имел против них. Можно для примера указать на его «Литературные, философские и промышленные взгляды», Париж. 1825.

свободу всем беспочвенным предположениям и всем фантастическим выводам.

Какой-нибудь *Гизо* (берем для примера философа—государственного человека первой половины XIX в.) не чувствовал никакой потребности отыскивать наилучшую социальную организацию или самое совершенное законодательство: он был вполне доволен наличным порядком вещей. Но самым сильным аргументом, какой он только мог бы выставить в защиту этого порядка против нападок недовольных им, была бы опять-таки все та же «человеческая природа». Она,—сказал бы Гизо,—делает *невозможной* какую бы то ни было существенную *перемену* в социальном и политическом устройстве Франции. А сами недовольные, в свою очередь, осуждали это устройство, пользуясь той же абстракцией. И именно потому, что эта абстракция была лишена какого бы то ни было содержания; именно потому, что она, как мы уже сказали, предоставляет полнейший простор всевозможным беспочвенным предположениям и любым вытекающим из них логическим выводам,—именно поэтому «научная» задача реформаторов приняла вид геометрической проблемы: дана такая-то «природа», требуется найти такую общественную структуру, которая наиболее соответствовало бы ей. Так, например, Морелли горько жалуется на то, что наши «старые учителя» не позаботились о том, чтобы поставить и разрешить замечательную «проблему»: *найти такой общественный строй, при котором почти невозможно было бы, чтобы человек был испорчен и зол, или при котором зло сводилось бы, по крайней мере, к минимуму*». Мы уже видели, что, по мнению Морелли, человеческая природа «*всегда одна, постоянна, неизменна*».

Мы знаем, таким образом, в чем заключается «научный» метод утопистов. Чтобы совершенно с ним покончить, напомним читателю следующее. Так как «человеческая природа» является чрезвычайно тощей и мало питательной абстракцией, то на деле утописты не столько ссылались на человеческую природу вообще, сколько на идеализированную природу людей *своего времени*, людей, принадлежавших к тому социальному *классу*, тенденции которого они сами и отстаивали. Поэтому, социальная *действительность неизбежно обнаруживалась* в произведениях утопистов, но они сами не отдавали себе в этом отчета. Они видели эту действительность сквозь призму абстракции,—очень тощей, но тем не менее мало прозрачной.

II.

Точка зрения научного социализма.

Великие немецкие идеалистические философы, *Шеллинги* и *Гегели*, прекрасно поняли недостаточность точки зрения «человеческой природы». В своей «философии истории» Гегель достаточно высмеивает буржуазных утопистов, которые фантазируют и бредят «совершенным» общественным строем. Немецкий идеализм рассматривает *историю*, как строго *закономерный процесс* и ищет пружину исторического движения *вне* «человеческой природы».

Это был крупный шаг вперед по направлению к действительности. Но идеалисты видели эту пружину в «*абсолютной идее*», в «мировом духе». А так как их абсолютная идея была не чем иным, как абстракцией *нашего процесса мышления*, то оказалось, что в сущности они в свои философско-исторические умозрения опять вводили старую подругу философов-материалистов—человеческую природу, но так задрапированную, чтобы она достойна была почтенного и строгого общества немецких мыслителей. Гони природу в дверь, она войдет в окно! Несмотря на все услуги, оказанные немецкими идеалистами социальной науке, ее великая, основная проблема, осталась столь же мало разрешенной, как и в век французских материалистов.

Где и в чем та таинственная сила, которая приводит в движение историю человечества? *Об этом ничего не знали*. В этой области было сделано несколько более или менее верных, более или менее глубоких наблюдений,—между ними несколько очень верных и очень глубоких,—но все же это были несвязанные между собой частичные наблюдения.

Если социальная наука в конце концов все-таки выбралась из этого тупого переулка, то она этим обязана *Карлу Марксу*.

По мнению Маркса, правовые отношения, как и государственные формы, не могут быть об'яснены ни сами по себе, ни как продукт так называемого всеобщего развития человеческого духа. Они коренятся в тех материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов восемнадцатого века, об'единил в общем термине «гражданское общество». Это почти то же самое, что подразумевал *Гизо*, когда он в своих исторических исследованиях говорил, что политические устройства коренятся в «имущественных отношениях». Но в то время, как для Гизо эти «имущественные отношения» оставались тайной, которую он напрасно пытался разгадать при помощи размышлений о «человеческой природе», для Маркса эти «условия» не

содержат в себе ничего таинственного. Они определяются состоянием *производительных сил,* которыми располагает каждое данное общество; «анатомию буржуазного общества следует искать в политической *экономии*». Предоставим самому Марксу формулировать свое историческое миросозерцание:

> «В *общественном производстве* необходимых для их существования продуктов люди вступают в определенные, неизбежные, от *их воли* независящие отношения—в *производственные отношения,* соответствующие определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений образует *экономическую структуру* общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные *формы общественного сознания.* Способ производства *материальных средств* существования обусловливает *социальный, политический* и *духовный* процесс вообще. *Не сознание людей определяет форму их бытия, а, наоборот, их общественное бытие определяет форму их сознания.*
>
> На известной ступени своего развития материальные производительные *силы* общества приходят в противоречие с существующими производственными *отношениями,* или со служащими последним лишь юридическим выражением *отношениями собственности,* в недрах которых эти производительные силы развивались. Из форм развития производительных сил отношения эти превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» *).

Это вполне материалистическое понимание истории составляет одно из величайших открытий нашего богатого научными открытиями века. Только благодаря этому открытию, общественная наука вышла наконец и навсегда из того рокового ложного круга, в котором она до тех пор вращалась; только благодаря ему, эта наука имеет теперь под собой не менее прочное основание, чем естественные науки. Переворот, произведенный Марксом в социальной науке, можно сравнить с переворотом, произведенным Коперником в астрономии. В самом деле, до Коперника все были убеждены в том, что земля стоит на одном месте, в то время как солнце вращается вокруг нее. Гениальный поляк доказал, что происходит обратное. Точно так же до Маркса исходным пунктом социальной науки служила «человеческая *природа*», ею пытались об'-

*) «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Berlin 1859, Vorwort, S. IV—V.

яснить историческое движение человечества. Прямую противоположность этой точке зрения представляет собой точка зрения гениального немца: *человек, поддерживая свое существование, действует на природу вне его и тем самым изменяет и свою собственную природу.* Воздействие человека на внешнюю природу предполагает существование определенных орудий производства, определенных производственных отношений. *В зависимости от характера наличных средств производства* люди вступают между собой, в самом процессе производства (ибо это—общественный процесс), в те или иные взаимные отношения, а *в зависимости от отношений в общественном процессе производства видоизменяются их привычки,* их чувства, их склонности, их манера мыслить и действовать,—короче, вся их природа. Таким образом, не историческое движение об'ясняется человеческой природой, а, наоборот, человеческая природа видоизменяется под влиянием исторического движения.

А если это так, то какую цену могут иметь теперь более или менее глубокомысленные изыскания относительно «совершенного законодательства», относительно «лучшей из всех возможных социальных организаций»? Никакой, буквально никакой! Они могут только обнаруживать недостаток научной подготовки у людей, занимающихся ими. Время подобных изысканий прошло безвозвратно.

Одновременно с исчезновением этой устарелой точки зрения «человеческой природы» должны были исчезнуть и утопии всех цветов и оттенков. Великая революционная партия наших дней, международная социал-демократия, не опирается ни на «новое понимание» человеческой природы, ни на какой бы то ни было абстрактный принцип, а на «устанавливаемую строго естественно-научным путем» *экономическую необходимость.* Это, именно, и составляет силу социал-демократической партии; это, именно, и делает ее столь же непобедимой, как непобедима и сама экономическая необходимость.

> «Средства производства и сообщения, которые послужили основанием для развития буржуазии, зародились еще в феодальном обществе. На известной ступени развития этих средств производства и сообщения условия, среди которых совершались производство и обмен в феодальном обществе, феодальная организация земледелия и промышленности, словом, феодальные имущественные отношения оказались несоответствующими вызванным к жизни производительным силам. Они мешали производству, а не способствовали ему. Они превратились в столь же многочисленные оковы. Они должны были быть разорваны, и они были разорваны.

Место их заняла свободная конкуренция с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством буржуазии.

На наших глазах совершается подобное же движение. Буржуазные условия производства и сообщения, буржуазные имущественные отношения, современное буржуазное общество, как бы волшебством создавшее такие могущественные средства сообщения, походит на волшебника, который не в состоянии справиться с вызванными его заклинаниями подземными силами. Вот уже несколько десятилетий история промышленности и торговли представляет собой историю возмущения современных производительных сил против современной организации производства, против имущественных отношений, этих условий жизни для буржуазии и ее государства. Достаточно назвать торговые кризисы, которые, возвращаясь периодически, все более и более угрожают существованию всего буржуазного общества.

Оружие, которым буржуазия на смерть поразила феодализм, направляется теперь против самой буржуазии» *).

Буржуазия уничтожила *феодальные* отношения собственности; пролетариат положит конец существованию *буржуазных* отношений собственности. Борьба, которая ведется между пролетариатом и буржуазией,—*борьба непримиримая,* борьба не на жизнь, а на смерть, борьба в такой же мере неизбежная, как борьба, которая в свое время велась между буржуазией и привилегированными сословиями. *Но всякая классовая борьба есть в то же время и борьба политическая.* Для того, чтобы уничтожить феодальное общество, буржуазии необходимо было захватить в свои руки политическую власть. Пролетариату придется сделать то же самое для того, чтобы похоронить капиталистическое общество. Таким образом, его политическая задача заранее определяется самой силой обстоятельств, а не теми или иными абстрактными соображениями.

Замечательный факт: только *со времени Маркса* социализм стал на точку зрения *классовой борьбы.* Утопические социалисты не имели об этой классовой борьбе хотя бы сколько-нибудь ясного представления. В этом отношении они стояли *ниже* современных им *теоретиков буржуазии,* которые, по крайней мере, хорошо понимали историческое значение *борьбы* третьего сословия против дворянства.

Если каждое «новое понимание» человеческой природы давало,

*) Manifest der kommunistischen Partei, I. Kapitel.

казалось, очень ясные указания относительно организации «будущего строя», то научный социализм чрезвычайно скуп на подобного рода детальные пророчества. Форма социального здания зависит от состояния производительных сил общества. Каково будет это состояние в тот момент, когда власть попадет в руки пролетариата? Мы этого не знаем. Единственное, что мы теперь знаем, это то, что производительные силы, которые уже теперь находятся к услугам цивилизованного человечества, властно требуют *обобществления средств производства и его планомерной организации.* Этого вполне достаточно для того, чтобы в нашей борьбе с «реакционной массой» не уклоняться от верного пути. «Следовательно, коммунисты в практическом отношении представляют собой самую решительную, самую передовую часть рабочих партий всех стран. В теоретическом же отношении они имеют перед всей остальной массой пролетарита то преимущество, что заранее предвидят условия, ход и общие результаты пролетарского движения». Эти слова, написанные в 1848 году, неточны только в единственном отношении: тут говорится о «рабочих партиях», как о партиях, стоящих в стороне от коммунистической партии. В настоящее же время нет ни одной *рабочей партии,* которая не следовала бы более или менее близко «научному социализму», или, как выражается «Манифест», идеям *коммунизма.*

Повторяем, точкой зрения утопических социалистов, как и точкой зрения всей социальной науки тогдашней эпохи, служила «человеческая природа» или какой-нибудь другой вытекающий из нее абстрактный принцип. Исходным пунктом социальной науки и социализма наших дней служит *экономическая действительность и присущие ее развитию законы.*

Легко себе поэтому представить, какое впечатление производят на современных социалистов аргументы теоретиков буржуазии, беспрестанно повторяющих старую песню о несовместимости «человеческой природы» с коммунизмом. Это все равно, как если бы вздумали бороться с дарвинистами при помощи оружия из научного арсенала Кювье! И что особенно заслуживает нашего внимания, так это то, что этой старой песней не пренебрегают даже «эволюционисты», вроде Герберта Спенсера! Но, конечно, «самая красивая девушка в мире не может дать больше того, что она имеет»! *)

*) «Не только социалисты,—говорит Спенсер,—но даже так называемые либералы (речь идет об английских либералах), прокладывающие первым дорогу, полагают, что при известном умении можно, с помощью хороших учреждений, исправить людские недостатки. Но это иллюзия. Каков бы ни был общественный организм, порочная природа граждан всегда будет да-

Посмотрим теперь, какая связь может существовать между современным социализмом и тем, что принято называть анархизмом.

III.

Историческое развитие анархической доктрины.

Точка зрения анархизма.

> «Далее, меня упрекали в том, будто я—отец анархии. Мне оказывают слишком много чести. Ее отцом является бессмертный *Прудон*, который впервые изложил эту теорию в 1848 г.».

Так говорил Петр Крапоткин в своей защитительной речи перед лионским уголовным судом (январский процесс 1883 г.). Как это часто случается с моим любезным соотечественником, он и на этот раз не совсем верен действительности.

Впервые Прудон говорит об анархии в своей часто цитируемой книге—«Что такое собственность, или анализ принципа права и правительств», первое издание которой появилось в 1840 г. Правда, он там не особенно много «изложил»: он посвятил анархистской теории всего лишь несколько страниц *). Но прежде еще, чем он взялся излагать анархистскую теорию в 1848 году, эта работа была уже выполнена немцем Максом Штирнером (псевдоним Каспара Шмидта) в 1845 г., в его книге «*Der Einzige und sein Eigenthum*». Макс Штирнер имеет, поэтому, достаточно обоснованное право на титул «отца анархии». «Бессмертная» ли это заслуга или нет,—но, именно, он *впервые* «*изложил*» эту теорию.

Макс Штирнер.

Анархистскую теорию Макса Штирнера называли каррикатурой на философию религии Людвига Фейербаха **).

Некоторые даже доходили до того, что высказывали предположение, будто единственным мотивом, побудившим Штирнера написать

вать себя чувствовать дурными своими действиями. Нет такой политической алхимии, при помощи которой возможно было бы превратить свинцовые пистинкты в золотые нравы». «L'Individu contre l'Etat» par Herbert Spencer, traduit de l'Anglais par J. Gerschel, Paris 1888, p. 64.

*) См. стр. 295—305 наш. 1841 г.

**) Так называет ее, напр., Иберверг в своей книге «Основные черты истории философии». III ч. Философия нового времени.

свою книгу, было, именно, желание выставить эту философию в смешном виде.

Но это предположение лишено всякого основания. Штирнер вовсе не шутил при изложении своей теории. Он был глубоко убежденным ее сторонником, хотя и обнаружил вполне естественную для тогдашнего бурного времени тенденцию—перещеголять Фейербаха радикализмом своих выводов.

По мнению *Фейербаха*—то, что люди называют *божеством*, есть лишь продукт их воображения, продукт психологического заблуждения. Не божество создало человека, а, напротив, человек создает божество по образу и подобию своему. Когда человек молится Богу, то он молится *своей собственной сущности*. Бог—это лишь вымысел, но очень вредный вымысел. Христианский Бог почитается, как воплощение любви, как воплощение сострадания к бедному страждущему человечеству. Но несмотря на это, или скорее именно поэтому, каждый достойный названия христианина человек ненавидит атеистов, которые ему представляются живым отрицанием всякой любви и всякого сострадания,—и он *должен* их ненавидеть. Так-то Бог любви становится Богом ненависти, Богом преследования: продукт воображения человека становится действительной причиной его страданий. И именно поэтому необходимо положить конец этой фантасмагории. Так как человек, молясь Богу, молится своей собственной сущности, то необходимо, наконец, раз навсегда сорвать и отбросить мистическое покрывало, в которое облекалась эта сущность. Любовь к человечеству не должна воплощаться вне человечества. «*Для человека высшим существом является сам человек*».

Такова основная мысль Фейербаха.

Макс Штирнер во всем с ним согласен. Но он хочет сделать из его теории последние и самые радикальные выводы. Он рассуждает так:

> «Божество есть не что иное, как продукт воображения—призрак, привидение. Согласен! Но что такое само человечество, любовь к которому вы проповедуете? Не является ли и оно, в свою очередь, одним лишь *привидением, абстрактным существом,* мысленной вещью? Где оно существует, ваше человечество, если не в головах людей, не в головах отдельных индивидов? *А потому нет ничего реального, помимо индивидуума,* с его потребностями, стремлениями и волей. А если это так, то как вы можете требовать, чтобы *индивидуум, это реальное существо,* жертвовало собой во имя счастья «человека» вообще—*существа абстрактного?* Напрасно вы ополчаетесь против старого Бога;

вы сами все еще придерживаетесь религиозной точки зрения, и эмансипация, которую вы хотите нам дать, всецело проникнута теологической мудростью. Конечно,—высшим существом является сущность человека, но именно потому, что это его *сущность,* а не он сам, совершенно безразлично, видим ли мы ее вне его и рассматриваем, как «Бога», или находим ее внутри его и называем «сущностью человека» или просто «человеком». «Я»—ни Бог, ни «человек» вообще, ни высшее существо, ни моя собственная сущность, и потому совершенно безразлично, мыслю ли я сущность внутри себя или вне себя. Да и на самом деле, мы всегда мыслим высшее существо одновременно в двоякой потустороности, внутренней и внешней: «Дух Божий» по христианскому миросозерцанию есть вместе с тем и «Наш дух» и «живет в Нас». Он живет на небе и живет в Нас; мы, жалкие создания, являемся лишь его обителью». Но когда Фейербах разрушает к тому же его небесную обитель и заставляет его со всем своим скарбом переселиться в нас, в его земную обитель, то в последней становится слишком тесно» *).

Чтобы избежать такого «переполнения», чтобы не отдавать себя во власть какого-нибудь «привидения», чтобы стать, наконец, обеими ногами на твердую реальную почву,—для всего этого в нашем распоряжении имеется лишь одно средство: *взять за исходный пункт* единственное реальное существо, наше собственное «Я».

«Долой, поэтому, все то, что не есть целиком мое собственное дело! Вы думаете, что мое дело должно быть, по меньшей мере, «добрым делом»? Но что добро, что зло! Я ведь сам—мое собственное дело, а я—ни добрый, ни злой. Добро, как и зло, для меня лишены всякого смысла. Божеское—это дело Божье; человеческое—дело «человека». Мое дело не есть ни Божье, ни человеческое, ни истинное, ни доброе, ни правое, ни свободное и т. д., а исключительно *мое*. Оно не всеобщее,—оно единственное, как един я. Для меня нет ничего выше меня!» **)

Религия, совесть, мораль, право, закон, семья, государство,—каждое из этих понятий есть иго, которое на меня налагают во имя какой-то абстракции; все это—деспоты, против которых «Я», как безграничный хозяин над своей сознанной индивидуальностью, борюсь всеми имеющимися в моем распоряжении средствами. Ваша *мораль,*—не только мораль буржуазных филистеров, но даже и самая возвышенная человеческая мораль,—есть не что иное, как *религия,* заменившая одно *высшее существо* другим. Ваше *право,* которое, по вашему мнению, рождается вместе с человеком, есть не что иное, как *призрак*. И если вы его чтите, то вы не ушли дальше гомеровских героев, приходивших в ужас каждый раз, когда они замечали, что в рядах неприятеля сражается какой-нибудь бог. Право—это сила.

*) «Der Einzige und sein Eigenthum», zweite Auflage, Leipzig 1882, S. 35—36.
**) «Der Einzige», etc. S. 7—8.

«У кого сила,—у того и право; нет у вас силы,—нет и права. Неужели так трудно постичь эту мудрость? *) Меня хотят уговорить пожертвовать своими интересами ради интересов *государства*. Я, напротив того, об'являю войну не на жизнь, а на смерть всякому государству, даже самому демократическому... Всякое государство есть *деспотия,* независимо от того, является ли этим деспотом один человек или многие, или же, как это себе представляют в республике, господами являются все, т.-е. когда все друг для друга деспоты. Так оно и бывает каждый раз, когда выраженная воля какого-нибудь *народного собрания* становится *законом* для отдельной личности,—законом, которому эта отдельная личность *обязана повиноваться*. Если даже представить себе, что народная воля, действительно, представляет волю всех отдельных личностей, что мы, действительно, получили бы совершенную «коллективную волю»,—то от этого дело все-таки не изменилось бы. Не был ли бы я *связан* сегодня и завтра моим вчерашним мнением? А если бы это было так, то это означало бы, что моя воля *окаменела*. Жалкое *постоянство!* Мое собственное творение, а именно, определенное выражение моей воли, стало бы моим повелителем. Мне же, творцу, были бы поставлены преграды, которые мешали бы дальнейшему свободному проявлению моей воли. Только потому, что я вчера был глупцом, я должен им оставаться на всю жизнь. Таким образом, в государственной жизни я, в лучшем случае (можно было бы также сказать—в худшем случае), являюсь собственным рабом. Только потому, что я вчера был человеком с волей,—я сегодня должен быть человеком без воли; вчера свободен,—сегодня раб» **).

Тут сторонник «народовластия» мог бы возразить Штирнеру, что его «Я» заходит слишком далеко в своем стремлении довести до *абсурда*

*) «Der Einzige», etc. S. 196—197.
**) «Der Einzige», etc. S. 200.

демократическую свободу. Так как дурной закон может быть *отменен*, как только этого желает большинство граждан, то не всегда необходимо ему подчиняться в продолжение всей жизни. Впрочем, это только незначительная деталь, и Штирнер на это ответил бы, что именно необходимость аппелировать к мнению большинства доказывает, что наше «Я» не есть господин своих действий.

Выводы нашего писателя *неопровержимы* по той простой причине, что сказать: я не признаю ничего, кроме себя самого, значит сказать: я чувствую себя *подавленным всяким* учреждением, навязывающим мне какую бы то ни было обязанность. *Это простая тавтология.*

До очевидности ясно, что никакое «Я» не может существовать *само по себе*. Штирнер это прекрасно понимает, и это заставляет его проповедывать свои «*союзы эгоистов*», т.-е. свободные союзы, в которые каждое «Я» *вступает* и в которых оно *пребывает* лишь *до тех пор*, пока это совпадает с *его* интересами.

Здесь мы на минуту остановимся.

Перед нами «*эгоистическая*» система par excellence. В истории человеческой мысли это, быть может, единственный в своем роде продукт. *Французских материалистов* XVIII в. обвиняли в том, что они будто бы проповедывали эгоизм. Это крайне ошибочно. Французские материалисты постоянно проповедовали «*добродетель*», и делали они это с таким необузданным усердием, что Гримм, не без основания, насмехался над их «капуцинадой». Вопрос об эгоизме имел для них значение двойной «проблемы»:

1. *Человек состоит целиком из ощущений,*—таково было основное положение всех их суждений о человеке. Сама его природа заставляет его *избегать страданий и искать удовольствий*. Чем же об'яснить тот факт, что люди способны, во имя торжества какой-нибудь *идеи*, т.-е. в последнем счете для того, чтобы доставить своим *ближним* приятные ощущения, переносить величайшие страдания?

2. Так как человек—только ощущения, то он—будучи поставлен в общественную среду, где интересы *отдельного* индивидуума *противоречат интересам других*—причинял бы *вред* своим *ближним*. Каково же то законодательство, которое оказалось бы способным согласовать *всеобщее благо* с благом *индивидуума?—В постановке и разрешении этой двойной проблемы* и заключается все значение того, что мы называем материалистической этикой восемнадцатого века.

Макс Штирнер преследует прямо противоположную цель. Он смеется над «добродетелью» и далек от мысли—желать ее торжества, но считает разумными существами лишь эгоистов, для которых ничего, кроме их собственного «Я», не существует. Повторяем, он теоритик эгоизма par excellence.

Добрые буржуа, уши которых так же непорочны и добродетельны, как жестоки их сердца, те самые, которые сами пьют вино, а другим советуют пить воду,—эти буржуа пришли в крайнее негодование от безнравственности Штирнера. «Это ведь полное разрушение мира!» восклицали они. Но, как это всегда случается, *добродетель филистеров* и на этот раз *оказалась очень слабою в аргументировании*. «Истинная заслуга Макса Штирнера,—писал француз St. René Taillandier,—заключается в том, что он сказал последнее слово молодой *атеистической* школы» (т.-е. левого крыла гегельянской школы. *Г. П.*). Филистеры других стран были того же мнения относительно заслуги смелого писателя. *Но с точки зрения современного социализма эта заслуга выступает совершенно в ином свете.*

Во-первых, неоспоримая заслуга Штирнера заключается в том, что он открыто и энергично выступил против кисло-сладкой сентиментальности *буржуазных реформаторов* и многих *утопических социалистов*, полагавших, что *эмансипация* пролетариата явится следствием «добродетельного образа действий» «самоотверженных» представителей различных классов народа и, раньше всего, класса имущих. Штирнер прекрасно понимает, чего можно ожидать от «духа самопожертвования» эксплоататоров. «Богатые»—жестоки, но «бедные» (это—терминология нашего автора)—неправы, когда они жалуются на эту жестокость: ибо не *богатые* создают *нищету* бедных, а *бедные* создают *богатство* богатых. Пусть они поэтому ропщут на самих себя, если находятся в угнетенном положении. Для того, чтобы его изменить, они должны только выступить *против* богатых, и как только они этого серьезно захотят, сила перейдет на их сторону, и господству богатства настанет конец. *Спасенье в борьбе, а не в бесплодных призывах к великодушию угнетателей*. Штирнер проповедует, таким образом, *классовую борьбу* Он, разумеется, представляет себе эту борьбу в абстрактной форме—в форме борьбы известного числа «Я» против меньшего числа таких же эгоистических других «Я». И, однако, мы наталкиваемся здесь на другую заслугу Штирнера.

По мнению Тальандье, Штирнер сказал последнее слово молодой атеистической школы немецкой философии. В действительности же он сказал лишь *последнее слово идеалистической метафизики*. И в этом его неоспоримая заслуга.

В своей критике религии *Фейербах лишь на половину материалист*. Молясь Богу, человек молится своему собственному идеализированному

существу. Это верно. Но ведь религии, как и все прочее на нашей планете, возникают и исчезают. Не доказывает ли это, что человеческое *существо* не остается неизменным, что оно видоизменяется в историческом процессе развития обществ? Совершенно ясно, что в действительности так и происходит. Но если это так, то какова же причина изменения «человеческих существ»? *Фейербах ничего об этом не знает.* Для него человеческое существо такое же абстрактное понятие, как человеческая природа для французских материалистов. Это основной недостаток его критики религии. Штирнер прекрасно замечает, что эта критика страдает худосочием, и хочет укрепить ее свежим воздухом *действительности.* Он знать не хочет никаких фантомов, никаких созданий «спекулирующей мысли». *В действительности,* говорит он себе, существуют лишь индивидуум,—его мы и возьмем в качестве исходного пункта. Но какой, именно, индивидуум берет он исходным пунктом? Ивана, Петра, Якова или Сидора? Ничего подобного. Он берет *индивидуум вообще,* т.-е. *новую абстракцию,* да притом самую тощую—пресловутое «*Я*».

Штирнер наивно воображает, что он дает настоящий ответ на старый философский вопрос, служивший еще в средние века темой для споров между номиналистами и реалистами. «Никакая идея не имеет бытия,—говорит он,—ибо никакая идея неспособна принять телесную форму. Схоластический спор между реализмом и номинализмом был такого же содержания».

Увы! любой номиналист мог бы с полной убедительностью доказать нашему автору, что его «*Я*»—*такая же* «*идея*», как и всякая другая, что и оно так же *мало реально,* как знаменитая математическая «единица».

Иван, Петр, Яков, Сидор *вступают между собой в известные отношения,* которые *не* зависят от воли их «Я», а навязываются им состоянием общества, в котором они живут. Критиковать социальное устройство во имя этого «Я»—значит покинуть единственную в данном случае плодотворную точку зрения—точку зрения *общества,* законов его жизни и развития—и теряться в тумане абстракции.

Именно в этот туман и впадает номиналист Штирнер.

Я есмь Я—это его исходный пункт.

Не-Я не=*Я*—это его результат.

Я+Я+Я+и т. д.—это его социальная утопия. Это—предлагаемый к услугам социальной и политической критики чистый и беспримесный суб'ективный идеализм. Это—*самоубийство идеалистического умозрения.*

Но в том же самом году (1845 г.), когда появилась книга Штирнера «*Der Einzige und sein Eigenthum*» («Единственный и его собственность»), во Франкфурте-на-Майне вышла книга Маркса и Энгельса: «Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Konsorten». («Святое Семейство или критика критической критики, против Бруно Бауэра с товарищами»). В этом произведении идеалистическое умозрение было подвергнуто критике и разбито *диалектическим материализмом,* этой теоретической основой современного социализма. «Личность» несколько запоздала.

Мы только что сказали: Я+Я+Я+и т. д.—это социальная утопия Штирнера. Его «союз эгоистов», в действительности, является не чем иным, как суммой *абстрактных* величин. Что лежит, что может лежать в основе их союза? *Их интересы,*—отвечает Штирнер. Но чем будет, чем может быть *реальная основа* того или иного *соглашения* их интересов? Штирнер ничего об этом не говорит, да и вообще ничего сказать не может; с той высоты абстракции, на которую он поднимается, невозможно увидеть ничего определенного и ясного *в экономической действительности, этой матери и кормилице* всех «Я»—и эгоистических и альтруистических.

Что же удивительного, что ему не удалось привести в ясность даже того понятия о классовой борьбе, к которому он довольно удачно подходил? «Бедные» должны вступить в борьбу с «богатыми». Ну, а что, если первые победят? Тогда каждый из бывших бедных, точно так же, как и каждый из бывших богатых, будет вести борьбу с каждым из бывших бедных и с каждым из бывших богатых. *Тогда начнется «война всех против всех»* (это точное выражение Штирнера). И в этой колоссальной войне, в этой всеобщей борьбе статуты союза эгоистов будут каждый раз служить лишь временным перемирием. В этом не мало военного юмора, но *ни капли* того реализма, о котором мечтал Макс Штирнер.

Оставим на время «союз эгоистов». Напрасно станет утопист закрывать глаза перед экономической действительностью; *желает ли он этого или нет,* всюду будет она его преследовать с беспощадной грубостью силы природы, еще не побежденной наукой. Возвышенная сфера абстрактного «Я» не защищает Штирнера от натисков экономической действительности. Он рассказывает нам не только о своем автономном «эгоисте», но также и о его «собственности». Что же представляет собой собственность самодовлеющей «личности»?

Само собой разумеется, что Штирнер мало склонен освящать собственность в качестве «приобретенного права». «Правомерной или законной собственностью другого будет лишь та собственность, относи-

тельной которой ты согласен, что она его собственность. Как только ты перестанешь быть с этим согласен, собственность другого потеряла для тебя свою законность, и ты посмеешься над абсолютным правом на эту собственность» *). Как видим, все та же песня; для меня нет ничего выше меня. Неуважение к чужому праву собственности не мешает, однако, штирнеровскому «Я» обладать *наклонностями собственника*. Самым сильным аргументом «против коммунизма» является для него соображение, что коммунизм, уничтожая личную собственность, превращает всех членов общества в «жалких босяков». Подобного рода несправедливость возмущает Штирнера.

> «По мнению коммунистов, собственником должна быть община. Как раз наоборот. Собственником являюсь «*Я*», с другими же я вхожу только в известное соглашение на счет моей собственности. Если община не удовлетворяет моих притязаний, то Я восстаю против нее и защищаю свою собственность. Я—собственник, но собственность *не священна*. Но следует ли из этого, что я только владелец? (намек на Прудона.—*Г. П.*). Ни в коем случае. До сих пор люди были владельцами, обеспеченными во владении своими клочками только потому, что они и других оставляли во владении их клочками. Отныне же «все» принадлежит Мне; Я—собственник «всего» того, что *мне нужно,* и чем я в силах «овладеть». Социалист говорит: общество даст мне то, что мне нужно. Эгоист говорит: я беру себе то, что мне нужно. Коммунисты ведут себя, как босяки; *эгоист ведет себя, как собственник*» **).

Таким образом, собственность эгоиста, как видно, не представляется чем-то устойчивым, обеспеченным. «Эгоист» остается *собственником* лишь до тех пор, пока другие «эгоисты» не решатся его ограбить и превратить его, таким образом, в «босяка». Однако, не так страшен чорт, как его малюют. Взаимные отношения собственников-«эгоистов» Штирнер представляет себе скорее в виде *обмена*, чем в виде *грабежа*. А сила, к которой он беспрерывно аппелирует,—это *экономическая сила производителя товаров,* освободившегося от *старых пут,* навязанных ему государством или «обществом».

Устами Штирнера говорит *душа товаропроизводителя*. Если он *уничтожает государство,* то это потому, что, как ему кажется, государство *недостаточно уважает «собственность»* такого товаропроизводителя. Он требует *своей* собственности, *полной своей* собственности. Государство заставляет его платить налоги; государство позволяет себе экспроприировать его во имя общественного блага. Он жаждет jus utendi et abutendi. Государство соглашается на это; но,—прибавляет оно,—бывают злоупотребления и злоупотребления. В ответ на это Штирнер восклицает: «Держите вора!». «Я—враг государства,—говорит он,—которое вечно ставит альтернативу: оно или Я... В *государстве нет никакой собственности,* т.-е. нет собственности автономного «я», а существует лишь государственная собственность. То, что я имею, я имею лишь через государство точно так же, как только через него я—то, что я есмь. Моей частной собственностью считается лишь то, что государство мне уделяет из своей собственности, при чем оно соответственным образом сокращает собственность других граждан (лишает их собственности). Вот что такое государственная собственность». «А потому долой *государство* и *да здравствует* простая, *совершенная собственность* моего автономного «я».

Штирнер перевел на немецкий язык политическую экономию Сэя («Traité d'économie politique pratique de J. B. Say») *). И несмотря на то, что он перевел и Адама Смита, ему никогда не удавалось выйти за пределы *узкого круга понятий вульгарной буржуазной экономии*. Его «союз эгоистов» представляет собой не что иное, как утопию возмущенного мелкого буржуа. В этом смысле и можно выразиться, что *он сказал последнее слово буржуазного индивидуализма*.

Штирнеру принадлежит еще и третья заслуга: он имел мужество открыто высказывать свое мнение и довести свою индивидуалистическую теорию до самых крайних ее выводов. Он самый бесстрашный и самый последовательный из анархистов. Рядом с ним *Прудон,*—которого Кропоткин и современные его единомышленники называют отцом анархии,—является просто на просто *чопорным филистером*.

Прудон.

Если Штирнер выступает против Фейербаха, то «бессмертный» Прудон подражает *Канту*. «То, что было сделано Кантом приблизительно 60 лет тому назад для религии; то, что им было сделано еще раньше для достоверности нашего познания; то, что до него было сделано другими для счастья и для высшего благоденствия человечества,—то теперь хочет предпринять «Voix du Peuple» в области государственного управления». Так величаво провозглашает «отец анархии».

*) «Der Einzige und sein Eigenthum».
**) «Der Einzige», etc., S. 266.

*) Лейпциг 1845—1846.

Посмотрим же, как он приступает к своей задаче и каковы результаты.

По мнению Прудона, до Канта всякий верующий и всякий философ «с непреодолимой тревогой» спрашивали себя: «*Что такое Бог?*» А вслед за этим неизбежно следовал вопрос: какая лучшая из всех религий? «Если, действительно, над человечеством существует Высшее Существо, то должна также существовать известная система отношений между этим существом и человечеством. В чем же она заключается? Поиски за лучшей религией—это второй шаг, который человеческий дух делает в области разума и веры». Кант считает эти вопросы неразрешимыми. Он не спрашивал себя, что такое Бог, и что такое истинная религия, а ставил себе задачей об'яснить происхождение и развитие *идеи* Бога. «Он задался целью дать биографию этой идеи», и тут он достиг столько же превосходных, сколько и неожиданных результатов. «В Боге, как сказал Мальбранш, мы ищем и видим наш собственный идеал, чистую сущность человечества... Человеческая душа вначале познает себя не путем внутреннего созерцания своего. Я, как это полагают психологи; она видит себя вне себя самой, как будто она существо, отличное от себя самой; этот отраженный образ она и называет Богом. Таким образом, мораль, справедливость, общественный строй, законы—все это уже не навязано нашей свободной воле извне, неизвестным и непостижимым для нас высшим существом. Все это, наоборот, вещи, которые нам присущи и составляют такую же неот'емлемую принадлежность нашего существа, как наши способности, наши органы, наша плоть и кровь. В двух словах: религия и общество—это два однозначущих выражения. Человек так же священен для себя самого, как если бы он был Богом».

Вера в авторитет столь же первоначальна и всеобща, как и вера в Бога. Всюду, где существуют люди, соединяющиеся в общество, существует и власть, как начало всякого правительства. С незапамятных времен люди спрашивают себя: что такое правительственная власть, и каков лучший образ правления? Но тщетно ищут ответа на эти вопросы: существует столько же форм правления, сколько религий, столько же политических теорий, сколько философских систем. Возможно ли положить конец этим непрерывным и бесплодным пререканиям? Есть ли выход из этого тупого переулка? Безусловно! Нужно только следовать примеру Канта, нужно только поставить себе вопрос, откуда происходит эта *идея* авторитета, идея правительственной власти? Каков *законный источник политической идеи?* Будучи поставлен на такую почву, вопрос этот разрешается удивительно легко:

«Как и *религия,* каждая *данная форма правления* есть проявление общественной бессознательности («самопроизвольности»), подготовление человечества к высшему состоянию».

«То, что человечество ищет в религии, и что оно называет *Богом,*—это само человечество».

«То, чего всякий гражданин ищет в *правительстве,* и что он называет *королем, императором* или *президентом,*—это он сам, это его свобода».

«Вне человечества нет Бога: теологическое миросозерцание не имеет никакого смысла. Вне свободы нет правительства; политическое миросозерцание не имеет никакой цены».

Все это относится к «биографии» политической идеи. Раз она известна, то она выяснит нам и подлежащий нашему исследованию вопрос: каков *самый лучший* образ правления?

«Буквально говоря, самая лучшая форма правления, как и совершеннейшая религия,—это идея, заключающая в себе внутреннее противоречие. Задача заключается не в том, чтобы знать, при каких условиях мы лучше всего управлялись бы, а в том, чтобы знать, при каких условиях мы были бы наиболее свободны. Свобода, соответствующая и согласованная с порядком,—вот все, что общественная власть и политика содержит в себе реального. Как же получается эта абсолютная свобода, идентичная с порядком? Это мы узнаем из анализа различных формул, определяющих авторитет. Мы так же мало допускаем господство человека над человеком, как и эксплоатацию человека человеком *).

*) Все приведенные цитаты заимствованы нами из предисловия к третьему изданию «Confessions d'un Révolutionnaire». Это предисловие составляет выдержку из «Voix du Peuple» за ноябрь 1849 г. Только в 1849 г. Прудон начал «излагать» анархистскую теорию. В 1848 г. он «изложил» лишь свою теорию обмена, в чем можно убедиться, если прочесть шестой том его собрания сочинений (Париж, 1868). «Критика» демократии, появившаяся в марте 1848 г., не есть еще изложение анархистской теории; эта «критика» составляет часть небольшого произведения «Решение социальной задачи» («Solution du problème social»). Прудон думает решить эту задачу без помощи займов, без металлических и бумажных денег, без максимальных цен, без реквизиций, без банкротств, без аграрного закона, без налога на бедных, без национальных мастерских, без ассоциаций (!), без участия в прибылях, без государственного вмешательства, без ограничения свободы торговли и промышленности, без нарушения права собственности,—словом, прежде всего, без «*какой бы то ни было классовой борьбы*». Поистине, «бессмертная» идея.

Мы тут достигли самой вершины политической философии Прудона. Отсюда берет свое начало свежий, живительный поток его анархистских мыслей. Но прежде чем последовать по несколько извилистому руслу этого потока, нам хотелось бы еще раз оглянуться на ту тропинку, по которой мы поднялись.

Мы воображали, что идем за Кантом. Но мы ошиблись. В своей «Критике чистого разума» Кант показал, что невозможно доказать существование Бога, потому что все то, что находится вне нашего опыта, нам совершенно недоступно. В своей «Критике практического разума» Кант допустил существование Бога во имя морали. Но он *никогда* не говорил, что Бог является лишь отраженным образом нашей собственной души. То, что ему приписывает Прудон, составляет неот'емлемую собственность *Фейербаха*. Таким образом, набросав в крупных штрихах «биографию» политической идеи, мы следовали примеру Фейербаха. Прудон, следовательно, приводил нас обратно, как раз к тому самому пункту, откуда началось наше совсем не сентиментальное путешествие с Штирнером. Не беда: мы еще раз будем аргументировать, следуя за Фейербахом.

То, что человечество ищет в религии,—это само человечество. То, что гражданин ищет в форме правления,—это он сам, это свобода... Следует ли из этого, что свобода составляет сущность гражданина? Допустим, что это так; но установим в то же время несомненный факт, что французский «Кант» ничего, абсолютно ничего не сделал для того, чтобы *доказать* «*законность*» подобной «идеи». И это еще не все. Что представляет собой эта свобода, относительно которой мы допускаем, что она составляет сущность гражданина? Политическая ли это свобода, которая вполне естественным образом должна была бы быть главным предметом его забот? Ничуть не бывало. Предположить это—значило бы превратить «гражданина» в «авторитарного» демократа. В форме правления наш гражданин ищет абсолютную свободу индивидуума, «адекватную» и «идентичную» с порядком. Другими словами, сущностью «гражданина» является Прудоновская анархия. Трудно сделать более приятное открытие, но «биография» этого открытия заставляет призадуматься. Мы хотели разрушить все аргументы, говорящие в пользу *идеи* авторитета власти, подобно тому, как Кант разрушил все доказательства существования Бога. Чтобы достигнуть этой цели, мы *допустили,* что именно свободу ищет гражданин в любой форме

достойная восхищения всех миролюбивых, сентиментальных и сердитых буржуа белой, синей или красной масти!

правления, при чем мы немножко подражали Фейербаху, согласно которому человек, молясь Богу, молится своему собственному существу. Что же до самой этой свободы, то мы одним взмахом руки *превратили* ее в «абсолютную», в анархистскую свободу. Раз, два, три! Быстрота—не колдовство...

Так как «гражданин» ищет в форме правления только «абсолютную» свободу, то государство является лишь *выдумкой* («выдумкой о высшем существе, называемом государством»). Все формулы государственного правления, из-за которых народы душили друг друга в продолжение шестидесяти столетий, представляет собой не что иное, как создание нашей фантазии, и первая обязанность свободного разума—это сдать их в музеи и книгохранилища. Еще одно прекрасное открытие сделано мимоходом. Политическая история человечества «на протяжении шестидесяти столетий» имела своей движущей пружиной только «*создание человеческой фантазии*».

Утверждать, что человек, молясь Богу, молится собственной своей сущности, значит *указать источник происхождения* религии, но это еще не значит написать ее «*биографию*». Писать биографию религии—значит писать ее историю, об'ясняя при этом *развитие* этой *человеческой сущности,* которая находит в ней свое выражение. Фейербах этого не сделал и не мог сделать. Прудон, вздумавший подражать Фейербаху, был далек от того, чтобы понять недостаточность его точки зрения. Все, что ему было доступно,—это принять Фейербаха за Канта и самым жалким образом подражать своему Канту-Фейербаху. Он слышал, что Бог—одна лишь выдумка, и отсюда он мигом пришел к заключению, что и государство одна лишь выдумка. Если нет Бога, то почему бы существовать государству? Прудон хотел бороться против государства; и начинает он прямо с заявления, что такового нет. Этого было достаточно, чтобы читатели «Voix du Peuple» захлопали в ладоши, а враги господина Прудона пришли в ужас от глубины его философской мысли. Настоящая трагикомедия!

Для современного нам читателя почти лишне прибавлять, что, об'являя государство выдумкой («фикцией»), мы тем самым совершенно лишаемся возможности понять его «сущность» или об'яснить его историческое развитие. Это и случилось с Прудоном.

> «В строе всякого общества я различаю два вида конституции; одну я называю *социальной* конституцией, другую—*политической*.
>
> Первая из них самым тесным образом связана (intime) с человечеством, она либеральна, прогрессивна, и ее прогресс за-

ключается, главным образом, в том, чтобы освободиться от второй, которая по природе своей значительно более произвольна, ретроградна и более угнетает. Социальная конституция—не что иное, как равновесие интересов, опирающихся на *свободный договор* и на организацию *экономических сил*,—интересов, каковы, в общем, *труд, разделение труда, коллективная сила, конкурренция, торговля, деньги, машины, кредит, собственность, равенство договоров, взаимность гарантий* и пр.

Политическая конституция имеет своим принципом авторитет. Формы же ее: классовые различия, разделение власти, административная централизация, судейская иерархия, выборное представительство суверенитета (верховной власти) и пр. Она была придумана и мало-по-малу дополнена, в виду отсутствия *социальной* конституции, принципы и правила которой могли быть открыты лишь после долгого опыта и служат еще до сих пор предметом социалистических прений.

Легко убедиться, что обе эти конституции по природе своей совершенно различны и даже несовместимы; но так как судьба политической конституции беспрестанно вызывать и порождать конституцию социальную, то постоянно что-нибудь прокрадывается и водворяется из последней в первую. Тогда политическая конституция, ставши недостаточной, начинает казаться противоречивой и ненавистной и вынуждается к одной уступке за другой, вплоть до полного ее упразднения» *).

Социальная конституция «самым тесным образом связана» с человечеством, она *необходима* ему. Тем не менее, ее удалось *открыть* лишь после долгого опыта, и за неимением ее, человечество должно было изобресть «конституцию политическую». Разве это не совершенно утопическое представление о человеческой природе и тесно с ней связанной социальной организации? Не возвращаемся ли мы, таким образом, к точке зрения Морелли, по которому человечество на всем протяжении своей истории всегда было «*вне природы*»? Нам даже нет необходимости *возвращаться* к нему, так как, имея дело с Прудоном, мы ни на минуту *не удалялись* от Морелли. Смотря свысока на утопистов и их поиски «лучших форм правления», Прудон отнюдь не осуждает их точки зрения. Он лишь высмеивает недостаток прозорливости у людей, не разобравших, что самая лучшая политическая организация—это

*) «Les Confessions d'un Révolutionnaire». Изд. 1868 г., т. IX. Полн. собр. соч. П. Прудона, стр. 166—167.

отсутствие всякой *политической* организации; что это наиболее соответствующая человеческой «природе», наиболее необходимая и наиболее «тесно связанная» с человечеством *социальная* организация.

По своей природе социальная конституция совершенно отлична от конституции политической и даже несовместима с нею. Тем не менее, такова «*судьба*» политической конституции—постоянно вызывать и производить социальную конституцию. Это чрезвычайно запутано; мы, однако, выйдем из затруднения, предположив, что Прудон хотел этим сказать: политическая конституция влияет на развитие социальной. Но тут неминуемо возникает вопрос: не коренится ли политическая конституция, как признал уже Гизо, в социальной конституции данной страны? По нашему автору—нет; тем более нет, что социальная организация,—как единственная и истинная,—лишь дело будущего. Ведь лишь за отсутствием ее бедному человечеству пришлось выдумать себе политическую конституцию. Помимо этого, «политическая конституция» Прудона обнимает весьма обширную область: она включает в себя даже «*различение классов*», а вследствие этого и «неорганизованную» *собственность*,—собственность в том виде, в каком она *не должна* бы существовать, собственность нашего времени. И так как вся эта конституция выдумана лишь в ожидании анархической организации общества, то, очевидно, что *вся предыдущая история* человечества была не чем иным, как громадным *заблуждением*. Государство уже не чистая фикция, как утверждал Прудон в 1849 г.; точно так же и «политические формулы, из-за которых в течение шестидесяти веков народы и граждане душили друг друга», уже не «плоды нашего воображения», как полагал тогда тот же Прудон, но эти формулы, подобно государству и вообще политической конституции,—*лишь продукт человеческого невежества*, матери всех фикций и фантазий. В сущности, каждый раз повторяется та же история. Главная суть в том, что *анархическая* («социальная») организация общества могла быть открыта лишь «после долгого опыта». Читатель теперь видит, как это печально.

Политическая конституция имеет бесспорное влияние на социальную организацию; по крайней мере, она ее вызывает, и именно в этом заключается обнаруженная Прудоном, учителем кантовской философии и социальной организации, «судьба» политической конституции. Отсюда можно было бы притти к следующему логическому выводу: приверженцы социальной организации, для достижения своей цели, должны пользоваться и политической организацией. Но как ни логичен этот вывод, он все-таки не по вкусу нашему автору. Для него этот вывод лишь плод нашего воображения. Пользоваться *политической* конституцией

цией означало бы приносить жертвы грозному богу *власти,* означало бы принимать участие в борьбе партий. Ничего подобного Прудон не желает. «*Никаких партий больше, никакой власти, абсолютная свобода человека и гражданина:* вот, — говорит он, — в трех словах наш политический и социальный символ веры» *).

Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Кто не хочет слышать о политической борьбе, тот этим самым отказывается принимать какое бы то ни было участие в классовой борьбе. Это случилось с Прудоном. С самого начала революции 1848 года он проповедывал примирение классов. Примером может служить отрывок из циркуляра, с которым он обратился к избирателям департамента Ду 3-го апреля того же года.

> «Социальный вопрос поставлен, вы не уйдете от него. Для разрешения его нужны люди, у которых самая *радикальная* мысль *соединялась* бы с самой *консервативной. Рабочие, подайте руки вашим хозяевам,* а вы, работодатели, не оттолкните руки тех, кто получал от вас заработную плату».

Человек, в котором, по мнению Прудона, крайность радикальной мысли сходилась с крайностью консервативной, был он сам, П. Ж. Прудон. В этой идее, с одной стороны, кроется «фикция», свойственная всем утопистам, воображавшим, что они могут подняться *над* классами и их борьбой, и весьма наивно полагавшим, что вся дальнейшая история человечества должна свестись к мирной пропаганде их нового евангелия.

Но, с другой стороны, это стремление связать консерватизм с радикализмом яснее всего характеризует «сущность» «родоначальника анархии». Прудон был самым типичным представителем *социализма мелкой буржуазии.*

Такова уже «судьба» мелкого буржуа—колебаться вечно между радикализмом и консерватизмом, если он не становится на точку зрения пролетариата. Для того, чтобы это лучше понять, нужно вспомнить, в чем состоял план социальной организации, предложенный Прудоном.

Предоставим слово самому автору. Само собою разумеется, что нам в таком случае придется мимоходом иметь дело с более или менее верно истолкованным Кантом.

> «Тот путь, на который мы намерены вступить при обсуждении *политического* вопроса и подготовке материалов для пересмотра конституции, будет тот же, по которому мы шли до сих пор при обсуждении *социального* вопроса. «Voix du Peuple», продолжая дело 2-х журналов, ему предшествовавших, добросовестно пойдет по их стопам» *).
>
> «Что же мы сказали в этих двух журналах, павших один за другим под ударами реакции и осадного положения? Мы *не* спрашиваем, как это делали до сих пор наши предшественники и единомышленники: какова *самая лучшая* система общественности? какова *самая лучшая* организация собственности? или—какое лучшее понятие собственности или общественности? Что мы примем из теорий Сен-Симона или Фурье, из систем Луи-Блана или Кабе? По примеру Канта мы ставили вопрос так: *как* владеет человек собственностью? *как* он ее приобретает *и как* теряет ее? каков закон ее развития и превращения? Куда она стремится? чего хочет, и что, наконец, она собой представляет?.. Далее,—как работает человек? Каким образом происходит сравнение продуктов? Как совершается их обращение в обществе? При каких условиях? По каким законам? И вывод из всей этой монографии о собственности был следующий: собственность указывает на производство или на распределение; общественность—на взаимность действий; постоянно понижающийся рост (процент)—на идентичность труда и капитала (Sic!). Что нужно сделать для того, чтобы раскрыть и придать реальное значение всем этим выражениям, скрытым до сих пор в устарелых символах собственности? Рабочие должны взаимно гарантировать друг другу работу и сбыт; для этой цели они должны признавать свои взаимные *обязательства,* как *деньги.* Итак, мы говорим сегодня: политическая *свобода,* как и свобода промышленная, будет вытекать для нас из *взаимных гарантий.* Гарантируя друг другу свободу, мы избегнем этого правительства, назначение которого—символически изображать республиканские девизы: *свобода, равенство, братство,* при чем предоставляется нашему остроумию найти осуществление этих девизов. Какова же формула этой политической и либеральной гарантии? Теперь—*всеобщее избирательное право,* потом—*свободный договор.* Экономическая и социальная реформа посредством взаимной гарантии кредита;

*) «Confessions», стр. 25—36.

*) В данном случае дело идет о газетах: «Le Peuple» и «Le Représentent du Peuple», которые Прудон издавал раньше, чем «Voix du Peuple», в 1848—1849 г.г.

политическая реформа путем соглашения индивидуальных свобод,—вот программа «Voix du Peuple» *).

Прибавим, что не трудно набросать «биографию» этой программы.

В обществе товаропроизводителей обмен продуктами совершается на основе общественно-необходимого для их производства труда. Труд—источник и мерило меновой стоимости. Всякому человеку, проникнутому теми идеями, какие вырабатываются в обществе товаропроизводителей,—это покажется самым «справедливым». К несчастью, однако, эта «справедливость» не «вечна», как и все на земле. Развитию товарного производства неминуемо сопутствует превращение большей части общества в пролетариев, ничего не имеющих, кроме своей рабочей силы, а другой части общества—в капиталистов, покупающих эту силу—единственный товар пролетариев—и делающих из нее источник своего обогащения. Работая для капиталиста, рабочий создает доход своего эксплоататора и в то же время — свою собственную нищету и свою собственную социальную зависимость. Достаточно ли это несправедливо? Защитник прав товаропроизводителей, Прудон, сожалеет об участи пролетариев. Он *громит капитал*. В то же время, однако, он *громит* и революционные тенденции *пролетариев*, говорящих об экспроприации эксплоататоров и о коммунистической организации производства. Коммунизм—несправедливость, отвратительнейшая тирания! *Организовать* нужно не *производство*, а *обмен*, уверяет он. Но как организовать обмен? Это очень легко, и путь нам укажет то, что ежедневно разыгрывается перед нашим озабоченным взором. Труд есть источник и мерило ценности товаров. Но всегда ли *цена* товаров определяется ее ценностью? Не меняется ли постоянно цена в зависимости от редкости или обилия товаров? Стоимость товара и его цена—две различные вещи, и в этом несчастье, большое несчастье всех нас бедных и честных людей, не желающих ничего, кроме своего права, стремящихся владеть лишь тем, что нам следует. Чтобы разрешить социальный вопрос, нужно, следовательно, положить конец «*произвольности цены*», «*аномалии стоимости*» (подлинное выражение Прудона). А поэтому нужно «*конституировать стоимость*», т.-е. устроить, чтобы каждый производитель получал за свой товар ровно столько, сколько он стоит. Тогда частная собственность не только перестанет быть «*воровством*», но она будет наиболее соответствующим выражением справедливости. Конституировать стоимость—значит *конституировать мелкую частную собственность*, а когда мелкая частная собственность будет конституирована, в нашей нынешней юдоли нищеты и несправедливости все станет счастьем и справедливостью. А как же быть, если пролетарии вздумают возразить, что у них нет средств производства? При помощи взаимной гарантии безвозмездного *кредита* все желающие работать, точно по мановению волшебного жезла, получат все необходимое для производства.

*) «Confessions», стр. 7—8.

Мелкая собственность и *раздробленное мелкое производство*, его экономический базис, были всегдашней мечтою Прудона. Громадная современная механическая мастерская всегда ему внушала глубокое отвращение. Работа,—говорит он,—также, как и любовь, избегает «общества». Конечно, есть несколько видов индустрии,—Прудон приводит в пример железные дороги,—где ассоциация неизбежна. Там единичный производитель должен уступать место «*обществам рабочих*». Но исключение лишь подтверждает правило *). Мелкая частная собственность должна служить основой социальной организации.

Мелкая частная собственность имеет тенденцию исчезнуть. *Поддерживать* ее и, тем более, класть ее *в основу* новой социальной организации—это *самый крайний консерватизм*. Желать же одновременно положить конец «эксплоатации человека человеком» и наемной системе—это, в сущности, значит соединять самые радикальные желания с самыми консервативными тенденциями.

Мы не будем здесь критиковать этой мелко-буржуазной утопии. Мастерская критика ее уже дана в произведениях Маркса: «Нищета философии» и «К критике политической экономии». Мы лишь заметим следующее:

Единственное звено, связующее в экономической области *товаропроизводителей*, это—*обмен*. С юридической точки зрения обмен является взаимоотношением двух «воль». Оно выражается договором. Поэтому, «конституированное» по всем правилам науки *товаропроизводство* есть господство «абсолютной» индивидуальной *свободы:* обязываясь договором исполнить ту или другую вещь, доставить тот или другой товар, я не отказываюсь от своей свободы. Отнюдь нет. Я использую ее, чтобы вступить в сношения со своим ближним. Но в то же время договор регулирует мою свободу. Исполняя обязательство, добровольно на себя наложенное заключением договора,—я отдаю должное правам

*) Для Прудона «признаваемый большинством школ принцип ассоциации—принцип совершенно бесплодный, не представляющий ни промышленной силы, ни экономического закона... он представлял бы скорее правительство и повиновение—два понятия, исключаемых революцией. «Idée générale de la Révolution au XIX siècle», deuxième édition, Paris 1851, p. 193.

других. Таким образом, «абсолютная« *свобода* делается адекватной «*порядку*».

Примените понятие *договора* при критике «*политической* конституции»,—и вы получите «*анархию*».

> «Идея *договора* исключает идею *господства*... Договор, взаимное соглашение, характеризуется тем, что, благодаря этому соглашению, *увеличиваются свобода* и *счастье* людей, между тем как установлением власти то и другое *уменьшается*... Если уже договор в обыденном смысле и в повседневной практике имеет такие свойства, то каков же будет социальный договор, который об'единит между собой членов одной национальности в равных интересах?
>
> Социальный договор—возвышеннейший акт, посредством которого каждый гражданин предоставляет в распоряжение общества свою любовь, свой ум, свой труд, свои услуги, свои продукты, свое имущество—в обмен на жертвы, идеи, труды, продукты, услуги и имущество других людей, при чем размер *права* каждого *определяется стоимостью его вклада,* и погашение происходит свободно, в зависимости от количества доставленного... Социальный договор подлежит свободному обсуждению всех его участников, он должен быть индивидуально одобрен каждым и собственноручно («manu propria») подписан... Социальный договор по существу подобен меновому: он не только оставляет заключившему его (подписавшему) полномерность («l'intégralité») его благ, но он еще прибавляет нечто к его собственности; не делая никаких предписаний его труду, он относится только к обмену... Таков должен быть социальный договор по определениям права и всеобщей практики» *).

Признав бесспорным и существенным принципом, что договор—«единственные моральные узы, приемлемые для равных и свободных личностей», весьма легко смастерить «радикальную» критику «политической конституции». Предположим, напр., что дело идет о справедливости *уголовного права*. Скажите,—спросил бы Прудон,—на основании какого договора общество присваивает себе право карать преступника?

> «Где нет соглашения, там пред внешним судейским креслом нет места ни преступлению, ни проступкам... Закон есть выражение народного суверенитета, т.-е. социальный контракт, если только я что-нибудь в этом понимаю, есть личное обязательство человека и гражданина. Пока я не хотел этого закона, пока я на него не соглашался, не голосовал за него, не подписывал его, до тех пор он меня *не* обязывает и для меня не существует. Привлекать закон прежде, чем я его знаю, и применять его ко мне, несмотря на мой протест, значит давать ему силу обратного действия и преступать его. Каждый день случается вам отменять приговоры из-за формальной ошибки. Но в ваших актах нет ни одного, который не был бы запятнан клеймом недействительности и притом самой чудовищной недействительности: подтасовкой законов. Пуфлар, Ласнер, все преступники, которых вы отправляете на казнь, поворачиваются в своих могилах и обвиняют вас в подделке закона. Что вы можете им ответить?» *)

Идет ли речь об «*администрации*» и *полиции,* Прудон затягивает ту же песню о договоре и свободном присоединении к нему.

> «Разве мы не можем так же хорошо, даже лучше заведывать нашей собственностью, сводить наши счета, погашать наши обязательства, вступаться за наши общие интересы, как мы заботимся о будущей жизни и о спасении наших душ? Почему нам должно быть больше дела до государственного законодательства и государственной юстиции, до государственной полиции и государственной администрации, чем до государственной религии?» **)

Что касается министерства *финансов,* то ясно, что его право на существование обусловлено существованием других министерств. Уничтожьте политическую запряжку, и вы не будете знать, что делать с ведомством, единственная цель которого изыскивать для нее средства и распределять их ***).

Это логично и «радикально», тем более «радикально», что формула Прудона о конституированной стоимости, о свободном договоре есть формула «универсальная», легко и даже по необходимости применимая ко всем народам. «С политической экономией, в самом деле, повторяется то же, что и с другими науками: она, в силу необходимости, одна и та же во всем мире, она независима от соглашений людей и народов и не подчиняется ничьему капризу. Столь же мало можно гово-

*) «Idée générale de la Revolution au XIX siècle», deuxième édition, Paris, 1851, p. 124—127.

*) «Idée générale de la Révolution», p. 298—299.
**) См. там же, стр. 304.
***) См. там же.

рить о русской, английской, татарской, австрийской или индусской политической экономии, как о венгерской, немецкой или американской физике или геометрии. Истина везде остается тождественна себе самой: наука есть основная единица человеческого рода. Если, таким образом, общественной нормой в каждой стране служит не наука, не религия, или власть, и не они—верховные блюстители общественных интересов, то, следовательно, после упразднения правительственной системы законодательства всего мира будут совпадать» *).

Довольно. «Биографию» того, что Прудон называет своею программой, мы теперь знаем вдоволь. В своей «экономической части» она не что иное, как утопия мелкого буржуа, твердо убежденного в том, что товарное производство есть самый «справедливый» из всевозможных способов производства, желающего вытравить его дурные стороны (отсюда его «*радикализм*») и, наоборот, сохранить на вечные времена его преимущества (отсюда его «*консерватизм*»). В политической своей части эта программа представляет лишь применение понятия о «договоре», почерпнутого из области частного права общества товаропроизводителей,—к общественным условиям. «*Конституированная стоимость*» в экономии, «*договор*» в политике—вот вся научная «истина» Прудона. Как бы он ни нападал на утопистов, но он сам утопист до кончиков ногтей. Что его отличает от людей, как *Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн,* это—бедность и крайняя ограниченность ума, ненависть ко всяким *действительно революционным* движениям и идеям.

Прудон критиковал *политическую конституцию* с точки зрения частного права. Он хотел увековечить частную собственность, а государство, эту опасную «фикцию», разрушить навсегда. Уже *Гизо* сказал, что корень политической конституции государства—в господствующих в нем *имущественных отношениях*. По Прудону же—политическая конституция обязана своим происхождением «*человеческому невежеству*», она «выдумана» лишь за неимением открытой, наконец, им, Прудоном, лета от Рождества Христова такого-то—«социальной организации». Он судит о политической истории человечества, как утопист.

Но утопическое отрицание действительности отнюдь не защищает нас от ее влияния. Отрицаемая на *одной* странице утопистского произведения, она вознаграждает себя *на другой*, часто выступая во всей своей наготе. Так, Прудон, как мы видели, «отрицает» государство. «Нет, нет,—бесконечно повторяет он,—я не хочу никакого государства, не желаю его даже и в качестве слуги; я отказываюсь даже от

*) См. там же, стр. 328.

народного самоуправления». А между тем—о ирония действительности!—знает ли читатель, как «представляет» себе он, Прудон, конституцию стоимости? Это любопытная история.

Конституция стоимости состоит в продаже по справедливой цене, по «цене издержек» *). Если купец отказывается производить свои товары по цене издержек, то только потому, что не имеет уверенности продать столько, сколько нужно для составления его дохода; кроме того, он не гарантирован, что получит обратно затраченную на свои покупки сумму. Ему, следовательно, нужны *гарантии*. А эти гарантии могут «существовать в различных видах». Вот один из них.

> «Предположим, что временное правительство или учредительное собрание... возымели бы серьезное намерение восстановить течение дел, вновь оживить торговлю, промышленность, сельское хозяйство, приостановить понижение цен на собственность и доставить работу рабочим... Это было бы возможно, если, примерно, первым десяти тысячам предпринимателей, фабрикантов, мануфактуристов, купцов и т. д. всей республики было бы гарантировано пять процентов на капитал, который каждый из них—до 100.000 франков в среднем—вложил бы в дело. Ясно, что государство... **)

Довольно! «Ясно, что *государство*» навязывается Прудону, по крайней мере, «*слугой*»; и это с такой неотразимой силой, что наш автор в конце концов сдается и торжественно восклицает:

> «Да, я громко это говорю: рабочие ассоциации в Париже и департаментах держат в своих руках благо народа и будущность революции. Для них все возможно, если они будут действовать с умением. Новый под'ем энергии внесет свет в самые упрямые головы и на выборах 1852 г. (он писал это летом 1851 г.) в порядке дня, и даже во главе его, должна быть поставлена *конституция стоимости*» ***).

Итак, «нет больше партий! нет политики!» когда дело идет о классовой борьбе, и... «*да здравствует политика, да здравствует избирательная агитация, да здравствует вмешательство государства!*» когда дело касается осуществления плоской и тощей утопии Прудона.

«Destruam et aedificabo», говорит Прудон о себе,—«я буду раз-

*) Вот как понимал Прудон определение ценности трудом. Он никогда не мог понять теории Рикардо.

**) См. там же, стр. 266.

***) «Idée générale etc», p. 268.

рушать и вновь созидать». В этих словах много пышного тщеславия, столь свойственного Прудону. С другой же стороны, в них—мы употребим изречение Фигаро—самая истинная истина, какую он когда-либо в жизни высказывал. Он «разрушает» и он же «созидает». Но тайна его «destructio» совершенно раскрывается формулою: «договор разрешает все проблемы». Тайна же его «aedificatio» лежит в прочности социальной и политической буржуазной действительности, с которой он тем легче примиряется, что ему не удается «вырвать» у нее ни одной из ее «тайн».

Прудон не желает ничего знать о государстве. И тем не менее—независимо от практических предложений, вроде конституции стоимости, с которыми он обращается к противной ему «фикции»—он сам в теории вновь созидает государство, едва успев его «разрушить». То, что он отнимает у «*государства*», он преподносит «*общинам*» и «*департаментам*». На место одного большого государства возникает множество мелких; вместо одной большой «фикции»—много маленьких. В конце концов анархия превращается в «*федерализм*», имеющий между прочими преимуществами и то, что успех революционных движений достигается в нем гораздо труднее, чем в *централизованном* государстве *). Этим заканчивается «всеобщая идея революции» Прудона.

Интересно, что «отец» прудоновской анархии—никто иной, как *Сен-Симон*. Это Сен-Симон высказал, что цель социальной организации есть *производство* и что, следовательно, политическая наука должна свестись к политической экономии, что искусство «править людьми» должно уступить место искусству «*управлять вещами*». Он сравнил человеческий род с индивидуумом, который в детстве послушен своим родителям, в зрелом же возрасте кончает тем, что слушается только самого себя. Прудон завладел этой идеей и этим сравнением и с помощью конституции стоимости «построил» анархию. А между тем человек с плодотворным гением Сен-Симона первый в ужасе отшатнулся бы от того, что сделал из его политической теории социалистический мелкий буржуа. Современный научный социализм лучше сумел развить дальше теорию Сен-Симона. Об'ясняя историческое происхождение государства, он *именно этим* указывает на условия его грядущего исчезновения.

«*Государство* было оффициальным представителем всего общества, оно об'единяло его в одной видимой организации, но оно исполняло эту роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам являлся представителем всего современного ему общества: в древности—государством граждан-рабовладельцев; в средние века—феодального дворянства, в наше время—буржуазии. Сделавшись, наконец, действительным представителем всего общества, оно станет излишним. Когда не будет общественных классов, которые нужно было удержать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда устранятся вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества—обращение средств производства в общественную собственность—будет его последним самостоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения сделается мало по малу излишним и прекратится самой собой. Государство не будет «уничтожено» — *оно «умрет»* *).

*) См книгу «Du Principe fédératif».

*) *Энгельс*, «Развитие социализма от утопии к науке».

Бакунин.

Мы уже видели, как отцы анархии в своей критике «государственного устройства» всегда исходили из *утопической точки зрения*. Каждый из них опирался на отвлеченный принцип: Штирнер—на принцип «*Я*», Прудон — на принцип «*договора*». Читатель затем видел, что оба «отца»—Прудон и Штирнер—были *индивидуалистами чистейшей воды*.

Влияние прудоновского индивидуализма одно время было очень велико в странах *романских* (Франции, Бельгии, Италии, Испании) и *славянских* (главным образом, в России). История внутреннего развития Интернационала (Международного товарищества рабочих) является историей борьбы между прудонизмом и разработанным Марксом современным социализмом. Не только такие люди, как Толен, Шемале или Мюрат, но и значительно превосходившие их, как де-Пап,—были лишь более или менее замаскированными, более или менее последовательными «мутуалистами». Чем сильнее, однако, развивалось рабочее движение, тем яснее становилось, что «мутуализм» ни в каком случае не мог быть теоретическим выражением этого движения. На международных конгрессах мутуалисты логикой вещей принуждались голосовать за «коммунистические резолюции». Так было, например, во время дискуссии в Брюсселе о земельной собственности **). Левое крыло прудо-

**) « . . . Из тех, которые именуют себя мутуалистами, и экономиче-

нистской армии мало-по-малу покинуло индивидуализм и укрылось под защиту «*коллективизма*».

Слово «коллективизм» употреблялось в то время в смысле, совершенно противоположном тому значению, которое оно ныне имеет в устах французских марксистов, как *Жюль Гед* и его друзья. Самым выдающимся защитником коллективизма был тогда *Михаил Бакунин*.

Говоря об этом человеке, мы обойдем молчанием его пропаганду гегелевской философии, как он ее понимал, а также его роль в революционном движении 1848 г. Мы не будем говорить и о его панславистских сочинениях начала пятидесятых годов и о его брошюре «Романов, Пугачев или Пестель?» (Лондон 1862 г.), в которой он *обещает присоединиться к Александру II*, если тот согласится сделаться «*царем мужиков*». Что нас здесь интересует, это—его теория «анархистского коллективизма».

Член «Лиги мира и свободы» Бакунин на конгрессе 1869 г. в Берне предложил этому вполне буржуазному обществу высказаться за «*экономическое и социальное равенство классов и индивидов*». Другие делегаты, в том числе Шодэ, упрекали его в проповеди «коммунизма». В следующих негодующих словах Бакунин *протестовал* против этого обвинения.

> «Из-за того, что я требую экономического и социального уравнения классов и индивидов, из-за того, что я совместно с брюссельским рабочим конгрессом об'являю себя сторонником коллективной собственности, меня *упрекают в том, что я коммунист*. Какое *различие*, спрашивали меня, ты делаешь между *коммунизмом* и *коллективизмом?* Я в самом деле поражен, что г. Шодэ не понимает этого различия, он—душеприказчик Прудона! Я ненавижу коммунизм, потому что он—отрицание свободы, а я не могу себе представить ничего человеческого без свободы. Я—не коммунист, потому что коммунизм концентрирует все силы общества в государстве, которое их поглощает, потому что он неизбежно приводит к *централизации* собственности в руках *государства*, тогда как я желаю *упразднения государства*—радикального искоренения принципа авторитета и государственной опеки, который, под предлогом цивилизации и усовершенствования людей, по сие время порабощал их, угнетал, эксплоатировал и деморализовал. Я стремлюсь к организации общества и коллективной или социальной собственности снизу вверх посредством *свободной ассоциации*, а *не* сверху вниз *при содействии власти*, какова бы она ни была. Требуя упразднения государства, я этим самым требую уничтожения индивидуально-наследственной собственности (de la propriété individuelle héréditaire), являющейся лишь государственным институтом, лишь следствием самого принципа государства. В этом смысле, господа, я *коллективист*, но нисколько *не коммунист*».

Если это весьма мало выясняет принципиальную сторону, то с «биографической» точки зрения это достаточно определенно.

Мы не будем долго останавливаться на нескладице, заключающейся в словах: «*экономическое и социальное уравнение классов*»,—генеральный совет Интернационала уже давно воздал им должное *). Мы заметим лишь следующее: выше цитированные слова доказывают, что Бакунин: 1) борется против государства и «коммунизма» во имя «полнейшей свободы всех»; 2) борется против «индивидуальной наследственной собственности» во имя экономического равенства; 3) считает эту собственность «государственным институтом», следствием самого

ские воззрения которых, в общем, примыкают к теориям Прудона, в том смысле, что они, как великий революционный писатель, требуют упразднения всех доходов, получаемых с труда капиталом, отмены процента, требуют взаимности услуг, равного обмена продуктов на основе издержек производства, свободного взаимного кредита,—весьма многие высказывались за переход земли в коллективную собственность. Так поступили, например, четыре французских делегата: Обри из Руана, Делакур из Парижа, Ришар из Лиона и Лемонье из Марселя, а из бельгийцев—товарищи Г. Мартенс, Верикен, де-Пап, Марешаль и др. Для них нет противоречия между прилагаемым к обмену услугами и продуктами мутуализмом, который основан на стоимости издержек производства, т.-е. на содержащемся в услугах и продуктах труде,—и между коллективной собственностью на *землю*, которая *не* является *продуктом* труда и, по их мнению, поэтому *не* подпадает под закон *обмена*, закон циркуляции» (Ответ бельгийцев Вандергутена, де-Папа, Делефаля, Германа, Дельпланка, Рулана, Гил. Брассера на статью д-ра Куллери, помещенную в «Voix de l'Avenir» в сентябре 1868 года; ответ этот появился в том же журнале и вновь был напечатан в качестве оправдательного документа в «Mémoire de la Fedération Jurassienne», Sonvillier 1873, p. 19—20).

*) «Уравнение классов»—писал он «Аллиансу» Бакунина, который для принятия его в Интернационал послал туда свою программу, в которой и фигурировало это великолепное уравнение,—«взятое буквально, сводится к столь нелепо проповедуемой буржуазными социалистами гармонии между капиталом и трудом. Но уравнение классов—логическое противоречие, осуществление которого невозможно,—но, напротив, *упразднение классов*, эта истинная тайна пролетарского движения, составляет конечную великую цель «Интернационального товарищества рабочих».

принципа государства и 4) *ничего не имеет против индивидуальной собственности,* если она не наследственна, ничего не имеет против права наследования, если оно не индивидуально.

Другими словами: 1) Бакунин вполне сходится с Прудоном во всем, что касается «отрицания» государства и коммунизма; 2) к этому отрицанию государства он присоединяет еще и другое отрицание индивидуально наследственной собственности; 3) его программа является лишь суммой, полученной путем соглашения обоих абстрактных принципов—«свободы» и «равенства». Эти два принципа он применяет один за другим и один независимо от другого в целях критики существующего положения вещей; он не спрашивает себя, могут ли уживаться результаты одного из этих отрицаний с результатами другого; 4) так же мало, как и Прудон, понимает он происхождение частной собственности и причинную связь между ее развитием и развитием политических форм; 5) он не отдает себе ясного отчета в том, что именно означает выражение «индивидуально наследственный» (употребляемое им и в других случаях).

Если Прудон был *утопистом,* то Бакунин был им *вдвойне,* так как его программа—лишь *утопия свободы,* прицепленная к «*утопии равенства*». В то время, как Прудон, по крайней мере до известной степени, оставался верен своему принципу договора, Бакунин, раздвоенный между свободой и равенством, принужден был с самого начала своей аргументации покидать первую для второй и вторую для первой. Если Прудон—безукоризненный прудонист, то Бакунин—*прудонист, фальсифицированный примесью «достойного ненависти» коммунизма и даже «марксизма».*

Бакунин, в самом деле, не обладал той непоколебимой верой в гений «учителя» Прудона, которую, повидимому, в целости сохранил Толен. По Бакунину «Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления—абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс, в противоположность ему, высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг Маркса» *). В одном из других своих сочинений Бакунин с глубоким убеждением говорит: «Все господствующие

*) «Государственность и анархия», 1873 г., стр. 223—224.

в каком-либо обществе религии и системы морали являются идеальным выражением его реальных, материальных свойств—главным образом, его экономической организации; далее они выражают и его политическую организацию, являющуюся в сущности, ничем иным, как юридическим и принудительным освящением первой». И Бакунин снова называет Маркса человеком, которому принадлежит заслуга открытия и доказательства этой истины *); приходится спрашивать себя с удивлением: как мог утверждать тот же Бакунин, что частная собственность является лишь *следствием* авторитарного принципа. Разрешение загадки состоит в том, что он совершенно *не усвоил материалистического понимания истории,* он был лишь «софистизирован» этим учением.

Вот одно из поразительных доказательств. В его цитированном выше русском сочинении «Государственность и анархия» он уверяет, что положение русского народа содержит в себе два элемента, составляющие необходимые условия для социальной,—очевидно он хочет сказать «социалистической»,—революции. «Он может похвастаться чрезмерной нищетою, а также и «рабством примерным». Страданьям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глухим и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и Пугачевским бунтом» (Прибавление А.). Вот что Бакунин понимает под «материальными условиями социалистической революции»! Нужно ли прибавлять, что подобный «марксизм» немного чересчур «sui generis»?

В своей борьбе с *Мадзини,* которого он разбирает с точки зрения материалистического понимания истории, Бакунин очень далек от понимания истинного значения этой теории; настолько далек, что в том же сочинении, где он разбивает теологию Мадзини, он, как настоящий прудонист (каким он был на самом деле), говорит об «*абсолютной*» человеческой морали. И эту мораль, мораль «*солидарности*», он обосновывает соображениями следующего рода:

> «Каждое реальное существо существует,—пока оно существует,—лишь в силу присущего ему принципа, определяющего все особенности его натуры, принципа, вложенного в него не каким-либо божественным законодателем (это—материализм нашего автора! *Г. П.),* но являющегося как бы продленным и постоянным результатом некоторого синтеза естественных причин и следствий. Принцип этот заложен не как душа в теле (как

*) «La Théologie politique de Mazzini et l'Internationale», 1871 г. Neuchâtel, p. 69 et 78.

того хочет смешная фантазия идеалистов), но на самом деле является необходимой и постоянной формой его реального существования».

> «Человеческому виду, как и всем другим видам, присущи известные принципы, которые свойственны только ему одному; все эти принципы сливаются вместе или сводятся к одному принципу, называемому нами *солидарностью*. Этот принцип может быть формулирован следующим образом: каждый человеческий индивидуум лишь тогда может познать собственную свою человечность, а стало быть и применить ее в своей жизни, когда он познает ее в других и содействует ее осуществлению для других. Никакой человек не может эмансипироваться, не эмансипируя вместе с собой и всех окружающих его людей. Моя свобода, это—свобода всех, так как я лишь тогда свободен—свободен не только в идее, но и в действительности,—когда моя свобода и мое право находят свое подтверждение, свою санкцию в свободе и праве всех подобных мне людей» *).

Как моральное предписание, *солидарность*—в истолковании Бакунина—вещь очень хорошая. Но возводить эту отнюдь не «абсолютную» мораль в принцип, присущий природе человечества и характеризующий эту человеческую «природу»,—значит играть словами и совершенно упускать из вида значение *материализма*. Человечество существует только «на основе» принципа *солидарности*... Это немного смелое утверждение. И классовая борьба, и ужасное «государство», и «*индивидуально-наследственная*» собственность—неужели все это проявления «солидарности», присущей человечеству и характеризующей его особенную природу? Если да, то все обстоит благополучно, и Бакунин напрасно теряет время, мечтая о «социальной» революции. Если нет, то это доказывает, что человечество могло существовать и «*на основе*» *других* принципов, чем солидарность, и что этот последний принцип, во всяком случае, не «*присущ*» природе человечества. В действительности, Бакунин только для того выставил свой «абсолютный» принцип, чтобы вывести из него заключение, что «ни один народ не может быть совершенно и—в человеческом смысле этого слова—солидарно свободным, если это не простирается на все человечество» **). Здесь намек на тактику современного пролетарита, и это верно в том смысле, что, как это выражено в уставе Международного товарище-

*) «La Théologie politique de Mazzini», p. 91.
**) Там же, стр. 110—111.

ства рабочих, эмансипация рабочих представляет собой не местную или национальную задачу, но что, напротив, эта задача интересует все цивилизованые нации, и что ее решение неизбежно зависит от их теоретического и практического совместного действия. Нет ничего легче, как доказать эту истину, исходя из данного экономического положения культурного человечества. Но здесь, как и повсюду, менее всего доказательным является «довод», опирающийся на утопическое понимание «человеческой природы». «Солидарность» Бакунина доказывает только, что он, несмотря на знакомство с исторической теорией Маркса, остался неисправимым утопистом.

Мы уже указали, что в главных своих чертах «программа» Бакунина состоит из простого сложения двух абстрактных принципов: принципа свободы и равенства. Теперь мы видим, что полученная таким образом сумма легко могла бы быть увеличена привлечением третьего принципа—«*солидарности*». *Программа* пресловутого «*Альянса*» присоединяет еще и несколько других принципов. Так, например:

> «Аллианс об'являет себя *атеистическим,* он требует упразднения культов, замену религии наукой, замену Божеской справедливости—справедливостью человеческою».

В прокламации, расклеенной бакунистами во время неудавшегося восстания в конце сентября 1870 года на стенах Лиона, мы читаем (ст. 41), что «*государство, подлежащее теперь упразднению, не будет больше в состоянии выступать в делах по уплате частных долгов*». Это безусловно логично, но было бы чрезвычайно трудно вывести неуплату частных долгов из принципов, присущих *человеческой природе*.

Бакунин при склеивании своих различных «абсолютных» принципов не задает себе вопроса (и благодаря «абсолютному» характеру своих приемов, и не имеет надобности в этом), не ограничивает ли какой-нибудь из его принципов, хотя бы и в самой незначительной степени, «абсолютную» силу других, или, наоборот, не ограничивают ли последние абсолютность первого; поэтому, для него является «абсолютно» невозможным согласовать выводы своей программы там, где одних слов оказывается уже недостаточно, и где, следовательно, дело идет о замене их более точными *понятиями*. Он «*желает*» отмены культов. Но раз «государство упразднено», кто же их отменит? Он «желает» упразднения наследственной частной собственности. «Но что делать, если упраздненное государство» все-таки будет продолжать существовать? Бакунин сам чувствует, что все это не совсем ясно, но он очень легко утешается.

В появившейся во время франко-прусской войны брошюре: «*Письмо к французу о современном кризисе*», в которой Бакунин доказывает, что Франция может быть спасена только посредством большого революционного движения, он приходит к тому заключению, что необходимо побудить *крестьян* наложить руку на земельные угодья дворян и буржуазии. Но французские крестьяне до сих пор стоят *за «личную наследственную собственность»* *). Не укрепила бы еще более новая социальная революция этот неприятный институт?

«Ни в каком случае,—отвечает Бакунин,—*ибо раз государство упразднено, они* (т.-е. крестьяне, *Г. П.) будут лишены торжественной юридической санкции, гарантии собственности государством. Собственность перестанет быть правом, она сведется на степень простого факта*» **).

Это в самом деле успокоительно! Раз «государство упразднено», то первый попавшийся проходимец, который окажется сильнее меня, может завладеть моим полем, не имея даже надобности прикрываться принципом «солидарности»; с него совершенно достаточно будет принципа «свободы». Прекрасный способ «уравнения индивидуумов!».

«Конечно,—признает Бакунин,—конечно, вначале дело пойдет не совсем мирно; будет борьба; общественный порядок, этот священный ковчег буржуазии, будет нарушен, и первые факты, которые явятся последствием такого положения вещей, могут привести к тому, что изволят называть гражданской войной. Но разве вы предпочтете выдать Францию пруссакам?.. Впрочем, не бойтесь, что крестьяне пожрут друг друга; если бы даже они вначале и попытались это сделать, то уже вскоре они сами убедились бы в материальной невозможности оставаться на этом пути, и тогда можно быть уверенным, что они попытаются поладить между собой, притти к некоторому соглашению и организоваться. Потребность прокормиться, пропитать свою семью, вытекающая отсюда необходимость защищать свои дома, семью и собственную жизнь от неожиданных нападений,—все это заставит каждого в одиночку вступить на путь взаимного соглашения. Так же мало допустимо, чтобы при этом соглашении, состоявшемся *вне давления оффициальной опеки,* наиболее могущественные и богатые, исключительно в силу положения вещей, получили преобладающее влияние. Богатство богачей перестанет

*) Подчеркнуто самим Бакуниным.
**) Подчеркнуто самим Бакуниным.

быть силой, если оно не будет охраняться юридическими учреждениями»...

«Что касается наиболее хитрых и наиболее сильных, то они будут обезврежены коллективной силой всей массы мелких и самых мелких крестьян; точно так же и сельский пролетариат, представляющий в настоящее время безмолвно страдающую массу, приобретет, благодаря революционому движению, непреодолимую силу. Я не утверждаю, заметьте это, что сельские округа, которые таким образом реорганизуются снизу вверх, одним взмахом создадут идеальную организацию, которая во всех подробностях будет соответствовать нашим мечтам. Но зато я вполне убежден, что это будет *жизненная* организация, и, как таковая, она в тысячу раз будет превосходить ныне существующую. Впрочем, эта новая организация, оставаясь постоянно открытой для пропаганды городов и обходясь без закрепляющей, создающей окаменелые формы юридической государственной санкции, будет свободно прогрессировать, будет постоянно развиваться жизненно и свободно, хотя в неопределенных формах; никогда не прибегая к декретам и законам, она будет развиваться и улучшаться, пока не достигнет такого разумного состояния, о каком мы теперь только можем мечтать».

«Идеалист» Прудон был убежден, что политическая конституция была «придумана» за отсутствием «присущей человечеству» социальной организации. Он взял на себя труд «открыть» эту последнюю, и после того, как это было совершено, политическая конституция, по его мнению, уже не имеет никакого права на существование. «Материалист» Бакунин не имеет собственной «социальной организации». «Даже самая глубокая и самая рациональная наука,—говорит он,—не в состоянии предугадать форм будущей социальной жизни» *). Она должна довольствоваться тем, чтобы отличать «живые» социальные формы от форм, обязанных своим происхождением деятельности государства, от которой все «каменеет», и отвергать последние. Но разве это не то же самое старое прудоновское противопоставление «присущей человечеству» социальной организации—политической конституции, «приду-

*) «Государственность и анархия», прибавление А. Впрочем, для России «наука Бакунина» взялась все-таки предугадать формы будущей социальной жизни; это будет «*община*», которая получит свое дальнейшее развитие из современной *сельской общины*. Преимущественно именно бакунисты распространяли в России предрассудок о чудесных свойствах русской сельской общины.

манной» исключительно в интересах «порядка». Не сводится ли вся разница к тому, что «материалист» превращает *утопическую* программу «идеалиста» в нечто еще гораздо более утопическое, более туманное и еще более нелепое?

Полагать, что земной шар обязан своим чудесным устройством случаю, значит представлять себе, что набрасывая достаточное количество типографских букв на гранки, мы случайно можем набрать целую «Илиаду»,—такое заключение выводили *деисты* восемнадцатого века, опровергая *атеистов*. Последние возражали им, что в подобном случае все—*дело времени,* и что если мы будем повторять это набрасывание букв бесконечно часто, то в конце концов мы можем их расположить в желательном порядке. Подобные споры были во вкусе того века, и в настоящее время было бы несправедливо уж очень их высмеивать. Но, повидимому, Бакунин принял в серьез аргумент атеистов доброго старого времени и воспользовался им, чтобы выковать себе «программу». *Разрушайте все существующее; если вы будете проделывать это достаточно часто, то в конце концов вам удастся создать такую социальную организацию,* которая по меньшей мере приблизится к той, о которой вы «мечтаете». Все пойдет хорошо, если у нас будет «*непрерывная революция*» (перманентная). Достаточно ли это «материалистично»? Если вы находите, что нет, то вы «мечтающий» о невозможном метафизик!

Прудоновское противопоставление «*социальной организации*» «политической конституции» мы снова целиком и в совершенно «живом виде» находим в том, что непрестанно повторяется Бакуниным о «социальной революции», с одной стороны, и «политической революции»—с другой. По Прудону, социальная организация, к несчастью, до сих пор еще никогда не существовала, и за неимением ее, человечество принуждено было «придумать» политическую конституцию. По Бакунину, до последнего времени еще никогда не было произведено социальной революции, так как человечество, за неимением хорошей «социальной» программы, было принуждено довольствоваться политическими революциями. Но вот, когда эта программа найдена, нам нет больше надобности заниматься «политикой», у нас достаточно дела и с «*социальной*» революцией.

Так как каждая классовая борьба—по необходимости также и борьба политическая, то ясно, что каждая достойная этого имени «политическая» революция есть также и социальная революция; ясно также и то, что для пролетариата политическая борьба столь же необходима, как она всегда была необходима для каждого класса, стремящегося к своему освобождению. *Бакунин торжественно отвергает вся-*

кую политическую деятельность пролетариата; он проповедует исключительно «социальную» борьбу. Что же означает эта социальная борьба?

Здесь наш прудонист снова выказывает себя софистизированным «марксизмом». Он опирается, сколь возможно часто, на *устав Международного товарищества рабочих*. В об'яснениях этого устава говорится, что подчинение рабочего капиталу является причиной политического, морального и материального рабства, и что поэтому экономическое освобождение рабочего есть великая конечная цель, которой каждое политическое движение должно подчиняться лишь, как средство. Бакунин заключает из этого, что

> «всякое политическое движение, которое *не* имеет своей целью *непосредственное,* прямое, *бесповоротное* и *полное* экономическое освобождение рабочих, и которое не начертало на своем знамени различным, но совершенно ясным образом принцип *экономического равенства,* или,—что то же самое,—принцип *полного возвращения капитала труду,* т.-е. просто *социальной ликвидации,*—всякое *подобное* политическое движение есть движение *буржуазное* и, как таковое, должно быть исключено из интернациональных движений».

Но тот же Бакунин уже слышал, что историческое движение человечества есть закономерный процесс, и что нельзя в любой момент импровизировать революцию. Поэтому он все же принужден задать себе вопрос: какой политики должен придерживаться Интернационал *в течение* «этого более или менее продолжительного периода, отделяющего нас от той страшной социальной революции, которую каждый уже предчувствует»? И он с глубочайшим убеждением отвечает, постоянно при этом цитируя «устав Интернационала»:

> «Политика *демократической буржуазии* или *буржуазных социалистов* должна быть немилосердно *исключена;* если они заявляют, что политическая свобода—предпосылка экономического освобождения, то под этими словами они могут понимать только следующее: политические реформы или политическая революция должны предшествовать экономическим реформам или экономической революции. Рабочие поэтому должны соединиться с более или менее радикальной буржуазией для того, чтобы совместно с нею сперва добиться политических реформ, а потом уже собственными силами, в борьбе с той же радикальной буржуазией, осуществить экономические реформы. *Мы громко протестуем против этой злосчастной теории,* которая

для рабочих сведется лишь к тому, что они лишний раз дадут воспользоваться собой, как орудием против себя же, и которая снова предаст их эксплоатации буржуазии».

Интернационал «приказывает» («commande») отказаться от «всякой национальной или местной политики»; он должен придать рабочей агитации во всех странах «*существенно экономический*» характер, выставляя своей целью «уменьшение рабочих часов и повышение заработной платы», а средством—*ассоциацию рабочих масс* и основание боевых касс» (Widerstandskassen). Само собою разумеется, что уменьшение рабочих часов должно произойти без какого бы то ни было содействия проклятого «государства» *).

Бакунин не понимает, что рабочий класс в своих политических действиях может совершенно отделиться от всех эксплоататорских партий. По его мнению, рабочему классу в политическом движении не предстоит никакой другой роли, кроме роли щитоносца радикальной буржуазии. Он проповедует «существенно-экономическую» тактику *старых английских трэд-юнионистов,* не подозревая даже, что *именно эта* тактика побудила английских рабочих плыть *на буксире у либералов.*

Бакунин не желает, чтобы рабочий класс присоединился к движениям, имеющим целью завоевание и расширение политических свобод. Осуждая эти движения, как буржуазные, он воображает, что он ни весть как «революционен». В действительности же он именно этим и обнаруживает свой «*существенный консерватизм,* и если бы рабочий класс когда-нибудь следовал этой руководящей нити, то правительства могли бы себя только поздравить **).

Истинные революционеры нашего времени совершенно иначе понимают социалистическую тактику. Они «*поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя* ***), что им, однако, не мешает—даже напротив!—организовать из пролетариата партию, совершенно отделяющую себя от всех эксплоататорских партий и являющуюся *врагом всей «реакционной массы».*

Прудон, который, как нам известно, не питал преувеличенных

*) См. статьи Бакунина «La politique de l' Internationale» в «Egalité», Женева, август 1869.

**) Анафемы, которые Бакунин расточает по адресу политической свободы, имели в течение известного времени очень печальное влияние на революционное движение в России.

***) «Коммунистический манифест». Отдел IV.

симпатий к «политике», все же побуждал французских рабочих голосовать за кандидатов, обещавших «конституировать стоимость». Бакунин же ни за что не хочет слышать о политике. Рабочий лишен возможности пользоваться политической свободой: «ему для этого не хватает сущих пустяков—досуга и материальных средств». Стало быть, эта свобода только буржуазная ложь. Люди, говорящие о рабочих кандидатах, насмехаются над пролетариатом.

> «*Рабочие депутаты,* перемещенные в *буржуазные* жизненные условия и атмосферу исключительно буржуазных политических идей, перестают быть настоящими рабочими; чтобы стать государственными людьми, они становятся буржуа, пожалуй, еще в большей степени, чем сами буржуа. Ибо не люди создают условия, но условия создают людей» *).

Последний аргумент это почти все, что Бакунин усвоил от материалистического понимания истории. Безусловно верно, что человек—продукт социальной среды. Но чтобы применить с пользой эту неоспоримую истину, необходимо отречься от устарелого метафизического образа мышления, по которому вещи рассматривались *одна за другой и каждая независимо от остальных.* Но Бакунин, как и его учитель Прудон, несмотря на все свое заигрывание с гегелевской философией, на всю жизнь остался метафизиком. Он не понимал, что и *среда,* создающая человека, может стать *другою,* когда она изменит свой продукт—человека. Среда, которую Бакунин имел в виду, говоря о политической деятельности пролетариата, есть среда парламентарно-буржуазная. Эта среда неизбежно должна испортить рабочих депутатов. Но среда *избирателей,* среда рабочей партии, вполне сознательно стремящейся к своей цели и хорошо организованной, неужели эта среда не может иметь никакого влияния на избранников пролетариата? Нет! Порабощенный экономически, рабочий класс навсегда останется в политическом рабстве, на этом поприще он всегда останется слабейшим. Чтобы его освободить, нужно начать с экономического развития. Бакунин не замечает, что такая аргументация неизбежно приведет к выводу, что победа пролетариата абсолютно *невозможна,* если *владельцы* орудий производства сами не соблаговолят *добровольно* отказаться от них в пользу рабочих. В действительности порабощение рабочего капиталом служит источником не только политического, но и *нравственного* подчинения. Как же можно требовать, чтобы нравственно порабощенные рабочие восстали против буржуазии? Значит, для того, чтобы стало

*) «Egalité», 28 августа 1869 г.

возможным рабочее движение, необходимо *прежде* совершить экономическую революцию. Но экономическая революция возможна только, как *дело самих рабочих*. Таким образом, мы находимся в заколдованном круге, из которого легко выходит современный социализм, но в котором Бакунин и бакунисты неустанно вертелись и вертятся, не находя другой возможности освободиться, кроме логического salto mortale.

Развращающее влияние парламентской среды на рабочих депутатов осталось до последнего времени излюбленным аргументом анархистов, критикующих политическую деятельность социалистической демократии. Мы уже видели, какая ей цена с *теоретической* точки зрения. Достаточно самого поверхностного знакомства с историей немецкой социалистической партии, чтобы убедиться, насколько *практическая* жизнь разрушает анархистские опасения.

Отрицая совершенно всякую «политику», Бакунин увидел себя вынужденным перенять тактику английских трэд-юнионистов *).

Но он сам чувствует, что эта тактика недостаточно революционна и старается выйти из затруднения с помощью своего «Альянса»—своего рода тайного международного общества, основанного на принципе самого дикого, грубо-фантастического *централизма*. Подчиненные *диктаторскому* жезлу самодержавного первосвященника анархии, «интернациональные» и «национальные» братья обязаны ускорять и направлять революционное движение, «по своей природе экономическое». В то же время Бакунин проповедует бунты, местные восстания рабочих и крестьян, которые хотя неизбежно должны быть *подавлены*, но все же, по его утверждению, должны иметь *хорошее влияние* на развитие революционного духа угнетенных. Само собою разумеется, что подобной «программой» он мог причинить много зла рабочему движению, но что ему не удалось сделать хотя бы малейшего шага вперед для «непосредственной» экономической революции, о которой он мечтал **).

Мы дальше увидим, к чему должна была привести бакунистская

*) Он даже отстал и от них. Ибо даже наиболее реакционные английские профессиональные союзы не пренебрегали, где только возможно было, извлекать пользу из законодательного механизма во имя известных интересов рабочей партии или промышленности.

**) Относительно деятельности Бакунина в Интернационале см. следующие два сообщения Генерального Совета: 1) «Les prétendues scissions dans l'Internationale» («Мнимые расколы в Интернационале») и 2) «L'Alliance de le Démocratie socialiste» (на немецком языке под заглавием «Заговор против Интернационала»). См. также статью Энгельса: «Бакунисты за работой».

теория «бунтов». Теперь же мы постараемся резюмировать все сказанное нами о Бакунине. Он сам окажет нам содействие при этой задаче:

> «На пангерманском знамени (т.-е. на знамени *немецкой социалдемократии,* следовательно, также и на знамени социалдемократии всего цивилизованного мира.—*Г. П.)* написано: *удержание и усиление государства во что бы то ни стало.* На социально-революционном же, на нашем знамени (читай бакунистском.—*Г. П.)* напротив, огненными, кровавыми буквами начертано: *разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов—организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира*».

Этими словами Бакунин заключает свое главное произведение: «Государственность и анархия». Мы предоставляем читателю оценить по достоинству риторические красоты этого излияния. Что касается нас, то мы ограничиваемся только заявлением, что оно лишено *решительно всякого человеческого смысла.*

Бессмыслица, *совершенно голая, чистая бессмыслица*—вот что «*начертано*» на бакунистском «знамени», и не нужно никаких кровавых и огненных букв, чтобы это было вполне ясно для всех, еще не загипнотизированных *более или менее гремящей, но сплошь бессмысленной* фразеологией.

Анархизм Штирнера и Прудона был всецело индивидуалистичен. Бакунин «не желал» индивидуализма, или, вернее сказать, «желал» одну только сторону индивидуализма. Он изобрел поэтому *анархистский коллективизм.* Но это изобретение обошлось ему очень дешево. Он дополнил *утопию свободы утопией равенства.* Но так как эти две утопии не «желали» мирно уживаться, так как они громко вскрикивали при склеивании, он бросил обеих в доменную печь «*непрерывной революции*», где, разумеется, им пришлось замолчать—по той простой причине, что как та, так и другая совершенно улетучились.

Бакунин—это декадент утопизма.

Эпигоны.

Из анархистов нашего времени некоторые, как, например, *Джон Генри Макай,* автор книги «Анархисты. Культурные очерки конца XIX столетия», все еще придерживаются *индивидуализма,* тогда как другие, а их гораздо больше, называют себя «*коммунистами*». Они составляют потомство Бакунина в анархизме. На самых различных язы-

ках они создали довольно об'емистую литературу; и это она своей «*пропагандой действия*» наделала так много шума.

Апостолом этой школы является русский эмигрант *П. А. Кропоткин.*

Мы не будем останавливаться на разборе доктрины современных индивидуалистических анархистов, даже их братья коммунистические анархисты относятся к ним, как к буржуа *).

Перейдем непосредственно к *анархистскому коммунизму.*

Какова точка зрения этого нового вида коммунизма?

«Метод, которого придерживается анархистский мыслитель, совершенно отличается от метода утопистов», уверяет нас *Кропоткин.*

> «Анархистский мыслитель, чтобы установить наилучшие, по его мнению, условия для достижения счастья человечества, не прибегает к метафизическим концепциям (каково «естественное право», «обязанности государства» и т. д.). Наоборот, он идет по пути, начертанному современной эволюционной философией... Он изучает человеческое общество в его настоящем и прошлом. Не наделяя ни человечества, ни единичных индивидуумов качествами более высокими, чем они обладают в действительности, он рассматривает общество лишь как скопление (аггрегат) организмов, пытаясь найти наилучшие способы согласовать, в интересах благополучия рода, потребности индивидуума с потребностями кооперации. Он изучает общество, пытается разгадать его тенденции в прошлом и настоящем, его неотложные интеллектуальные и экономические потребности и в этом отношении указывает лишь направление, в котором совершается развитие **).

Итак, *коммунистические анархисты* не имеют больше ничего общего с *утопистами.* Они при выработке своего «идеала» и не думают опираться на метафизические понятия, как естественное право, обязанности государства и т. д. Правда ли это?

Что касается «обязанностей государства», Кропоткин вполне прав: было бы слишком смешно, если бы анархисты предлагали государству исчезнуть и при этом аппелировали к его обязанностям. Но что касается «естественных прав», то Кропоткин безусловно ошибается. Нескольких цитат достаточно, чтобы доказать это.

Уже в «Бюллетене Юрской федерации» (№ 3, 1877) мы находим следующее характерное заявление: «Суверенитет народа может существовать только при наличности полнейшей автономии индивидуумов и групп». Разве эта полнейшая автономия не «метафизическое понятие»?

«Бюллетень Юрской федерации» был органом коллективистского анархизма. В действительности нет никакой разницы между анархистским коллективизмом и анархистским коммунизмом. Тем не менее, во избежание упрека, что мы коммунистов делаем ответственными за коллективистов, остановимся на «*коммунистических*» *воззваниях,* разбирая их не только *по духу,* но и *дословно.*

Осенью 1892 г. несколько «товарищей» предстали пред версальским судом присяжных по поводу кражи динамита в «Soisy-sous-Etioles». Среди подсудимых был один по имени *Этиеван.* Последний составил доклад об анархистски-коммунистических принципах. Но суд лишил его слова. Тогда анархистский орган «La Révolte» взялся обнародовать эту записку, с большим трудом раздобыв точную, вполне согласующуюся с оригиналом копию. «Об'яснения Этиевана» произвели сенсацию в анархистском мире, и даже «образованные» люди, как *Октав Мирбо,* с уважением цитировали их на ряду с сочинениями таких «теоретиков», как Бакунин, Кропоткин, «несравненный Прудон» и «аристократический Спенсер» (!). Вот метод аргументации Этиевана.

Ни одна идея нам не врождена; каждая из них порождается бесконечно различными, многочисленными впечатлениями, воспринимаемыми нами при помощи наших органов чувств. Каждое действие индивидуума—результат одной или многих идей. Человек, таким образом, не ответственен. Если бы ответственность существовала, то в таком случае воля должна была бы определять ощущения, ощущения—идеи, а идеи, в свою очередь,—действия. Но так как, наоборот, ощущения определяют волю, то свободный выбор невозможен, всякая награда, как и наказание, одинаково несправедливы, как бы ни было велико благодеяние или вред.

«Без достаточного критерия нельзя судить ни людей, ни

*) Немногие индивидуалисты, которые встречаются среди анархистов, сильны только в своей критике государства и закона. Что же касается их идеалов созидания нового, то одни впадают в идиллию, которую они сами никогда не осуществляли бы на практике, тогда как другие, как издатели бостонского «Liberty», совершенно растворяются в современной буржуазной системе. В защиту своего индивидуализма они *восстановляют государство* со всеми его аттрибутами (закон, полиция и всем прочим) после того, как они его так мужественно отрицали. Еще другие, как Оберон Герберт, причалили к «Property Defense League», «Лиги для защиты земельной собственности». «La Révolte». № 38, 1893, статья об анархии.

**) «Anarchist Communism: ist basis and principles». By Peter Kropotkine, Republished by permission of the Editor from the Nineteenth Centure of February and August 1887, London.

их действия, а этого критерия нет. Во всяком случае, он не в законе, ибо *истинная справедливость неизменна, а законы меняются.* С законами происходит то же самое, что со всеми остальными (!) вещами («comme de tout le reste»). Ибо, если эти законы хороши, то к чему депутаты и сенаторы, меняющие их? Если они плохи, то к чему судебные чиновники, применяющие их?»

После такого изложения «*свободы*» Этиеван переходит к «*равенству*».

Все существа, начиная с растения-животного до человека, снабжены более или менее совершенными органами, назначение которых—служить этим существам. Следовательно, все существа, по ясной воле матери природы, имеют *право* пользоваться своими органами.

«Так, имея ноги, мы имеем право на любое пространство, которое в состоянии пройти; имея легкие, мы имеем право на весь воздух, который можем вдыхать; имея мозг, мы имеем право на все, что думаем сами и можем усвоить из мыслей другого; обладая способностью речи, мы в праве говорить все, что можем; имея уши, мы имеем право слушать все, что можем услышать,—и на все это мы имеем право потому, что имеем право на жизнь, и потому что все это составляет жизнь. Это истинные права человека! Излишне их декретировать: они существуют точно так же, как существует солнце, они не начертаны ни в какой конституции, ни в каком законе, но вписаны неизгладимыми буквами в великую книгу природы и не знают давности. От личинки до слона, от былинки до дуба, от атома до созвездия,—все возвещает об этом».

Если это не «метафизические идеи» худшего сорта, не жестокая каррикатура на метафизический материализм XVIII века, если это «эволюционная философия», то надо признать, что последняя не имеет ничего общего с научным движением нашего времени.

Послушаем другой авторитет. Дадим слово некогда знаменитой книге *Жан Грава* «La société mourante et l'anarchie» («Умирающее общество и анархия»)—книге, еще недавно запрещенной французской юстицией, нашедшей ее *опасной,* между тем как она лишь чрезвычайно *смешна.*

«Анархия это—отрицание авторитета. Авторитет выводит свое право на существование из необходимости охранять социальные институты, как семью, религию, собственность и др. Для утверждения и обеспечения своей власти он создал целую

сеть механизмов. Самые главные из них: закон, судопроизводство, армия, законодательная и исполнительная власть и т. д. Таким образом, анархистская идея, вынужденная давать ответ на все, сталкиваться со всеми социальными предрассудками, должна была проникнуть в глубь всех человеческих знаний и доказать, что ее понятия согласуются с физиологической и психологической природой человека и совершенно соответствуют наблюдениям законов природы в то время, как современная организация построена наперекор всякой логике и разуму... Анархисты, восставая против авторитета, должны были одновременно бороться и против всех тех учреждений, защищать которые стала власть, и необходимость которых она пытается доказать, желая тем самым оправдать свое собственное существование» *).

Мы видим, что было «развитием» «анархистской идеи». Эта идея «отрицала» авторитет. Чтобы защитить себя, авторитет ссылался на семью, религию, собственность. Тогда «идея» сочла себя вынужденной аттаковать эти учреждения, повидимому, раньше ею вовсе не замеченные; в то же время «идея», желая придать вес своим понятиям, проникла в глубь всех человеческих знаний (иногда и несчастье в пользу). Все это является лишь делом случая, простым следствием неожиданного оборота, который придал авторитет спору, завязавшемуся между ним и «идеей».

Нам кажется, что анархистская идея, как бы она ни была богата человеческими знаниями, ничуть не коммунистична; она таит про себя свое знание и оставляет бедных «товарищей» в полном невежестве. Кропоткин может, сколько угодно, петь хвалу *анархистскому мыслителю,* но ему никогда не удастся доказать, что его друг Грав сумел подняться хоть немного выше уровня *самой жалкой метафизики.*

Пусть Кропоткин вторично прочтет анархистские брошюры *Элизе Реклю,* этого «*великого теоретика*» перед господом и скажет, положа руку на сердце, имеется ли в них что-нибудь, кроме аппеляции к *справедливости, свободе* и другим «*метафизическим понятиям*».

Да, наконец, и сам Кропоткин вовсе не так эмансипировался от «метафизики», как он думает. Далеко нет! Вот, например, что сказал он 12 октября 1879 г. на генеральном собрании Юрской федерации в Шо-де-Фоне:

«Было время, когда за анархистами отрицали чуть ли не

*) См. там же, стр. 1—2.

право на существование. Генеральный совет Интернационала обходился с ними, как с мятежниками, пресса—как с мечтателями, и чуть ли не весь мир—как с глупцами. Это время прошло. Анархистская партия доказала свою *жизненную силу;* она преодолела всевозможные преграды, задерживавшие ее развитие; теперь она *признана* (кем? *Г. П.).* Для этого необходимо было прежде всего, чтобы партия вела борьбу на почве теории, чтобы она выставила свой идеал будущего общества, чтобы она доказала идеал, более того—она должна была доказать, что идеал этот не плод кабинетных мечтаний, а вытекает непосредственно из народных стремлений, вполне согласуясь с историческим прогрессом культуры и идей. Эта работа выполнена»...

Разве *эта погоня за наилучшим идеалом будущего общества* не представляет собою утопический метод чистейшей воды? Правда, Кропоткин пытается «доказать», что этот идеал не продукт кабинетных измышлений, а вытекает из народных стремлений и согласуется с историческим развитием культуры и идей. Какой утопист не пытается утверждать то же самое? Все зависит от *ценности* доказательств, и в этом отношении наш любезный соотечественник неизмеримо слабее великих утопистов, которых он трактует, как метафизиков, не имея при этом ни малейшего понятия о методе современной социальной науки.

Но прежде, чем исследовать ценность *доказательств,* познакомимся с самим идеалом. Как представляет себе анархистское общество Кропоткин?

Революционные политики «якобинцы» (Кропоткин ненавидит якобинцев еще больше, чем ненавидела их наша любезная императрица Екатерина II), занятые исключительно реорганизацией государственной машины, предоставляли народу умирать с голоду. Анархисты будут действовать иначе. Они разрушат государство и побудят народ к *экспроприации богатых,* а когда экспроприация начнется, то они составят *инвентарь* всеобщего богатства и организуют *распределение.*

«Все будет совершено самим народом. Развяжите только народу руки, и через неделю будет налажено с изумительной правильностью снабжение с'естными припасами. В этом может сомневаться только тот, кто никогда не видел трудящуюся массу за работой и всю жизнь провел, уткнувшись носом в свитки. Поговорите об организаторском таланте народа—этого непризнанного гения—с теми, которые видели его в день борьбы на баррикадах Парижа (Кропоткин его не видел.—*Г. П.)* или недавно в Лондоне, во время большой стачки, когда нужно было прокормить миллионы голодных,—они вам скажут, насколько народ выше этих бюрократических домоседов».

Система, положенная в основу всеобщего потребления жизненных припасов, будет очень справедливой и ничуть не якобинской.

«Существует только одна, единственная, соответствующая чувству справедливости и действительно практичная система: брать, сколько угодно (дословно—грудой), из того, что есть в избытке, и выдача пайками того, что приходится распределять с умеренностью. Из 350 миллионов, населяющих Европу,—200 миллионов вполне еще следуют этой естественной практике»,

что, между прочим, доказывает, что анархистский идеал вытекает из «народных стремлений». То же самое применимо и по отношению к *одежде* и *жилищу.* Народ устроит все по тому же способу.

«Произойдет переворот, это несомненно. Только переворот этот не должен привести к сплошным потерям; последние должны быть сведены до минимума. И тем—мы не устанем повторять это,—что мы будем обращаться к заинтересованным, а не в бюро, мы достигнем наименьшей суммы неприятностей для всех» *).

Таким образом, с первых дней революции мы будем иметь *организацию.* Капризы суверенных «индивидуумов» будут удерживаться в границах благоразумия потребностями общества и логикой положения вещей. И все-таки будет полная и окончательная анархия; индивидуальная свобода будет спасена и неприкосновенна. Это кажется невероятным, но это так: есть анархия, но есть и организация; существуют правила, обязательные для каждого; несмотря на это, каждый делает, что ему угодно. Вы этого не понимаете? Дело чрезвычайно просто. Эта организация не будет делом рук «авторитарных» революционеров; все эти обязательные, но все-таки анархические предписания будут возвещены самим народом, этим непризнанным гением, а народ очень умен; кто видел дни борьбы на баррикадах,—тот об этом может рассказать **).

*) Там же, стр. 111.

**) В виду того, что Кропоткин был в Лондоне во время большой стачки на доках и имел возможность лично ознакомиться со способом доставки жизненных припасов забастовщикам, то мы считаем нужным констатировать, что дело происходило иначе, чем можно заключить по вышеприведенным словам Кропоткина. *Организованный Комитет,* состоявший из представителей профессиональных союзов и поддерживаемый государственными социалистами (Чэмпион) и социал-демократами (Бернс, Манн, Маркс-Эвелинг), заключил договоры с торговцами с'естными припасами; он разда-

Но что будет, если этот непризнанный гений сделает глупость создать столь ненавистное Кропоткину «бюро»? Что, если он, как это было в марте 1871 г., назначит себе революционное «правительство»? Тогда мы скажем, что народ ошибся, мы попытаемся привить ему более правильный образ мыслей и, в случае необходимости, будем швырять бомбами в тех, кто заседает в «креслах» (Sesseldrücker). Мы будем заставлять народ организоваться, а его организации мы будем разрушать.

Так осуществляется великий анархистский идеал—в воображении. Во имя свободы индивидуума, подчиняют действия индивидуума и всей партии революционеров действиям «*народа*», заставляют *индивидуума* тонуть *в массе*. Раз только освоишься с этим логическим процессом, то не сталкиваешься уже ни с какими трудностями, и тогда можно хвастать своей «неавторитарностью» и «неутопичностью». Нет ничего легче, нет ничего приятнее.

Но для того, чтобы потреблять, надо и производить. Кропоткин это знает до того основательно, что дает по этому случаю «авторитаристу» Марксу хороший урок.

> «Зло современной организации заключается не в том, что «прибавочная стоимость» производства достается капиталисту, как это утверждают Родбертус и Маркс, суживая таким образом социалистическое мировоззрение и общие основные идеи о господстве капитала. Сама прибавочная стоимость является следствием более глубоких причин. Зло заключается в том, что вместо простого неизрасходованного данным поколением избытка, вообще существует какая бы то ни было «прибавочная стоимость». Ибо для образования «прибавочной стоимости» мужчины, женщины и дети, вынуждаемые голодом, должны продавать свою рабочую силу за минимальную долю той стоимости, которую они производят и—главное—могут произвести (Бедный Маркс, не имевший никакого представления об этих глубоких истинах изложенных, хотя и несколько туманно, ученым князем! *Г. П.*)... Действительно, недостаточно разделить на равные части реализованную прибыль какой-нибудь отрасли производства, если одновременно приходится эксплоатировать тысячи других рабочих. *Все дело в том, чтобы при наименьшей затрате человеческой энергии произвести наибольшее количество продуктов, необходимых для всеобщего блага*» (курсив Кропоткина).

Мы, жалкие невежды-марксисты, оказывается, никогда и не слыхали, что социалистическое общество предполагает планомерную организацию общественного процесса производства. Так как Кропоткин нам это открывает, то разумнее всего обратиться к нему же за раз'яснениями, в каком именно виде произойдет эта организация. И по данному вопросу он сообщает нам весьма интересные вещи.

> «Представим себе общество, состоящее из многих миллионов людей, занятых сельским хозяйством и во всевозможных отраслях индустрии,—например, Париж с департаментом Сены и Уазы. Допустим, что в этом обществе все дети упражняются одинаково как в умственном, так и физическом труде. Допустим дальше, что все взрослые, кроме женщин, занятых воспитанием детей, обязуются с двадцати или двадцати двух до сорока пяти или пятидесятилетнего возраста *работать ежедневно пять часов,* выбирая работу в любой отрасли полезного труда. Подобное общество сможет с своей стороны взамен обеспечить членам привольное существование, более реальное, чем то, которым ныне пользуется буржуазия. И каждый трудящийся член этого общества будет располагать ежедневно по крайней мере пятью часами, которые он сможет посвятить науке и другим индивидуальным потребностям, не относящимся к категории необходимых; впоследствии, с ростом человеческой производитель-

вал забастовщикам марки, по которым они получали у торговцев известное количество припасов. Поставщикам платили из сумм, образовавшихся от *денежных сборов,* значительную часть которых внесло *буржуазное* общество, побуждаемое буржуазными газетами. Раздача с'естных припасов бастующим или лишившимся из-за стачки заработка производилась *Армией Спасения,* строго централизованным, бюрократически организованным учреждением и другими филантропическими обществами. Но все это имеет весьма мало общего с доставкой и раздачей с'естных припасов «на другой день после революции», с организацией так называемой «службы снабжения с'естными припасами». С'естные припасы были в наличности, и вопрос состоял только в их *закупке* и *раздаче* в целях оказания помощи; «народ», т.-е. бастующие, как раз в этом отношении не помог себе сам, ему *помогали другие.*

Мимоходом—неверно и то, что якобинцы занимались только политикой и предоставляли народу умирать с голоду. Законы о «максимуме» и общественные магазины с'естных припасов указывают на то, что не мало попыток было сделано для регулирования вопроса о жизненных припасах в благоприятном для народа смысле. Крупные голодные бунты разразились лишь после падения якобинцев (Примечание немецкого переводчика).

ности, все то, что теперь считается недоступной роскошью,— также будет внесено в категорию необходимых потребностей» *).

В анархистском обществе не будет никаких авторитетов, а только *договор* (снова вы здесь, господин Прудон! мы видим, что вы все еще здравствуете!), в силу которого бесконечно свободные индивидуумы «обязуются» работать в той или другой «свободной коммуне». Договор это—справедливость, свобода и равенство, это—Прудон, Кропоткин и прочие угодники. Но в то же время с договором шутить нельзя! Он вовсе не такое беззащитное существо, каким кажется. И в самом деле—пусть-ка подписавшему свободный договор неугодно будет выполнять свои обязанности. Тогда он будет выгнан из свободной коммуны и подвергнется опасности умереть с голода—перспектива не из веселых.

Предположим, что известная группа лиц добровольно соединилась для какого-нибудь предприятия, для успеха которого ревностно работают все, за исключением одного члена, весьма неаккуратно исполняющего обязанности; неужели из-за него придется распустить всю группу или назначить президента, который налагал бы кары, или быть может, как в школах,—раздавать контрольные марки? Ясно, что ничего подобного не сделают, а в один прекрасный день обратятся к товарищу, подвергающему опасности все предприятие со следующими словами: «Друг, мы охотно работали бы вместе, но так как ты часто манкируешь и небрежно исполняешь свою работу, мы принуждены расстаться. Поищи других товарищей, которые захотят мириться с твоей небрежностью!» **) Это в сущности довольно резко, но за то посмотрите, как с внешней стороны все соблюдено, как сохранен анархистский принцип... на словах. Поистине, мы не будем удивлены, если в анархистки-коммунистском обществе найдутся люди, гильотинированные только потому, что их сумели убедить в пользе этого, или по крайней мере—в силу свободно заключенного договора.

Вдобавок это анархистское средство образумления ленивых «свободных индивидуумов» совершенно *«естественно»:* оно теперь применяется «всюду, во всех отраслях промышленности на ряду со всевозможными штрафными системами, вычетами из жалованья, надзорами и т. п. Рабочий может являться в мастерскую в положенное время, но если он плохо исполняет свою работу, если мешает своим товарищам небрежностью или другими погрешностями, если он ссорится,—тогда конец. Его принуждают оставить мастерскую» ***). Ясно, насколько гар-

*) «La Conquête du Pain», стр. 128—129.
**) Там же, стр. 201—202.
***) Там же, стр. 202.

монирует *анархистский* «идеал» с «тенденциями»... *капиталистического* общества.

Впрочем, такие крайние меры будут применяться чрезвычайно редко. Освобожденные от ига государства и капиталистической эксплоатации, индивидуумы сами, по собственному свободному побуждению, будут удовлетворять потребности великой совокупности — общества. Все совершится при посредстве *«свободного соглашения»*.

> «Итак, гражданки и граждане, пусть другие проповедуют индустриальную казарму и монастырь авторитарного коммунизма, мы же заявляем, что *тенденция* общества развивается в противоположном направлении. Мы видим, как свободно организуются миллионы групп для удовлетворения всевозможных потребностей человека; одни группы составляются по кварталам, улицам, домам, другие же подают друг другу руки через стены городов, через границы и океаны (!). Все они составлены из человеческих существ, свободно нашедших друг друга—существ, которые, выполнив труд производства, соединяются для потребления, или для производства предметов роскоши, или же для развития наук. Это и есть тенденция XIX столетия, и мы ей следуем, мы желаем только ее дальнейшего свободного развития без препятствий со стороны правительств. Свобода индивидууму! «Возьмите камешки,—сказал Фурье,—положите их в коробку и встряхните ее,—образуется такая мозаика, какой вам никогда не получить, если бы вы поручили кому-нибудь разложить их в гармоническом порядке» *).

Один остроумный человек сказал, что символ веры анархистов сводится к двум статьям фантастического закона:

1. Ничего не будет.
2. Никому не поручается выполнение предыдущего параграфа.

Это не верно. Анархисты говорят:

1. Все будет.
2. Никому не поручается заботиться о том, что будет,—что бы там ни было.

Это соблазнительный *«идеал»,* осуществление которого, к несчастью, только мало вероятно.

Что это за «свободное соглашение», которое существует, по Кропоткину, даже в капиталистическом обществе? Для подтверждения он

*) «L'anarchie dans l'évolution socialiste (conférence faite à la salle Levis»), Paris, p. 20—21.

приводит примеры двоякого рода: а) относящиеся к производству и обращению товаров; б) относящиеся к области всевозможных любительских обществ, как ученые, филантропические и т. п.

> «Возьмем все большие предприятия, как Суэзский канал, трансатлантическое пароходство, телеграф, соединяющий обе Америки, возьмем, словом, всю организацию торговли, обеспечивающую нам возможность получать каждое утро хлеб у булочника, мясо у мясника, все, что вам необходимо в магазинах. Разве все это дело государства? Конечно, теперь мы платим посредникам страшно дорого. Тем больше основания для их устранения, но не следует думать, что нужно поручить заботу о нашем питании и одежде правительству».

Удивительная история. Мы начали с того, что ругали Маркса, который не думал ни о чем другом, как об уничтожении «прибавочной стоимости», и не имел понятия об организации производства, а кончаем мы требованием упразднения прибыли «*посредников*» и проповедью—поскольку дело касается производства—буржуазного «laisser faire, laisser passer». Маркс, не без основания, мог бы воскликнуть: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

Мы все знаем, что значит «свободное соглашение» предпринимателей, и можем только удивляться «*абсолютной*» наивности человека, видящего в этом соглашении предвестник коммунизма. Как раз это анархистское «соглашение» и необходимо устранить для того, чтобы производители перестали быть рабами своих же продуктов *).

Что касается действительно свободно организовавшихся обществ ученых, художников, филантропов и т. п., то Кропоткин сам знает, чего стоит этот пример. Такие общества «*составляются из человеческих существ, которые свободно сходятся по выполнении своей производительной работы*». Хотя это не совсем верно,—потому что в подобных обществах часто не встретишь ни одного производителя,—все же это доказывает, что свободным можно быть, только покончив свои счеты с производством. Поэтому, пресловутая «*тенденция XIX столетия*» ничего не говорит нам по интересующему нас вопросу: именно, как можно будет согласовать безграничную свободу индивидуума с экономическими потребностями коммунистического общества. И так как одна эта «тенденция» составляет весь научный аппарат нашего «анархистского мыслителя», то мы принуждены заключить, что его аппеляция к науке только простая фраза; что он, несмотря на свое презрение к утопистам,

*) Кропоткин говорит о «Суэзском канале». Почему не о Панаме?

сам является одним из наименее проницательных утопистов—обыкновенным охотником за «наилучшим идеалом».

«*Свободное соглашение*» творит чудеса, если не в анархистском обществе, к несчастью, еще не существующем, то, по меньшей мере, в анархистской аргументации.

> «С падением современного общества индивидуумы не будут нуждаться больше в накоплении богатств для будущего,—что, впрочем, станет невозможным за упразднением денег или ценных знаков; так как в новом обществе каждому обеспечивается удовлетворение всех потребностей, и стимулом индивидуумов будет лишь идеал постоянного стремления к лучшему; так как отношения индивидуумов или групп не будут больше основываться на торговом обмене, при котором каждый участник только старается одурачить своего партнера (свободное соглашение буржуа, упомянутое Кропоткиным! *Г. П.),* то общение возникнет на почве взаимных услуг, при которых частному интересу не останется никакой роли, соглашение облегчится и исчезнут причины раздора» *).

Вопрос: Как будет удовлетворять новое общество потребности своих членов? Как обеспечит оно им уверенность в завтрашнем дне?

Ответ: Посредством свободного соглашения.

Вопрос: Возможно ли будет производство, опирающееся только на свободное соглашение индивидуумов?

Ответ: Вполне! И чтобы в этом убедиться, нужно только *предположить*, что завтрашний день обеспечен; что все потребности удовлетворены,—словом, что производство, благодаря свободному соглашению, совершается беспрепятственно. Как сильны в логике эти товарищи и как прекрасен идеал, основанием которого служит нелогичная предпосылка! *Ибо единственной основой идеала анархистских коммунистов служит это petitio principii; они берут предпосылкой именно то, что должно быть доказано.* Товарищ Грав, «глубокий мыслитель», особенно богат предпосылками. Как только ему встречается затруднение, он «предполагает», что это затруднение уже пало, и тогда все устраивается к лучшему в этом лучшем из идеалов.

«Глубокий» Грав менее осторожен, чем «ученый» Кропоткин. Он также—единственный, которому удается довести «идеал» до «абсолютной» бессмыслицы. Он спрашивает, как поступить, если в «обществе на

*) *J. Grave.* «La Société au lendemain de la Révolution», Paris, 1889, p. 61—62.

другой день после революции» найдется отец, который откажется давать *какое бы то ни было образование* своему ребенку. Отец—индивидуум с неограниченными правами. Он следует анархистскому правилу: «делай все, что хочешь». Никто не имеет, стало быть, права его образумить. Но и ребенок, в свою очередь, тоже может делать все, что он хочет, а он хочет учиться. Как разрешить этот конфликт; как выйти из этого затруднения, не нарушая святых законов анархии?—При помощи простой «предпосылки».

> «Вследствие того, что отношения (между гражданами.—*Г. П.*) будут многообразнее и более проникнуты братскими чувствами, чем в современном обществе, основанном на антагонизме интересов, ребенок, проникшись тем, что он ежедневно видит и слышит вокруг себя, легко освободится от влияния родителей и найдет необходимую ему помощь для приобретения знаний, в которых они ему отказывают. Тем скорее это будет в тех случаях, когда ребенок, слишком несчастный под властью родителей, оставит их, чтобы стать под защиту более симпатичных ему людей, а родители уже не будут в состоянии вернуть своего раба при содействии жандармов, как это разрешает закон теперь» *).

Это не ребенок убегает от своих родителей, это утопист старается спастись от непреодолимых логических трудностей. И все-таки его соломонов суд показался товарищам таким премудрым, что приведенные здесь слова были дословно цитированы Эмилем Дарно в его книге: «La société future» («Будущее общество»), Soix 1890, p. 26,—книге, специально предназначенной для популяризации ученых хитросплетений Грава.

> «Анархия, эта противогосударственная система социализма, имеет двойное происхождение. Она продукт двух наиболее крупных умственных течений на почве экономической и политической, которые характеризуют наше столетие, в особенности его вторую половину. Вместе со всеми социалистами анархисты утверждают, что частное владение землею, капиталом и машинами уже близится к концу, что оно обречено на исчезновение, и что все орудия производства должны стать и действительно будут достоянием общества, что они будут находиться в ведении самих производителей общественного богатства. И в полном согласии с самыми передовыми представителями политического радикализма они утверждают, что идеал политического устройства общества состоит в том, чтобы свести функции правительства до минимума, вернуть индивидууму полную свободу инициативы и действия и посредством свободно организованных свободных групп и союзов удовлетворить все бесконечно разнообразные потребности человеческого существа.
>
> Что касается социализма, то большинство анархистов доходят до его конечных выводов, т.-е. до полного отрицания системы наемного труда и до коммунизма. Что же касается политической организации, то они, развивая вышеупомянутую часть радикальной программы, приходят к заключению, что конечная цель общества—свести на-нет функции правительства, т.-е. они приходят к обществу без правительства, к анархии.
>
> Далее анархисты утверждают, что достижение идеала социальной и политической организации не должно откладывать на будущие столетия, и что в нашей социальной организации следует признавать жизнеспособными и благодетельными для общежития только те изменения, которые согласуются с вышеупомянутым двойным идеалом и приближают нас к нему» *).

*) Там же, стр. 99.

Кропоткин открывает нам в удивительно ясной форме *происхождение и природу* своего «*идеала*». Этот идеал, подобно бакунинскому, действительно, «двойной»; он в самом деле рожден от связи буржуазного радикализма, или, вернее, *манчестерства* с коммунизмом, подобно тому, как Иисус был рожден пречистой девой Марией и св. духом. Эти обе природы анархистского идеала так же трудно совместить, как две природы сына божьего. Но одна из этих природ, повидимому, побеждает, под конец вторую. Анархисты «желают» начать с непосредственного осуществления того, что Кропоткин называет «конечной целью общества» («The ultimate aim of society»), т.-е., с разрушения *государства*. Их исходная точка всегда безграничная *свобода* индивидуума. Манчестерство—прежде всего, коммунизм идет лишь следом **). Но, чтобы успокоить нас относительно вероятной судьбы этой второй натуры их идеала, анархисты беспрерывно воспевают мудрость, доброту и преду-

*) «Anarchist Communism», p. 3.

**) «L'anarchia é il funzionamento armonico di tutte le autonomie risolventesi nella eguaglianza totale della condizioni umane». L'anarchia nella scienza e nell' evoluzione (Traduzione dello Spagnuolo), Prato (Toscana), 1892, p. 26.

(По-русски: «Анархия—это гармоническое функционирование всех самоопределений, растворенных в полнейшем равенстве всех человеческих условий». Анархия в науке и в развитии. С испанского).

смотрительность человека «*будущего*». Он будет настолько совершенен, что, без сомнения, будет знать, как организовать коммунистическое производство. Он будет настолько совершенен, что, восхищаясь им, задаешься вопросом, почему же не доверить ему немного «*власти*».

IV.

Так называемая анархистская тактика.

Ее мораль.

Анархисты—утописты. Их точка зрения не имеет ничего общего с современным научным социализмом.

Но бывают утопии и утопии. Великие утописты первой половины нашего столетия были гениальные люди; они двинули вперед социальную науку, стоявшую тогда всецело на утопической точке зрения. Утописты же нашего времени, анархисты, это—«*извлекатели квинт-эссенции*» («abstracteurs de quint-essence»), которые умеют только с грехом пополам делать скудные выводы из некоторых принципов. Они не имеют ничего общего с социальной наукой, опередившей их в своем движении, по крайней мере, на полстолетия. Их «*глубоким мыслителям*» и «*возвышенным теоретикам*» не удалось даже свести оба конца своего хода доказательств. Они—*утописты упадка,* пораженные неизлечимым духовным малокровием. Великие утописты много сделали для развития рабочего движения. Утописты же нашего времени только и делают, что задерживают его прогресс. В особенности вредит пролетариату их так называемая тактика.

Мы уже знаем, что Бакунин комментирует статуты Интернационала в том смысле, что рабочий класс должен *отказаться* от всякой *политической* деятельности и сконцентрировать все свои силы в области «*непосредственной экономической*» борьбы за увеличение заработной платы, уменьшение рабочего дня и т. д. Бакунин и сам смутно чувствовал, что подобная тактика мало революционна. Он пытался дополнить ее деятельностью своего «Аллианса» и проповедывал «*бунт*» *). Но с дальнейшим развитием классового сознания у пролетариата последний все больше склоняется на сторону политического действия и отказывается

*) В своих мечтах о бунтах и даже о революциях анархисты с особенною страстью и восторгом предают сожжению имущественные акты и государственные бумаги. В особенности *Кропоткин* придает чрезвычайную важность этим аутодафе. Хочется сказать—*взбунтовавшийся бюрократ.*

от бунтов, *столь частых в дни его детства.* Труднее довести до бунта достигших известной высоты политического развития рабочих западной Европы, чем, например, легковерных и невежественных русских крестьян. Так как *тактика бунтов не оказалась по вкусу пролетариату,* то «товарищам» пришлось заменить ее «*индивидуальным* действием». Главным образом после неудавшегося восстания в Беневенто в Италии в 1877 г. бакунисты стали прославлять пропаганду действием; но если мы бросим взгляд на время, отделяющее нас от попытки при Беневенто, то увидим, что эта пропаганда приняла совершенно специальное направление: *очень мало бунтов,* вдобавок очень незначительные бунты, за то *много единичных покушений,* направленных против общественных зданий, против личностей и даже против—«*индивидуальной наследственной*» собственности. Иначе и быть не могло.

«Мы видели уже многочисленные восстания народных масс, желавших добиться настоятельных реформ»,—сказала Луиза Мишель корреспонденту «Matin», интервьюировавшему ее по поводу покушения Вальяна. «Что происходило? *Расстреливали* народ. Мы находим теперь, что народ потерял достаточно крови; лучше, если мужественные люди будут жертвовать собой и совершать на свой собственный риск *насильственные* действия, имеющие целью терроризировать правительство и буржуа» *).

Это именно то, что мы сказали, только немного другими словами. Луиза Мишель *лишь забыла прибавить, что бунты,* влекущие за собой кровопускание народа, *некогда фигурировали* во главе программы *анархистов,* и это до тех пор, пока они не убедились, что такие частичные восстания не приносят никакой пользы делу рабочих, но что в большинстве случаев сами рабочие и слышать не хотят об этих бунтах.

Заблуждение, как и истина, имеет свою логику. Если отвергать политическую деятельность рабочего класса, то, при нежелании играть в руку буржуазным политикам, неминуемо придется принять тактику Вальянов и Анри (Vaillant et Henry).

Лишь презирай свой ум да знанья жар,
Могучий человека дар;
Пусть с жалкой, призрачной забавой
Тебя освоит дух лукавый,—
Тогда ты мой, без дальных слов!

Что касается «жалких призрачных забав», то в аргументациях анархистов против политической деятельности пролетариата их бес-

*) Напечатано в «Peuple», Lyon, 20 декабря 1893 г.

численное множество. «Быстрота» здесь превращается в действительное «колдовство». Так, Кропоткин пользуется против социал-демократов их же собственным оружием—*материалистическим пониманием истории*. Он уверяет:

> «Каждому новому экономическому фазису жизни соответствует новый политический фазис. Абсолютная монархия, т.-е. господство двора, соответствует системе крепостничества, представительное правительство соответствует господству капитала. Но то и другое—системы классового господства. В обществе, где исчезнет разница между капиталистом и рабочим, не будет и надобности в подобном правительстве, оно станет анахронизмом, обузой» *).

Если бы социал-демократы сказали, что они все это знают, по меньшей мере, так же хорошо, как и он, то Кропоткин ответил бы, что это возможно, но, что в таком случае они не хотят выводить правильного «*заключения*» из этих «*предпосылок*». Он, Кропоткин, в совершенстве владеет логикой. Так как политическая конституция каждой страны,—аргументирует Кропоткин,—определяется ее экономической структурой, то политическая деятельность социалистов — абсолютная бессмыслица.

> «Желать достичь социализма или хотя бы (!) аграрной революции посредством политической революции—чистейшая утопия, потому что история всюду показывает, что политические изменения являются последствиями великих экономических революций, а не наоборот» **).

Привел ли лучший геометр в мире нечто более неопровержимое, чем подобные доказательства?

Опираясь на это незыблемое основание, *Кропоткин* советует *русским* революционерам *отказаться от своей политической борьбы с абсолютизмом*. Они должны преследовать непосредственно экономическую цель.

> «Освобождение русских крестьян от ига крепостничества, тяготеющего над ними и до настоящего дня, составляет, таким образом, первую задачу русского революционера. Работая в этой области, он работает прямо и непосредственно на пользу народа...

*) «The Anarchist Communism», p. 8.

**) Предисловие Кропоткина к русскому изданию брошюры Бакунина: «Парижская Коммуна и идея государства». Женева, 1892 г., стр. V.

> и подготовляет, между прочим, ослабление централизованной власти государства и ее ограничение» *).

Итак, освобождение крестьян будет способствовать ослаблению русского абсолютизма. Но каким образом освободить крестьян, прежде чем свергнуть абсолютизм? Абсолютная тайна! Это освобождение—настоящее чародейство! Старый Лисков был прав, говоря: «легче и проще писать пальцами, чем головою».

Как бы то ни было, вся политика рабочего класса должна быть выражена в нескольких словах: «*Долой политику! Да здравствует непосредственная экономическая борьба!*». Это бакунизм,—но усовершенствованный бакунизм. Бакунин сам побуждал рабочих бороться за уменьшение рабочего дня и повышение платы. *Теперешние* же анархисты - коммунисты пытаются «раз'яснить рабочим, что подобными пустяками они *ничего* не выиграют, что переустроить общество можно только разрушением правящих учреждений» **). Повышение заработной платы бесполезно.

> «Не существует ли Северная и Южная Америка, доказывающая нам, что повсюду, где рабочему удалось получить высшую плату, соответственно этому повысились и цены на жизненные припасы; так что, если ему удалось заработать 20 фр. в день, то стало необходимым иметь 25 фр., чтобы прожить, как *более обеспеченный рабочий;* и вот он опять на уровне ниже среднего» ***).
>
> «Сокращение рабочего времени, по меньшей мере, излишне, так как капитал, посредством усовершенствованных машин, примется за «систематическую интенсификацию труда». Сам Маркс доказывал это совершенно ясно» ****).

Благодаря Кропоткину, мы уже знаем, что анархистский идеал имеет двоякое происхождение. Двоякое происхождение имеют также и все «выводы» анархистов. С одной стороны, они взяты из вульгарных учебников политической экономии, сочиненных *вульгарнейшими буржуазными экономистами*. Примером может служить диссертация Грава о заработной плате, которой с восторгом рукоплескал бы сам Бастиа. С другой стороны, товарищи, вспоминая о «коммунистическом» происхождении своего идеала, обращаются к Марксу и цитируют его, *не по-*

*) Там же, та же страница.

**) *J. Grave*, «La société mourante et l'anarchie», p. 253.

***) См. там же, стр. 249.

****) Там же, стр. 250—251.

нимая его. Уже Бакунин в значительной степени был «софистизирован» марксизмом. У современных же анархистов, начиная с Кропоткина, это еще более заметно *). Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, как говорит Лермонтов. Действительно,—грустно. Каждый раз, когда пролетариат делает усилие, чтобы добиться какого-нибудь улучшения своего экономического положения, со всех сторон сбегаются «мужественные люди», начинают уверять его в своей нежной любви и пытаются, опираясь на свои хромающие выводы, отторгнуть его от движения, всеми возможными способами доказывая, что движение бесполезно. Так это было, например, во время движения в пользу *восьмичасового рабочего дня;* анархисты *боролись против него* с рвением, достойным лучшей участи. Если же пролетариат, несмотря ни на что, идет вперед, если он продолжает преследовать свою «*непосредственно экономическую*» цель,—он, к счастью, так и поступает,—то снова появляются те же самые «мужественные люди», снабженные бомбами, и доставляют правительству желанный и искомый предлог напасть на пролетариат. Мы это видели в Париже 1 мая 1890 года; мы это часто видим при стачках. Славный народ—эти «мужественные люди!».

Анархист не желает «*парламентаризма*», потому что парламентаризм лишь «усыпляет» пролетариат. Анархист не желает никаких «реформ», потому что реформы означают компромисс с имущими классами. Он хочет *революцию—простую, цельную, непосредственную и непосредственно экономическую* революцию. Для достижения этой цели он вооружается горшком, начиненным взрывчатым веществом, и бросает его в публику какого-нибудь ресторана или театра. Он утверждает, что это—часть «*революции*»; мы же видим здесь лишь «*непосредственно* буйное помешательство».

Излишне упоминать о том, что *буржуазные правительства*, как бы строго они ни относились к отдельным лицам, совершающим покушения, могут только *поздравить* себя с их тактикой. «Общество в опасности!» «Caveant consules!». И «консулы»-полицейские действуют, а общественное мнение рукоплещет всем реакционным мерам, которые придумываются министрами ради спасения общества.

*) Невежество Грава, этого «глубокого мыслителя», вообще достопримечательно, но оно превосходит все границы вероятия в области политической экономии. В данном случае оно равняется только невежеству ученого геолога *Кропоткина*, который высказывает самые чудовищные вещи, как только возьмется разбирать какой-нибудь экономический вопрос. Мы очень сожалеем, что за недостатком места не можем позабавить читателей любопытными образчиками анархистской политической экономии. Читатели должны довольствоваться тем, что им преподал Кропоткин о Марксе и «прибавочной стоимости».

> «Спасители общества, террористы в мундирах, чтобы иметь значение в филистерских массах, нуждаются в ореоле истых сынов «священного порядка», «благодетельного детища неба», и достичь этого ореола помогают им школьнические покушения террористов в лохмотьях. Иной из этих бедных глупцов, упиваясь своими дикими фантазиями, даже и не замечает, что он, как марионетка, вертится на проволоках ловкого, стоящего за кулисами террориста-государственного деятеля; он не замечает, что вызываемый им ужас и страх служит для отуманивания толпы филистеров, которая после этого, ликуя, приветствует каждую бойню, прокладывающую путь реакции» *).

Уже Наполеон III,—чтобы иметь лишний случай спасать общество от угрожающих ему врагов порядка,—устраивал себе от времени до времени покушение. Чистосердечные признания весьма нечистоплотного Andrieux **), образ действия немецких и австрийских агентов-провокаторов, новейшие разоблачения по поводу покушения на парламент в Мадриде и т. п. ясно доказывают, что современные правительства извлекают громадную пользу из тактики «товарищей», и что *работа террористов в мундирах была бы гораздо затруднительнее, если бы анархисты не старались с таким рвением облегчать ее им.*

Реакционная и консервативная пресса всегда проявляла едва замаскированную симпатию к анархистам; она глубоко сожалеет, что

*) «Вперед», 23 января 1894 г.

**) «Товарищи искали кого-нибудь, кто бы представил залог, но подлый капитал не выражал ни малейшего желания последовать приглашению. Я толкнул его в бок, этот подлый *капитал*, и мне удалось его убедить, что он в *своих интересах* должен способствовать изданию анархистского органа... Не следует, однако, думать, что я с грубой откровенностью предложил анархистам руку помощи полицейской префектуры. Я поручил прилично одетому буржуа разыскать между ними одного из самых деятельных и интеллигентных. Буржуа об'яснил ему, что нажил некоторое состояние аптекарской торговлей и теперь желает часть своих доходов предоставить для пропаганды социализма. Этот буржуа, отдававший себя на пожранье, не внушил товарищам ни малейшего недоверия. При его посредстве я внес в государственную кассу требуемый залог, и журнал «La Révolution Sociale» возвестил о своем выходе в свет. Это был еженедельник, так как мое великодушие, как дрогиста, не простиралось так далеко, чтобы содержать ежедневную газету».—Ср. «Souvenirs d'un préfet de police». («Воспоминания полицейского префекта»). Jules Rouff et Comp., Editeurs, Paris. 1885, I, p. 337 и следующие.

социалисты, сознательно относящиеся к своей цели, не хотят иметь ничего общего с анархистами. «Они прогнали их, как жалких собак», соболезнует парижский «Figaro» по случаю исключения «товарищей» из конгресса в Цюрихе *).

Анархист—человек, обреченный (если он только не сыщик) *постоянно и везде достигать противоположного тому, что ему желательно.*

«Посылать рабочих в парламент,—заявил Борда перед лионским судом в 1883 г.,—значит поступать, как мать, ведущая свою дочь в дом терпимости».

Итак, анархисты отвергают политическую деятельность и *во имя морали.* Но куда приводит их эта боязнь парламентской развращенности? *К восхвалению воровства* («Клади деньги в свой кошель», писал Мост уже в 1880 году в своей «Свободе»), к геройским подвигам *Дюваля* и *Равашоля,* совершавшим во имя «дела» *самые низкие* и *отвратительные* преступления. Герцен где-то рассказывает, что в одном маленьком итальянском городке он встречал только священников и бандитов; он был очень смущен тем, что никак не мог отличить, кто священник, и кто бандит. В том же положении находятся теперь все беспристрастные люди по отношению к анархистам: *как угадать, где кончается «товарищ» и начинается бандит?* Даже самим анархистам это не всегда удается, что доказывают прения, вызванные в их кругах делом Равашоля. Лучшие из них, честность которых неоспорима, постоянно колеблются в своих суждениях о «*пропаганде действием*».

Так, например, *Элизэ Реклю* говорит:

> «Осудить пропаганду действием? Но ведь эта пропаганда есть не что иное, как проповедь собственным *примером добра* и *любви к человеку.* Те, которые *насилия* называют «пропагандой действием», доказывают лишь, что они *не поняли* значения этого выражения. Анархист, *понимающий* свою роль, вместо того, чтобы *убить* человека, постарается *внушить ему свои убеждения,* сделать его своим адептом, который, в свою очередь, будет пропагандировать действием, относясь справедливо и с добротой ко всем, с которыми он сталкивается» *).

*) Кстати. Анархисты требовали допущения на социалистические конгрессы во имя народной свободы. Приведем, однако, взгляд французского «Вестника анархии» на конгрессы. «Анархисты могут себя поздравить, что некоторые из них присутствовали на конгрессе в Труа. Насколько нелеп, бессмыслен и бесцелен анархистский конгресс, настолько же логично использовать социалистические конгрессы, чтобы там развивать свои идеи». («La Révolte», номера от 6 до 12 января, 1889). Не вправе ли мы—*также во имя свободы*—попросить товарищей оставлять нас в покое?

Мы не спрашиваем, что останется от анархиста, решительно отказывающегося от тактики покушений. Просим только читателя внимательнее прочесть следующие строки.

> «Издатель «Sempre Avanti» («Всегда вперед») обращается к Элизэ Реклю с просьбой откровенно высказать свое мнение о Равашоле. Реклю ответил: «Я восхищен его мужеством, сердечной добротой, величием души, великодушием, с каким он простил своим врагам, вернее своим предателям. Я вряд ли знаю людей, превосходящих его благородством. Я оставляю открытым вопрос, насколько желательно настаивать каждый раз на своем праве до конца, и не должны ли взять верх соображения, основывающиеся на чувстве человеческой солидарности. Все-таки я принадлежу к тем, которые признают в Равашоле героя редких душевных качеств» **).

Это нисколько не гармонирует с выше цитированным об'яснением и неоспоримо доказывает, что гражданин Реклю очень неуверен; что для него не совсем ясно, где кончается его «товарищ», и где начинается бандит.

Проблему тем труднее разрешить, *что есть не мало индивидуумов, которые одновременно «бандиты» и анархисты.* Равашоль далеко не исключение. У недавно арестованных в Париже анархистов Ортица и Кьерикоти нашли массу краденых вещей. И не в одной только Франции встречается совмещение таких по виду совершенно различных занятий. Достаточно вспомнить случаи Камерера и Штельмахера в Вене.

Кропоткин всеми силами старается уверить нас, что анархистская мораль—мораль без обязательств и общественной санкции, мораль, чуждая всякому утилитарному соображению; что она, подобно естественной народной морали, есть «мораль привычки» поступать хорошо ***). Мораль анархистов, это—мораль лиц, оценивающих каждое человеческое действие с отвлеченной точки зрения неограниченных прав индивидуума и во имя этих прав оправдывающих жесточайшие насилия,

*) Смотри в «L'Etudiant socialiste», Брюссель, № 6, 1894, ответ Элизэ Реклю одному господину, запросившему его по поводу анархистских покушений.

**) Из «Twentieth Century, a radical weekly magazine», New-Jork, september, 1892, p. 15.

***) Смотри его «Anarchist Communism», стр. 34—35, его «L'Anarchie dans l'évolution socialiste», стр. 24—25 и его «Morale anarchiste» в различных местах.

самый отталкивающий произвол. «*Что нам до жертв*»,—воскликнул анархистский поэт Лоран Тальад в вечер покушения Вальяна на банкете общества «La Plume»,—*если только жест* (движение рукой) *красив!*».

Тальад—«декадент», который, благодаря своей бесчувственности, последователен в своих анархистских убеждениях. Анархисты ведут борьбу с демократией потому, что, по их мнению, демократия есть только тирания *большинства над меньшинством*. Большинство не имеет никакого права навязывать свою волю меньшинству. Но если так, то во имя какого морального принципа ополчаются анархисты на *буржуазию?* Не потому ли, что *та—не меньшинство?* Или потому, что она не делает все, что «хочет»?

«Fais ce que voudras—делай, что хочешь»,—провозглашают анархисты. Буржуазии «угодно» эксплоатировать пролетариат, и она это делает очень удачно. Она следует анархистскому рецепту, и товарищи глубоко неправы, когда жалуются на ее поведение. Но они становятся уже совершенно смешными, когда борются против буржуазии во имя ее жертв. «*Какое дело до гибели неопределенных народных масс,*—продолжает логичный анархист Тальад,—*если этим усиливается индивидуум!*» Вот настоящая мораль анархистов; это мораль цезарей: «sic volo»! «sic jubeo»! (Так хочу, так повелеваю!) *).

Словом: *во имя революции анархисты служат делу реакции; во имя нравственности они одобряют самые безнравственные действия, во имя индивидуальной свободы они попирают ногами все права своих ближних.*

И как раз поэтому вся анархистская доктрина разбивается о свою же собственную логику. Если первый встречный сумасшедший может убивать людей *только потому, что ему так заблагорассудилось,* то общество, состоящее из бесчисленного множества индивидуумов, вправе его образумить, *потому что это отнюдь не его каприз, а его обязанность, потому что это conditio sine qua non (необходимое условие) его существования.*

---

*) Как известно, Тальад вскоре после своих заявлений был ранен при взрыве в ресторане Фойо. Телеграмма («La Tribune de Genève», 5 April 1894 г.) прибавляет: г. Тальад не перестает отказываться от приписываемых ему анархистских теорий. Когда ему напомнили его статьи и вышеупомянутую знаменитую фразу, он замолчал и потребовал хлорала для облегчения своих страданий.

Заключение.

Буржуазия, анархизм и социализм.

«Отец анархии», «бессмертный» Прудон, горько смеется над теми людьми, для которых революция сводится к насильственным действиям, обмену ударами и к пролитию крови. Потомки «отца», современные анархисты, понимают революцию исключительно в этом ребячески зверском смысле.

Все, что не насилие,—измена делу, нечистоплотный компромисс с «властью» *).

Буржуазия, с своей стороны, в смущении не знает, что предпринять против анархистов. На почве теорий она по отношению к анархистам совершенно бессильна. Анархисты—ее же собственные детибаловни. Это ведь она первая пропагандировала теорию «laisser passer», проповедывала необузданный индивидуализм. Ее самый значительный современный философ *Герберт Спенсер*—только *консервативный анархист*. «Товарищи»—это деятельные и бойкие люди, доводящие до крайности буржуазную логику.

Судьи буржуазной республики присудили Грава к тюремному заключению, а книгу его «La société mourante et l'anarchie» («Умирающее общество и анархия»)—к уничтожению. А буржуазные писатели об'явили это жалкое произведение глубоким творением и автора—редким умом! Буржуазия не только не владеет никаким теоретическим оружием для победы над анархистами **), она видит свою собственную молодежь, очарованную этой доктриной. В этом пресыщенном, до мозга костей испорченном обществе, где давным давно умерла всякая вера, где все искренние кажутся смешными; в этом мире, где изнывают от скуки, где, испробовав все наслаждения, не знают больше, какой фантазией, каким распутством доставить себе новые ощущения,—находится много людей, благосклонно внимающих песням анархистской сирены. Среди

---

*) Правда, такие люди, как *Реклю*, не всегда одобряли подобное понимание революции. Но, повторяю еще раз,—что остается от анархиста, отрицающего «пропаганду действием»? Ничего, кроме *мечтательного, сантиментальнаго буржуа!*

**) Чтобы иметь представление о слабости буржуазных теоретиков и буржуазных политиков в их борьбе против анархистов, достаточно прочесть статьи Ломброзо и А. Берара в «Revue des Revues» от 15 февраля 1894 г., или статью Бурдо в «Revue de Paris» от 15 марта 1894 г. Последний ссылается только на «человеческую природу», которая, по его мнению, «не изменится, благодаря брошюрам Кропоткина и бомбам Равашоля».

«товарищей» в Париже имеется не мало элегантных людей «comme il faut», которые, по выражению французского писателя Рауля Алье, не могут обойтись без лакированных ботинок, и которые, идя на собрание, всегда украшают петличку сюртука цветком. Писатели и художники упадка, «декаденства», начинают исповедывать анархизм и проповедуют его теорию в журналах, вроде «Le Mercure de France», «La Plume» и т. п. Это вполне понятно. Было бы чрезвычайно странно, если бы анархизм—эта насквозь буржуазная доктрина—не нашел приверженцев среди французской буржуазии, самой пресыщенной изо всех буржуазий.

Овладевая анархистской доктриной, упадочные писатели конца века придают ей характер *буржуазного* индивидуализма. Если Кропоткин и Реклю ратуют во имя рабочего, притесняемого капиталистом, «La Plume» и «Le Mercure de France» делают это во имя *«индивидуума»*, стремящегося освободиться от всех оков общества, чтобы, наконец, делать все, что ему «угодно». Анархизм, таким образом, снова возвращается к своему исходному пункту. Штирнер говорил: *«Для меня нет ничего выше меня»*. Лоран Тальад говорит: *«Какое дело до гибели неопределенных народных масс, если этим усиливается индивидуум?»*

Буржуазия не знает больше, куда склонить голову. «Я, который так боролся за позитивизм,—вздыхает Золя,—чувствую, что после тридцатилетней борьбы мои убеждения колеблются. Религиозная вера препятствовала распространению подобных теорий, но разве она теперь почти не исчезла? Кто нам даст новый идеал?»

Ах, господа, нет идеалов для блуждающих мертвецов, как вы! Вы сделаете всевозможные попытки, вы станете буддистами, друидами, халдейскими «сарсами», каббалистами, магами, изистами *) или анархистами—всем, чем придется,—и вы все-таки останетесь тем же, что и теперь, существами без убеждения и закона, *опустошенными историей мешками*. Идеал буржуазии канул в вечность.

Нам же, социал-демократам, нечего опасаться анархистской пропаганды. Анархизм, дитя буржуазии, никогда не будет иметь серьезного влияния на пролетариат. Если среди анархистов и находятся рабочие, искренно жаждущие блага своего класса и готовые для него пожертвовать всем,—то они лишь по недоразумению очутились в этом лагере. Борьба за освобождение пролетариата знакома им только в той форме, какую хотят придать ей анархисты. Когда они просветятся, они перейдут к нам.

*) Последователи культа Изиды.

Вот пример. На лионском анархистском процессе в 1883 г. рабочий *Дегранж* рассказал, как он стал анархистом; он принимал участие в политическом движении и даже был избран в муниципальные советники в Виллефранше в ноябре 1879 г.

> «Когда в сентябре 1881 года в Виллефранше началась стачка красильщиков, я был назначен секретарем исполнительной комиссии, и во время этого достопамятного события... я убедился в необходимости подавления власти, потому что, кто говорит власть, тот говорит деспотизм.
>
> Что делали во время этой стачки префектурные и коммунальные власти для разрешения спора, когда хозяева отказались войти в переговоры с рабочими? Пятьдесят жандармов получили приказание разрубить узел саблей. Вот мирные средства, применяемые правительствами. Последствием этой стачки было то, что некоторые рабочие, в том числе и я, поняли необходимость серьезно взяться за изучение экономических вопросов; мы решили поэтому собираться по вечерам для совместных занятий» *).

Незачем добавлять, что группа стала анархистской.

Так постоянно и происходит. Деятельный и интеллигентный рабочий поддерживает программу какой-нибудь буржуазной партии. Буржуа говорят о благе трудящегося народа, но при первом представившемся случае изменяют ему. Рабочий, доверявший искренности этих господ, возмущен, он хочет расстаться с ними и принимает решение серьезно изучать «экономические вопросы». Является анархист и, ссылаясь на измену буржуазии и на шашки полицейских, начинает уверять, что политическая борьба не что иное, как буржуазное вранье, и что для освобождения рабочих необходимо отказаться от нее и поставить себе целью разрушение государства. Рабочий, еще только желавший «изучать» эти вещи, приходит к заключению, что «товарищ» прав, и становится, таким образом, убежденным и преданным анархистом. Что случилось бы, если бы он простер немного дальше изучение социальных наук? Что случилось бы, если бы он продолжал его и понял, что «товарищ»—только самоуверенный невежда, говорящий на ветер, что «идеал» анархиста несостоятелен, что кроме буржуазной политики—и как противоположность ее—существует *политика пролетариата*, которая положит конец капиталистическому обществу? Он стал бы социал-демократом.

*) Смотри «Le Procès des anarchistes devant la police correctionelle et le cours d'appel de Lyon». Lyon, 1883, p. 90—91.

Поэтому, чем больше распространяются наши идеи в рабочем классе—а они в рядах рабочих распространяются все более и более,—тем все менее склонны пролетарии следовать за такими «товарищами». Анархизм—мы не говорим об «ученых» акробатах—будет все более и более превращаться в *буржуазный спорт,* предназначенный доставлять «*сильные ощущения*» индивидуумам, слишком много вкусившим от светских и полусветских удовольствий.

И когда пролетариат станет господином положения, достаточно ему будет нахмурить брови, чтобы заставить замолчать всех «товарищей», даже самых «красивых». Ему достаточно будет дунуть,—и анархистская пыль исчезнет.

СИЛА и НАСИЛИЕ.

(К вопросу о революционной тактике).

Предисловие.

Весной 1894 года, когда французские анархисты возмущали весь цивилизованный мир своей «пропагандой действий» и когда я, по поручению Vorstand'a германской социал-демократической партии, написал брошюру «*Анархизм и социализм*», старый Либкнехт предложил мне написать для центрального органа наших немецких товарищей статью на тему о революционной тактике. Я охотно исполнил это предложение и послал Либкнехту статью: «*Сила и насилие*», тогда же появившуюся в «Vorwärts'e». Либкнехт писал мне, что он очень доволен ею, а итальянские товарищи перевели ее на свой язык и издали в Милане под заглавием: «La tactica rivoluzionaria» (Forza et violenza). Теперь товарищ З. перевел ее на русский язык и просил меня взять на себя редакцию его перевода. Я сделал это тем охотнее, что моя статья-брошюра была первоначально написана по-французски, потом переведена на немецкий язык, затем с немецкого ее перевели на итальянский, а с итальянского уже на русский: шансы не совершенно точной передачи моей мысли становились, поэтому, довольно велики.

Так как в то время, когда я писал эту статью, анархическая тактика была у всех на устах, то я и не раз указывал на нее в подтверждение своей мысли. На западе теперь в таких ссылках уж не было бы, пожалуй, большой надобности: анархизм там притих. Но в России они пригодятся, потому что анархизм,—который Желябов в своей защитительной речи так хорошо назвал ошибкой молодости нашего революционого движения,—опять начинает распространяться в нашем отечестве. Нашим сознательным рабочим нужно, стало быть, знать, в чем состоит коренное отличие нашей тактики от тактики анархистов.

А выяснив себе это, наши сознательные рабочие без труда увидят также, почему я так не одобряю тактики наших бывших «большевиков».

В этой тактике слишком мало марксизма и, наоборот, слишком много бланкизма и даже анархизма.

Бывшие «большевики» говорят, что я отстаиваю теперь, в виду переживаемых нами событий, не ту тактику, какую я отстаивал прежде. Но это показывает, что они не понимают, каковы были мои прежние тактические взгляды. Прочтите эту брошюру, и вы увидите, что когда я писал ее,—а это было, как я уже сказал, еще весною 1894 года,—я смотрел на социал-демократическую тактику совершенно так,—*до мелочей так*,—как я смотрю на нее в настоящее время.

Мне было очень отрадно убедиться в том, что мои тактические взгляды разделяют Либкнехт и итальянские марксисты. И мне не менее отрадно видеть, что они не нравятся последователям Ленина: каждое из этих двух столь различных обстоятельств представляется мне одинаково надежным показателем их истинности.

I.

Какова должна быть тактика социалистов в их борьбе за полное освобождение рабочего класса?

Для всякого ясно, что на тактику эту влияют в силу необходимости местные условия. Тем не менее социалистическая партия, являющаяся партией международной, должна выработать некоторые общие, неизменные правила, несмотря ни на какие различия в обстоятельствах времени и места.

Следует, кроме того, заметить, что мы не говорим здесь о конечной цели международной социалистической партии, которая достаточно известна, а о ее тактике, или, если угодно, об ее средствах. Цели и средства—два совершенно различных между собою понятия, и хотя средства должны сообразоваться с целями, и всякий тот, кто стремится к какой-нибудь цели, должен пользоваться соответствующими средствами, однако, часто случается, что партии прибегают к средствам, далеко не соответствующим тем целям, которые они себе поставили. Подобные ошибки встречаются и в истории социализма. Роберт Оуэн и Фурье, несомненно, стремились к революционным целям, но они надеялись достигнуть их мирными средствами. Это противоречие между целями и средствами является одной из самых слабых сторон утопического социализма.

Наш социализм не заслуживал бы названия научного социализма, каким его признают даже наши противники, если бы мы впали в эту же самую ошибку, если бы между нашими целями и нашими средствами существовало противоречие, которого не должно быть и тени.

Слишком мало сказать просто—наша цель революционна. Наша цель в действительности является наиболее революционной изо всех целей, известных до сих пор человечеству. Но необходимо, чтобы и средства, сообразующиеся с внутренней природой этой наиболее революционной цели, были также революционны, необходимо, чтобы они были самыми революционными из всех средств, какие когда-либо употреблялись новаторами.

* * *

Итак, каковы должны быть эти цели?

Анархисты отвечают: «Революционными средствами являются лишь средства незаконные. До тех пор, пока вы будете настаивать на участии в выборах, и пока ваши выборные всецело будут заняты тем, чтобы вырвать у буржуазии те или другие реформы в интересах рабочего класса, до тех пор, пока вы будете продолжать считаться с законами, которые лишают вас права свободного слова или тех или иных действий,—вы ничего общего не будете иметь с революцией. Вы останетесь лишь законодателями и мирными реформистами.

«Революционная деятельность начинается лишь там, где нарушается закон; она, следовательно, начинается с восстания, с насильственного действия единичной личности или целой массы. И чем больше вы будете склоняться к восстанию и насильственным действиям, тем больше вы будете становиться революционерами».

Ответ вполне ясный. Но нужно рассмотреть, настолько ли же он верен.

Прежде всего бросается в глаза, что для анархистов революционные средства и насильственные действия обозначают одно и то же, являются одной и той же вещью. Но на чем основано подобное отождествление?

Наиболее революционно то средство, которое быстрее других приближает нас к нашей цели, к революции. Если это положение верно,—а в данном случае никакие сомнения невозможны,—то из него должны быть сделаны следующие заключения:

1. Что возможны также самые революционные действия без всякого отдаленного сходства с восстанием, с насильственным действием.

2. Что восстание и насильственные действия всегда являются антиреволюционными, когда они вместо того, чтобы приблизить нас к нашей цели, отдаляют нас от нее.

Лишь слепой может не увидеть, что как раз именно к последнему и приводят нас анархические насильственные действия.

Удастся ли анархистам бросить в том или другом месте бомбу, возбуждают ли они стачечников к насилию, совершают ли они какие-нибудь покушения,—все их действия достигают лишь одного: усиления реакции, что означает создание новых препятствий для рабочего движения. Анархическое действие, как бы насильственно оно не было, является ни чем иным, как *антиреволюционным средством.*

* * *

Не трудно понять, в чем состоит ошибочность той истины, которая позволяет анархистам видеть в своих насильственных действиях нечто противоположное тому, чем эти действия являются на самом деле.

Возьмем для примера какую-нибудь революцию: английскую революцию XVII века, или же французскую революцию XVIII века, 1834 и 1848 г.г. В каждой из них мы откроем длинный, кровавый ряд насилий, восстаний, баррикад, вооруженных столкновений и резни. Вот эти-то насилия вводят анархистов в заблуждение, которое может быть формулировано приблизительно так:

«Так как в каждой революции совершаются насилия, то достаточно прибегнуть к насильственным средствам, чтобы вызвать или ускорить революцию».

Анархисты рассуждают подобно человеку, который сказал бы: «Так как всякий раз, когда идет дождь, приходится развертывать зонтик, то достаточно раскрыть сей полезный инструмент, чтобы пошел дождь». Вся тактика анархистов вращается вокруг этого странного софизма. И она имеет только ту хорошую сторону, что служит лучшим доказательством крайней наивности отождествления насильственных средств со средствами революционными.

Мы уже сказали, что наиболее революционно то средство, которое скорее других приближает нас к нашей цели, к революции. Революционною деятельностью должно, следовательно, считать ту деятельность, которая ослабляет силы, поддерживающие современный политический и социальный порядок, и увеличивает силы приверженцев будущего общественного строя.

Взаимные отношения этих двух сил зависят в последнем счете от экономических отношений каждой отдельной страны. Всякий образ действий, изменяющий эти отношения в смысле увеличения сил сторонников нового общественного порядка, является революционным по своим последствиям.

Но сказать, что какое-нибудь средство революционно *по своим последствиям,* еще не значит сказать, что оно должно быть принято революционерами.

* * *

На практике очень часто случается, что реакционные меры, при помощи которых наши враги собирались уничтожить нас, обращаются против них самих и делают нас еще более сильными, чем прежде. Но из этого еще не следует, что мы должны поддерживать подобную реакционную деятельность.

Не подлежит никакому сомнению, что там, где господствует капитализм, он влечет за собой, рано или поздно, восстание против существующего порядка, что он одновременно подготовляет экономические факторы будущего общества и, порождая класс пролетариев, в то же самое время создает своих собственных могильщиков. Однако, нам и в голову не придет называть за это господ капиталистов революционерами.

Когда капиталисты толкают экономическое развитие к роковому для современного порядка исходу, когда они подготовляют элементы будущей революции, они это делают помимо своей воли, *бессознательно.* Их *сознательная* деятельность, наоборот, отличается крайним консерватизмом; поскольку это зависит от них, они делают решительно все, чтобы защитить современный порядок от посягательств недовольных, и часто пролетариату приходится очень дорого расплачиваться за подобного рода посягательства. Очевидно, что такого рода деятельность ничего общего не имеет с революционным делом.

Другой пример. Анархист,—мы говорим о настоящих анархистах,—анархисты по своему направлению стоят *за* революцию. Но в действительности они служат лишь целям реакции.

Капиталисты, которые стоят за status quo, за сохранение теперешних порядков, в действительности ускоряют, помимо своего желания, ход революции. Одни—бунтовщики, другие—охранители: и те и другие одинаково далеки от того, чтобы быть революционерами.

Революционен лишь тот образ действий, который, с одной стороны, увеличивает силы революции, а с другой,—соответствует намерениям тех, которые к нему прибегают.

* * *

Положить пределы капиталистической эксплоатации при помощи фабричного законодательства, дать восторжествовать в этих пределах политической экономии наемного труда над политической экономией

капитала,—это значит изменить в духе революции экономические отношения страны. Всякая деятельность, преследующая эту цель, есть революционная деятельность, независимо от того, какие формы она примет: будет ли она добиваться этой цели насильственными средствами или же мирной агитацией.

Более того. Чем значительнее силы пролетариата, тем ему,—говоря вообще,—легче добиваться подобных реформ мирными и законными средствами. На сибирских золотых приисках рабочие целиком находятся во власти предпринимателя, который пользуется невероятным правом подвергать их телесному наказанию. Насилие является для этих несчастных единственным средством самозащиты или, по крайней мере, средством мести за поругания их и издевательства над ним со стороны капитала.

Рабочим Западной Европы и Северной Америки нет нужды разрушать машины, чтобы не быть битыми хозяевами: они обладают множеством законных средств, чтобы вести борьбу со своими эксплоататорами. Отказываться от употребления этих средств,—которые составляют завоевания рабочего класса,—значило бы отказаться в пользу буржуазии от прав, добытых ценою стольких тяжелых жертв; значило бы делать беспримерную глупость, которой пролетариат никогда не сделает, что бы там ни говорили и ни делали господа анархисты, мечтающие о насилии ради насилия.

* * *

Здесь, быть может, возразят нам, что мы проповедуем *государственный социализм*.

«Если, скажут нам, вы придаете такое огромное значение фабричному законодательству и разного рода реформам, то где же в таком случае разница между вашей деятельностью и деятельностью Бисмарка или какого-нибудь русского министра, занимающегося изготовлением проектов по фабричному законодательству?»

Мы ответим на это вот что:

1. Так называемый государственный социализм заключается в целом ряде уступок, вырванных социалистами у партии эксплоататоров. Кто не понимает разницы между государственным социализмом и социализмом демократическим, тот никогда не поймет также, какое различие существует между образом действий этого соседа, постоянно и весело присоединяющего их одну за другой к своей территории.

2. Цели уступок, которые государственные социалисты делают социалистам-демократам, по существу своему *совершенно консервативны*.

При помощи этих уступок они надеются положить конец классовой борьбе, которая является душой современного социалистического движения. Государственные социалисты стараются всеми силами скрыть от пролетариата непримиримый антагонизм, существующий между его интересами и интересами буржуазии. Они стараются, насколько у них хватает сил, задержать развитие классового самосознания рабочих, тогда как социал-демократы считают своим первым долгом и главнейшей задачей развитие этого самосознания.

II.

Материальная сила всегда находилась на стороне угнетаемых. Если эти последние не прибегают к ней, как к средству самоосвобождения, то это лишь доказывает, что материальная сила, сама по себе, еще не есть революционное орудие, что при одной ее помощи невозможно осуществить дело революции и что она вовсе не является необходимым условием всякого переворота. Для того, чтобы рабочий класс сумел с пользою употребить свою материальную силу, нужно, чтобы он обладал *ясным пониманием* своего теперешнего положения и знанием условий, при которых может произойти его освобождение. Чем больше нам удастся развить классовое самосознание пролетариата, тем больше возрастет могущество угнетаемых и тем неустойчивее станет современный порядок вещей.

Революционеры прошлого века и французские философы не останавливались ни перед какими препятствиями в своих нападках на старый порядок. Они беспощадно разрушили все виды власти,—земные и небесные,—подготовляя торжество буржуазии. Но так как существование буржуазии предполагает существование и эксплоатацию ею пролетариата, то дело идеологов того времени могло быть революционным лишь наполовину. Несмотря на свое «просвещение», эти просветители в душе своей глубоко презирали массу и свои знания несли одной буржуазии. Рабочее же население спало в то время глубоким, непробудным сном.

Социалисты-утописты уже чужды были этого презрения к массе обездоленных и трудящихся, об освобождении которых они так страстно мечтали и для развития самосознания которых они так много сделали,—хотя, впрочем, сделали почти невольно. То, к чему они стремились, было не борьбою классов, а попыткою примирить их, так как они верили в возможность устранения системы капитализма при содействии со стороны всех классов общества. Вот почему они обращались, без

всякого различия, то к эксплоататорам, то к эксплоатируемым и даже отдавали препочтение именно эксплоататорам, богатство и образование которых, казалось, ручалось за их бóльшую пригодность для дела общественного преобразования.

Между тем, как французские просветители были революционерами лишь наполовину по своей конечной цели и по средствам, которых они держались, социалисты-утописты по своей конечной цели являются уже полными революционерами, но они, как мы уже сказали, хотели добиться этих целей исключительно мирными средствами.

* * *

Творцы научного социализма, — социалисты-демократы, — первые прямо обратились к рабочей массе, которой так боялись и которую так презирали революционеры века «просвещения». Вся их задача заключалась в том, чтобы призывать эту массу под ее собственные знамена; в том, чтоб организовать современный пролетариат. Они проповедывали ему не призрачное примирение классов, а их борьбу, являясь в этом отношении революционерами *не только по своим целям, но также и по своим средствам.*

Там, где пролетариат понимает, в чем должно состоять его собственное освобождение, он рано или поздно поймет непримиримость своих собственных интересов с интересами буржуазии. Социалисты об'ясняют ему природу класового антагонизма, а также возможные политические и социальные последствия этого антагонизма, и своим ученьем они вызывают к жизни такую революционную силу, какой еще до сих пор не было, несмотря на законнейшие формы, которые может принять ее проявление. Развитие классового самосознания пролетариев является самым революционым средством современных социалистов, одной из главных отличительных черт, общих всем социалистическим партиям различных стран,—или, точнее выражаясь, социалистической партии каждой отдельной страны. *Это* средство остается всегда неизменным, несмотря на различие в обстоятельствах времени и места.

В первый раз с тех пор, как мир существует и человечество стремиться вперед по пути прогресса, эксплоатируемые стали понимать причины своего угнетения и твердо решили положить конец эксплоатации человека человеком. В сравнении с этим великим движением все насильственные взрывы в мире, все заговоры революционеров старой романтической школы—не что иное, как невинная, детская игра. И мы поэтому вполне правы, когда утверждаем, что *средства,* употребляемые современными социалистами, самые революционные, какие только

можно себе представить, независимо от того, какой вид они принимают: вид *законной* борьбы или же насильственного действия.

* * *

Много говорят о том, что социалисты не должны вступать ни в какие компромиссы с буржуазией. Те, что говорят это, совершенно правы. Но что называть компромиссом с буржуазией? Когда пролетариат борется вместе и одновременно с либеральной буржуазией против феодализма, не может ли тогда показаться, что пролетариат вступил в сделку с буржуазией. Совсем нет, так как всякий *компромисс* с буржуазией есть политический договор, который в той или иной форме должен задержать развитие классового самосознания рабочих. Поскольку тактика социалистической партии в какой-нибудь стране способствует прояснению этого самосознания, смешно говорить о компромиссах, каковы бы ни были временные отношения социалистов к другим политическим партиям.

Наши бельгийские товарищи борются бок о бок с мелкой буржуазией за всеобщее избирательное право. Но где тот наивный человек, который стал бы обвинять их в компромиссе с мелкой буржуазией? Борьба за всеобщее избирательное право является в их руках могущественным средством развития классового самосознания рабочих и делает их вполне достойными дела революции.

Борьба бельгийских рабочих дает место всякого рода насилиям, но здесь, как и повсюду, было бы смешно смешивать *насилие с той силой,* которую пролетариат почерпает в прояснении своего классового самосознания.

* * *

Социалисты-утописты в принципе отвергли насильственные средства, впадая таким образом в доктринерство. Социал-демократы не отвергают насильственных средств, точно так же они не отказываются от мирной агитации, зная, что при известных обстоятельствах насильственные средства неизбежны. Но они, кроме того, знают и считают чрезвычайно важным знать это и заявляют об этом,—что между силой и насилием лежит глубокая пропасть. И только к тому, чтобы приобрести *силу,*—одну силу,—стремятся социал-демократы. Что касается насилия, то оно может употребляться лишь при известных обстоятельствах. При современном положении цивилизованных стран, в интересах самого пролетариата не увлекаться насильственными действиями *).

*) *Примечание автора к русскому изданию.* Говоря о современном положении цивилизованного мира, я, разумеется, имел в виду тогдашнее поло-

Таковы доводы, заставляющие нас проповедывать спокойствие и законную агитацию. Но даже, когда мы отвергаем насильственный образ действий, мы не перестаем развивать революционную силу пролетариата и подготовлять его будущие победы.

Борьбу классов охотно сравнивают с войной. Эта последняя сопровождается, конечно, множеством насильственных действий. Но не найдется ни одного неглупого унтер-офицера, не знающего той огромной разницы, которая отделяет силу войска от всяких насилий, употребляемых этим войском, и не знающего также, что насильственные действия, пускаемые в ход не во-время, вредят лишь той силе, которая к ним прибегает.

* * *

На эти размышления нас натолкнули некоторые газетные статьи по поводу манифестации первого мая. Цель этого праздника—увеличить силу пролетариата посредством развития его классового самосознания. Но находятся люди,—и вполне разумные люди,—которые смешивают силу с насилием и наивно удивляются тому, что социалисты считаются с местными условиями и отказываются играть будущим своей партии ради дешевого удовольствия нарушить пару полицейских запрещений.

жение Западной Европы и Северной Америки. В нынешней России пределы возможного для пролетариата *законного* действия слишком малы. Но и в ней пролетариату необходимо помнить, что увлечение *насильственным способом действий* может привести к жесточайшему поражению. И у нас сознательные друзья рабочего класса должны твердо помнить, что насилие не тождественно с силой, и что насильственные действия пролетариата, при известных обстоятельствах, могут задержать развитие его силы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Библиографические заметки из сборника „Социал-Демократа“. Женева, 1888 г.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. КАРЛ МАРКС. Введение к критике философии права Гегеля. С предисловием П. Л. Лаврова. Издание кружка народовольцев. Женева 1887.

ПРОЦЕСС 21-го. С приложением биографической заметки о Г. А. Лопатине. Издание кружка народовольцев. Женева 1888.

Две небольшие брошюры, название которых мы выписали, да печатающееся сочинение К. Каутского: *Экономические учения Карла Маркса,*—вот и все, немногие пока, плоды издательской деятельности «кружка народовольцев». Но эти немногие плоды наводят на многие вопросы и размышления.

Прежде всего, естественно возникает вопрос, почему названные брошюры являются изданием «*кружка народовольцев*», а не всей «партии Народной Воли»? В каких отношениях этот «кружок» стоит ко всей партии? Поручено ли ему издание брошюр организацией партии, или он издает их по собственному побуждению? В прежнее время мы много слышали о партии «Народной Воли», но почти ничего не слыхали об отдельных ее кружках; теперь, кроме «кружка», издавшего указанные брошюры, мы узнали о существовании «*группы* народовольцев», подвергшей г. Тихомирова литературному растерзанию (см. брошюру «По поводу одного предисловия»). Знаем мы также, что существуют «прежние товарищи Тихомирова по деятельности и убеждениям». В каких взаимных отношениях находятся все эти категории лиц (само собою разумеется, что мы говорим только *о деловых* отношениях)? Почему ни одна из них не говорит от имени «партии», как говорили газета «Народной Воли» и журнал «Вестник Народной Воли».

Вероятно потому, что ни одна из них не имеет права говорить от ее имени; а не имеет права говорить от ее имени потому, что ни одна из названных категорий не представляет собою главного, центрального ядра организации. Но в таком случае, существует ли подобное ядро?

Почему ничего не слышно об его деятельности? Почему оно молчит, предоставив «кружкам» и «группам» говорить, что им вздумается? Верно потому, что такого ядра вовсе не существует и что, следовательно, крепко сплоченная когда-то партия «Народной Воли» разбилась теперь на множество независимых кружков.

Очень может быть, мы даже уверены в том, что многие из «народовольцев» будут недовольны... не тем, что у нас родились подобные предположения (основательность которых им очень хорошо известна), а тем, что мы высказываем их вслух. Они могут увидеть в этом что-то вроде нарушения революционных приличий. Но мы ответим им словами Маркса, заимствованными из той самой статьи его, которая издана теперь в русском переводе «кружком народовольцев»: «*Требования отбросить иллюзии о своем положении есть требование выйти вообще из положения, нуждающегося в иллюзиях*» («Введение и т. д.», русский перевод, стр. 28).

К чему обманывать себя и других? Старой «партии Народной Воли» не воскресишь уверениями публики в том, что «все обстоит благополучно», а между тем подобные уверения легко могут замедлить возникновение новой организации, которая продолжала бы борьбу, начатую «Народной Волей», так же, как «Народная Воля» продолжала борьбу, начатую предшествующими ей революционными организациями.

Что старой «партии Народной Воли» воскресить невозможно—это доказывает, между прочим, вторая из изданных «кружком народовольцев» брошюра, т.-е. «*Процесс 21-го*». На странице 21—23 этой брошюры напечатаны весьма интересные отрывки из письма осужденного Якубовича. Письмо это показывает, до какой степени и как уже давно взгляды самых энергичных сторонников «партии Народной Воли» расходилось с ее старой официальной программой. «*Чем мы становимся старше и более зрелыми,*—писал Якубович,—*тем минимальнее становятся наши требования*». Посмотрите на то, чего требовала «партия Народной Воли» в самом начале своего существования, к чему она стремилась? Еще в 8 и 9 номерах своего органа она заявляла, что цель ее—захват власти. И что же? В настоящее время иного народовольца такая задача *заставляет улыбаться. Наша формула стала иная:* призыв народа с высоты трона, поколебленного ударами революционеров. Мы не можем с полной уверенностью нарисовать последствий такого призыва и представить себе эти последствия во всех их подробностях. Мы не берем на себя пророчества. Но я *верю,* подобно автору прекрасной статьи «Вместо внутреннего обозрения» (см. № 10 «Н. В.»), что русский народ—великий народ, что момент созыва Земского Собора будет великий момент и не пройдет бесследно в русской жизни и истории; страстный энтузиазм, который охватит народ и общество, первоначально на почве чисто политической, неизбежно повлечет за собою также и всю долю необходимых и осуществимых в настоящее время реформ экономических. Это *наша вера*» и т. д. Отсюда видно, что приблизительно около того времени, когда г. Тихомиров писал свою статью «*Чего нам ждать от революции?*» («Вестник Народной Воли» № 2), в которой он пытался отстоять старую программу партии на всех пунктах, она «заставляла улыбаться» самих приверженцев «Народной Воли». Она казалась Якубовичу продуктом юношеской неопытности и незрелости. Если так было несколько лет тому назад, то тем более должно быть так теперь, когда к предыдущему опыту «народовольцев» прибавилось несколько новых, довольно поучительных данных. Ясно, стало быть, что воскресить *старую* «партию Народной Воли» действительно нет никакой возможности.

Но, спрашивается, в каком направлении изменились взгляды Якубовича и его единомышленников сравнительно со взглядами приверженцев старой программы «Народной Воли»? Нельзя сомневаться на этот счет: взгляды их изменились в *правую,* а не в левую сторону. «Чем мы становимся старше и более зрелыми,—говорит Якубович,—*тем минимальнее* становятся наши требования». Но откуда же происходит это обстоятельство? Почему «требования» западно-европейских социалистов не зависят от их возраста? Почему требования Либкнехта или Поля Лафарга не стали «минимальнее» в 80-х годах, сравнительно с тем, чем они были 10 или даже 20 лет тому назад? Вот вопрос, над которым должен задуматься каждый русский революционер, если только он не хочет, чтобы в 30 лет его заставляли улыбаться те «самые требования», для осуществления которых он рисковал, может быть, своей головой, будучи двадцатилетним юношей или двадцатипятилетним молодым человеком.

Письмо Якубовича заключает в себе некоторые данные, необходимые для решения этого в высшей степени важного вопроса. Мы говорим о словах «верю», «вера», часто попадающихся в вышеприведенном отрывке. Вера играет слишком большую роль при выработке понятий и требований русских революционеров. Именно *вере,* а не *критике* обязаны своим происхождением их программы. Но вера—дело чувства и темперамента. То, во что легко может *уверовать* горячий юноша, становится *невероятным* пожилому человеку. И пожилой человек начинает с полным правом говорить первому встречному юноше-революционеру: «не верь, не верь себе, мечтатель молодой... то кровь кипит, то сил из-

быток!» И как рано наступает у нас тот возраст, когда русский революционер начинает относить многие свои требования на счет «избытка сил» и «кипения крови». Якубовичу было не более 24-х лет, когда он уже ставил «минимальность» своих требований в зависимость от своего более «зрелого» возраста. Это было бы поразительно, если бы не было совершенно естественно.

Наши революционеры предпочитают *верить* в свои требования, а не основывать их на *научной критике* существующих общественных отношений. Но это обстоятельство нисколько не мешает нашим общественным отношениям, всему ходу нашей общественной жизни, критиковать наши революционные программы. Как только начинаются попытки осуществить основанную на вере программу, тотчас же обнаруживается ее несоответствие с общественными отношениями. Поэтому ни одна программа не может продержаться у нас более 4—6 лет. Неудивительно также, что и двадцатичетырехлетние юноши оказываются достаточно пожившими для того, чтобы «улыбаться» по поводу программы, в разумность которой они «верили» два-три года тому назад.

Как только жизнь раскритикует одну из наших программ, мы немедленно начинаем «верить» в новую. Изменились требования жизни—изменилась и наша программа, говорим и пишем мы в таких случаях, чтобы оправдать свое непостоянство. Но в действительности требования жизни остались неизменными, изменилось только *наше понимание* этих требований, обнаружились такие стороны общественных отношений, существования которых мы даже и не предвидели, хотя обязаны были твердо знать о нем в качестве политических деятелей.

Как же поправить дело? А очень просто: нужно, чтобы наши программы были продуктом *критики,* а не *веры*. «Во всем, что касается революции мне не 60, а дважды 30 лет»,—воскликнул как-то старик Либкнехт в одной из своих речей. Относительно Бебеля, Гэда или Поля Лафарга также нет оснований думать, что *возраст* заставит их отбросить хоть некоторые из их «требований». Весь секрет здесь в том, что они учились социализму в очень хорошей школе—именно у Карла Маркса.

Человек, прошедший эту школу, становится революционером по *логике,* а не только по *чувству*. У него нет *веры,* но зато есть *уверенность* в неизбежном и неотвратимом осуществлении требований рабочего класса. А так как логика его с годами зреет, а не испаряется, если он только остается мыслящим человеком, то и уверенность эта с годами становится все более и более прочною. Если бы даже такой человек, по той или другой причине, отказался от своего дела, если бы он возненавидел

его и перешел на сторону реакции, то и тогда не мог бы он отделаться от уверенности в неизбежном осуществлении всех требований научного социализма. Эта уверенность явилась бы мстительницей за его измену. Попробуйте, разуверьтесь («разочаруйтесь») в движении земли. Если бы в числе судей Галилея был человек, *понявший* новую астрономическую теорию, то хотя сама роль его показывала бы, что он из-за личных выгод считает нужным поддерживать старые взгляды, но, несмотря на это, в глубине души, он должен был бы сказать себе словами осужденного: «а все-таки она движется!»

Хорошая эта школа, господа,—школа научного социализма, и давно уже нам следовало бы в ней поучиться. С самого начала издания «Библиотеки Современного Социализма» в 1883 году группа «Освобождение Труда» не переставала обращать внимание наших революционеров на эту сторону дела.

Нам могут, пожалуй, привести в пример Г. А. Лопатина и сказать, что вот, мол, был же человек, который основательно прошел школу научного социализма и все-таки нашел возможным пристать к «партии Народной Воли», ясно, стало быть, что программа этой партии не противоречила коренным убеждениям его. На это мы ответим, что Г. А. Лопатин мог пристать к «партии Народной Воли» по тем или другим политическим соображениям, не разделяя даже большей части положений ее программы. Ему могло казаться, что «другого исхода нет», как говорит г. Лавров, описывая его тогдашний взгляд на положение дел в России (Процесс 21-го. Биографическая Заметка о Г. А. Лопатине, стр. XXXIII). Но это не значит еще, что многие части программы не заставляли его «улыбаться», как улыбался Якубович. К тому же надо заметить, что и самое убеждение Г. А. Лопатина в том, что «другого исхода нет» и что ему нужно пристать к «партии Народной Воли», было совершенно ошибочно. Его бесспорно огромные силы принесли бы гораздо больше пользы делу русского социализма, если бы он, не пытаясь возвратить невозвратное и оживить умирающее, энергично взялся за создание *новой* партии в России.

Впрочем, мы уже сказали, что все подобного рода споры совсем неуместны в настоящее время. Факт издания «кружком народовольцев» сочинений по научному социализму показывает, до какой степени в среду приверженцев «Народной Воли» стало проникать сознание необходимости найти новое обоснование для их революционных «требований». «Вестник Народной Воли» не занимался пропагандой идей Маркса. Напротив, хотя один из его редакторов, именно П. Л. Лавров, и не упускал

случая сказать несколько комплиментов «великому учителю», но это не мешало названному органу делать время от времени лихие кавалерийские наезды на ту или другую область научного социализма. Нужно ли говорить, что в статьях другого редактора этого органа, г. Тихомирова, не было даже и самомалейшей дозы марксизма? Теперь дело изменилось. Теперь мы сказали бы, что оно пошло совсем хорошо, сказали бы... но нас смущает предисловие г. Лаврова к изданной «кружком народовольцев» статье Маркса.

Предисловие это состоит из двух частей. В первой, значительно большей, уважаемый автор выясняет читателям исторический характер и значение немецкой идеалистической философии. Во второй он переходит к тем общественным задачам, решение которых лежит теперь на обязанности русских социалистов. Относительно первой части мы можем сказать только одно: г. Лавров хорошо сделал, что написал ее, она многое поясняет в самой статье Маркса. Если и нельзя безусловно согласиться с тем, что г. Лавров говорит в ней, то во всяком случае ее содержание не вызывает никаких недоразумений. Не то во второй части. Ее содержание темно и «чревато» недоразумениями. Автор пишет, например, что «России приходится добыть не только политические, гражданские права... она должна «перескочить» и через те политические формы, которые приобретены другими нациями в иллюзионном предположении, что в этих политических формах—*все спасение*». Вносными знаками, отмечающими слово *перескочить*, г. Лавров показывает, что он заимствовал это слово из статьи Маркса, к которой относится самое предисловие. Но это обстоятельство не помешает нам попросить у него некоторых раз'яснений. О каких политических формах говорит г. Лавров. Он говорит о «парламентаризме, в тем виде, в каком мы его видим в современном государстве», а в этом виде парламентаризм является «формою классового (хотя и не сословного) господства», «одним из проявлений капиталистического порядка» и «источником опасных болезней общества». Итак, «чтобы стать на уровень современных общественных задач», освобожденной России придется «перескочить» через «классовый парламентаризм». Прекрасно, но дело в том, что «классовый парламентаризм» (мимоходом сказать, другого мы не знаем) есть не только «проявление капиталистического порядка», он есть *существенное проявление* этого порядка. Нельзя «перескочить» через первый, не перескочивши через второй. Так, повидимому, понимает это дело и сам г. Лавров. «Социалисты в России, как и всюду, уверены, что лишь организация городских и сельских рабочих, в руки которых должны перейти орудия труда, может быть подкладкою строя, находящегося на уровне этих задач» (т.-е. современных общественных задач),—говорит он на странице 21—22 своего предисловия. Отсюда следуют два вывода.

I. «Освобожденная Россия» будет «на уровне современных общественных задач», когда орудия труда перейдут в руки городских и сельских рабочих, т.-е. когда «современных общественных задач» уже не будет, так как сама социальная жизнь будет представлять собою их уже *осуществленное* решение.

2. «Освобожденная Россия» должна «перескочить» в тот фазис общественного развития, в котором орудия труда будут принадлежать организованным рабочим.

Правда, «есть не мало развитых умов в России, которые не идут так далеко, но тем не менее не закрывают глаз перед болезненными явлениями европейского классового парламентаризма и, зная очень хорошо, что императорское самодержавие есть, во всяком случае, позорная и бессмысленная политическая форма, ищут при этом политических форм, устраняющих и только что указанные болезненные явления, не доходя до социалистических решений».

Но так как сам г. Лавров не принадлежит к числу этих людей, то сделанные нами выводы остаются в полной силе.

Вот эти-то выводы и повергают нас в смущение. Мы все не можем выяснить себе, как понимает г. Лавров предстоящие России «перескакивания». Иногда мы рассуждаем таким образом: «перескочить» должна «освобожденная» Россия, а современная Россия должна «освободиться». Когда ей удастся сделать это, она пойдет дальше и начнет борьбу против «классового парламентаризма», т.-е. начнет «перескакивать». Если г. Лавров так понимает этот вопрос, то, он, конечно, совершенно прав; но тогда зачем говорить о перескакиваниях? Ведь и помимо перескакиваний нельзя придумать другого пути для общественного развития России.

Но иногда нам кажется, что по мнению г. Лаврова именно современная, еще не «освобожденная» Россия «должна перескочить» в такие формы общественных отношений, при которых орудия труда перейдут «в руки рабочих». И если верно это последнее предположение, то мы поставим г. Лаврову на вид следующие соображения.

Благие пожелания по отношению к своей родине или к рабочему классу вещь очень хорошая сама по себе, и если бы дело шло об одних только пожеланиях и советах, то мы и сами не прочь были бы посоветовать нашему отечеству «перескочить» как можно дальше. Но все такого рода советы и пожелания должны быть сопоставлены с практиче-

скою деятельностью русских революционеров, а не высказываться ins Blaue hinein, как говорят немцы. Здесь-то, в виду практической революционной деятельности, и следует помнить, какую массу вреда принесла русским социалистам их слабость к перескакиваниям. Известно, что достоинство революционных «программ» обыкновенно измерялось у нас тем, насколько они оставляли свободы для перескакиваний... Люди, которые напоминали русским социалистам пословицу: «тогда скажешь «гоп!», когда перескочишь», считались отсталыми, а указываемые ими пути—слишком длинными. И хотя жизнь безжалостно критиковала всякий данный, внесенный в программу, способ перескакивания, а вследствие этого всякая данная программа отцветала, не успевши расцвесть, но это служило лишь поводом к соображениям о том, как бы нам половчее «перескочить» к новой программе. Само собою понятно, что все эти фантастические перескакивания не только не приносили пользы делу, но сильно вредили ему. Чтобы «перескочить», нам нужно было быть на-легке, и мы выбросили, как негодный балласт, целый ряд самых важных положений социализма. В результате было то, что социалистический характер наших программ был по меньшей мере сомнителен. Мы были приверженцами того частью крестьянского, частью мелкобуржуазного социализма, который даже в случае своего торжества (в действительности немыслимого, благодаря утопическому характеру этого социализма) ни в каком случае не привел бы нас туда, куда мы так усердно *скакали* в своем воображении. Толки относительно перескакивания через капитализм ведутся у нас уже давно, но к чему привели эти толки? Чтобы облегчить свой скачок, мы отбросили в сторону даже пропагандистскую и агитационную деятельность среди рабочего класса. Но нетрудно понять, что только эта деятельность могла бы дать нам силы для сколько-нибудь целесообразной борьбы с капитализмом. Незрелость же рабочего класса может быть выгодна только для наших эксплоататоров и не облегчит нам никаких перескакиваний. Вот почему мы боимся, что цитированные нами места из предисловия г. Лаврова могут подать повод к новым политическим и экономическим утопиям, а между тем нам пора уже отделаться от всяких «иллюзионных предположений».

«Перескочить» через «классовый парламентаризм» нам невозможно. Но смешно и сожалеть об этом. Наш современный абсолютизм является источником таких «опасных болезней общества», что в сравнении с ним «классовый парламентаризм» будет огромным шагом вперед в общественном развитии. Социалистам нужно позаботиться только о том, чтобы *рабочий класс, который один только и может нанести смертельный удар абсолютизму,* добился той доли политической свободы, какую дает рабочим «классовый парламентаризм» в самых передовых странах Запада. Эта свобода необходима им для борьбы с буржуазным обществом и с неизбежным в таком обществе парламентаризмом.

Что касается перевода статьи Маркса, то он во многих местах прихрамывает. Будем надеяться, что перевод сочинения Каутского окажется точнее и изящнее. Но вообще брошюры изданы довольно опрятно, и мы, во всяком случае, должны поблагодарить за них издателей.

«СВОБОДА», политический орган русской интеллигенции. Женева, 1888 г., №№ 1—7.

«САМОУПРАВЛЕНИЕ», орган социалистов-революционеров, № 1, декабрь 1887, № 2, май 1888 г.

С удовольствием отмечаем появление у нас двух новых противоправительственных органов. При нашей бедности в этом отношении, это большая, давно уже небывалая роскошь. От души желаем успеха и «Свободе» и «Самоуправлению».

Сочувствие не мешает нам, однако, видеть промахи и ошибки названных органов. А так как литературное лицемерие всегда казалось нам величайшим преступлением против достоинства печатного слова, то мы выскажемся без всяких обиняков и околичностей.

Начнем со «Свободы». Она называет себя «политическим органом русской интеллигенции», и сама понимая, повидимому, странность такого названия, в первой же статье первого номера спешит выяснить, *что* именно понимает она под словом «русская интеллигенция». По ее мнению, «русская интеллигенция, *как общественный класс,* не принадлежит к числу древних политических формаций». Но интеллигенция нигде и никогда не составляла *общественного класса,* это противоречит самому понятию о таком классе. Интеллигенция могла бы, в крайнем случае, составлять лишь *касту,* в качестве ученого сословия. Одна ошибка логически ведет за собой другие. Развивая свою мысль, редакция «Свободы» переходит от одного паралогизма к другому. «До тех пор, пока для нее (т.-е. для интеллигенции) не открылась арена практической деятельности,—говорит редакция,—она и не могла существовать в политическом смысле». Но речь идет не о «существовании в политическом смысле», а о существовании в качестве «общественного класса». Это не одно и то же: немецкие националь-либералы и французские поссибилисты существуют в политическом смысле. Значит ли это, что в Германии есть националь-либеральный, а во Франции — поссибилистский класс? «Только так называемые реформы прошлого царствования,—продолжает редакция,—осуществившиеся при ее столь же деятельном, сколько и плодотворном участии, послужили тем связующим началом,

тем, так сказать, социальным цементом, который слил в одну компактную массу разрозненные до тех пор интеллигентные силы русского народа и образовал из них *особый общественный класс*» (курсив здесь принадлежит редакции). Разве слиться в «одну компактную массу» значит образовать из себя *особый общественный класс?* В современной общественной науке понятие о *классе* имеет известные, в высшей степени важные экономические признаки. Свойственны ли подобные же признаки понятию о «компактной массе»? И в какую такую «компактную массу» слились силы нашей интеллигенции, благодаря реформам Александра II? Подобной заслуги этим реформам до сих пор никто не приписывал. Наши охранители будут сильно пристыжены, услыхав, что они проглядели такую вредную сторону ненавистных им реформ. Оказывается, что слона-то они и не заметили. Если бы жив был М. Н. Катков, то он за такую оплошность, наверное, покарал бы себя так же беспощадно, как покарал себя Эдип за свои невольные преступления.

И к чему все это? Наша так называемая интеллигенция и без того уже слишком склонна считать себя *«самостоятельной общественной силой»,* которой нужно только придумать хорошенькую программку или,—как выражается «Свобода»,—«комплекс принципов», чтобы переделать по-своему все общественные отношения. Но *именно потому* наша «интеллигенция» и не приобрела до сих пор всего возможного для нее влияния на общественную жизнь. Пора уже перестать играть словами. То, что в известных кругах называется у нас интеллигенцией, составляет лишь небольшой общественный слой (слой неслужащих образованных «разночинцев»), который не может иметь самостоятельного созидающего исторического значения. В виду особенностей его положения, этому слою всего естественнее было бы примкнуть к *рабочему классу* (это *класс* в настоящем смысле слова), в среде которого нашего образованного разночинца ожидает в высшей степени плодотворная роль. Но этого, разумеется, не будет до тех пор, пока в «комплекс принципов» наших образованных разночинцев будет входить убеждение в том, что они составляют «особый класс», хотя и «не принадлежащий к числу древних политических формаций».

Если бы редакция «Свободы» обратила внимание на эту сторону дела, то и политические задачи русской «интеллигенции» представились бы ей в другом свете. По мнению этой редакции, «царский абсолютизм—вот враг наш». Это, конечно, справедливо, но это, во-первых, не ново, а, во-вторых, этого недостаточно. Спрашивается, *как, какими силами* будем мы вести борьбу против абсолютизма? Убеждение в том, что наша интеллигенция составляет особый общественный класс, мешает «Свободе» видеть, что без поддержки рабочего класса борьба против абсолютизма немыслима. «Свобода» просто как бы забывает о том, что у русского рабочего класса (так же, как у рабочего класса других стран) есть свои самостоятельные политические и экономические интересы. По мнению г. С. Княжнина (см. статью «Итоги Прошлого» в № 5) «теперь всем стало ясно, что жизнь русского народа обусловливается всецело борьбой на жизнь и смерть *только двух элементов,* друг друга исключающих», т.-е. борьбой интеллигенции с абсолютизмом. Это совсем не «ясно». И то обстоятельство, что это «ясно» «Свободе», составляет главный недостаток ее программы.

Замечательнее всего то, что перепечатанное у нас из № 6—7 «Свободы» (см. отд. Русская жизнь) интересное *«Письмо из Москвы»* очень убедительно показывает, что современная жизнь русского народа обусловливается не только борьбою интеллигенции с абсолютизмом. В борьбе московских рабочих с фабрикантами абсолютизм, в лице полицейских чиновников, принимает, конечно, очень деятельное, хотя и косвенное участие. Но госпожа «интеллигенция» участвует в этой борьбе очень слабо. Она является на сцену лишь в лице доктора, собиравшего сведения о голодном тифе среди рабочих. Нам думается, что почему бы названной госпоже «интеллигенции» не последовать примеру абсолютизма и не вмешаться в борьбу рабочих с предпринимателями поэнергичнее. От этого, право же, целиком зависит успех ее собственной борьбы за политическую свободу. Каждый факт, подобный сообщенному в «Письме из Москвы», каждое событие, указывающее на энергичное вмешательство правительства в борьбу рабочих с предпринимателями и на безучастное отношение к этой борьбе радикальной русской дамы, «интеллигенции», напоминает нам слова Лассаля, которые этой высокоуважаемой даме очень не мешало бы принять к сведению и руководству. «Слуги реакции не краснобаи,—говорил немецкий агитатор,—не дай бог, чтобы у прогресса было побольше таких слуг».

Второстепенные недостатки и промахи «Свободы»... их не мало, но о них когда-нибудь в другой раз. Перейдем теперь к «Самоуправлению». Оно называет себя «органом социалистов-революционеров». Издатели его говорят, что «по основным своим убеждениям» они «социалисты-федералисты». Но в чем заключается федералистический социализм—этого «Самоуправление» не выясняет. А это следовало бы сделать, потому что многие из его читателей могут притти в недоумение по этому поводу. Они могут спросить себя, придерживаются ли федералистического социализма рабочие партии Запада? А если нет, то кто же придерживается его, кроме издателей «Самоуправления»? Правда,

Прудон утверждал когда-то, что всякий, «кто говорит социализм, говорит федерализм, или не говорит ничего». Но ведь прудонизм это уже überwundener Standpunkt, как выражаются немцы. Да и в свое-то время Прудон не сказал в пользу федерализма больше того, что говорил Монтескье в своей книге, как по вопросу о собственности он не сказал больше того, что было сказано Бриссо в его «Recherches». К тому же, ведь, Прудон вовсе не смотрел на задачи социализма так, как смотрят издатели «Самоуправления». Они высказывают, например, ту мысль, что в области экономической задачи социализма сводятся к «обобществлению орудий производства и к организации последнего на общественно-правовом начале, в противоположность началу частно-правовому, на котором покоится жизнь (вероятно, производство?) большинства (а не всех?) современных культурных стран». Прудон первый об'явил бы такую задачу неразрешимою и несогласною с принципами федерализма. Как соглашают ее с ними издатели «Самоуправления»?

Вероятно, в силу особенности федералистического социализма издатели «Самоуправления» полагают, что в политической области задачи социализма «сводятся к увеличению политического значения трудящихся классов, к экспроприации политической власти из рук привилегированного меньшинства в руки всего народа». Нам, непосвященным в тонкости федералистического социализма, всегда казалось, что социализм во всех «областях» должен стремиться не к «увеличению значения трудящихся классов», а к полному *уничтожению классов*. Что же касается *экспроприации* политической власти *из рук в руки* и т. п., то мы всегда думали, что пока есть «привилегированное меньшинство», то политические задачи социализма «сводятся» к *захвату власти рабочим классом, к диктатуре пролетариата*. Может быть, это происходило потому, что мы не понимаем федералистического социализма.

«Рассматривая внешние условия, в которые поставлена наша культурная деятельность в России» и отыскивая «ведущие к свободе пути», издатели «Самоуправления» находят, что «путь народной революции» «едва ли пригоден». Точно так же «мы не думаем, чтобы своевременно и экономично было затрачивать силы на дворцовую или городскую революцию: такой способ действия, не говоря уже об его трудности, может привести к нежелательному результату: мы не хотим менять одну деспотию на другую». Тэ-эк-с, значит сделать городскую революцию (и что это за городская революция?) трудно, а в результате она ведет к деспотии, и потому, естественно, что издатели «Самоуправления» не хотят затрачивать на нее своих сил. Но раз устранены из

их программы всевозможные виды революций, то что же революционного в этой программе? Почему «Самоуправление» называет себя органом «социалистов-революционеров»? спрашивает удивленно читатель. Вероятно вот почему. Издатели названного органа «усиленно рекомендуют» «путь легальной агитации в печати, в земствах и т. д., организацию легальных общественных протестов и легального давления на правительство». А так как легальные общественные протесты в своде законов Российской Империи не предусмотрены и правительство наверное будет считать их нелегальными, при чем со своей стороны начнет оказывать «легальное» и нелегальное «давление» на господ протестантов, то один путь легальной агитации «едва ли приведет к значительному успеху. Поэтому, в число путей борьбы с абсолютизмом мы считаем нужным включить и путь, избранный уже людьми 1-го марта». Вот вам и революционный способ действия! Это, конечно, несколько неожиданно, но зато энергично, а главное, «мы убеждены, что если не отдельный террористический факт, то ряд таких фактов, при некоторой общественной поддержке, заставит монархизм, держащийся только разрозненностью общества и традицией рабства, положить оружие».

Таким образом, «путь людей 1-го марта» рекомендуется теперь принципиальными противниками всяких революций. O tempora, o mores! Но раз уже мы заговорили по-латыни, мы скажем издателям «Самоуправления»: quod licet Jovi, non licet bovi.

Сообразно с этой программой, ход нашего общественного развития можно представить себе приблизительно таким образом: мы «организуем легальный протест» и преподносим Александру III письменное изложение наших «легальных» требований. Нашей бумаги он, разумеется, не прочтет, ну хотя бы потому, что грамоте его, как известно, не обучали. Но раздраженный нелегальностью нашего легализма, он на первый раз отправляет «зачинщиков» под суровое небо Севера. Тогда вдруг—трраах!—совершается террористический акт. Александр III быстро прячется в Гатчину и оттуда начинает расправляться с нами по-николаевски. («Нечего и думать, что монархизм сразу положит оружие. Напротив, он употребит сначала все силы, чтобы задавить врага и сохранить свое положение»,—уверяет нас орган социалистов-революционеров). Но мы тоже себе-на-уме. Пока «гатчинский узник» продолжает свирепствовать, мы «организуем» новый «легальный протест», и как только он выглянет из своей засады, мы немедленно повергнем новую бумажку к стопам его величества. Новая прогулка в места не столь отдаленные, новый «террористический факт». Абсолютизм окончательно свирепеет и начинает бить направо и налево («перед смертью его мы

вправе ожидать усиления реакции», основательно замечает «Самоуправление».) Но это ничего, «это тяжелое время надо пережить, оно не должно никого смущать». И не только мы не должны смущаться, но обязаны организовать новый «легальный протест». Тогда царь «положит», наконец, «оружие». Ну чего вы ко мне пристали, скажет он, опасаясь нового террористического сюрприза, ну, давайте сюда вашу бумагу, что там написано? Вы хотите политической свободы? Ну, вот вам свобода, ну, берите ее, только оставьте, ради бога, ваши *факты!* Славная программа! Хорошо придумали «социалисты-федералисты».

Ну, а что, если правительство не испугается наших «фактов» и в ответ на наш терроризм упорно будет продолжать свой собственный «террор»? Как в сем разе поступить надлежит? «Самоуправление» не отвечает на этот вопрос. Оно уверено, что чему не помогут легальные протесты, поможет «путь людей 1-го марта», и делу конец! А вот нам все кажется, что не мешало бы «затратить свои силы на городскую революцию» и *путем людей 93-го года притти туда, куда мы не дойдем, следуя лишь по пути людей 1-го марта.* Против русского деспотизма динамит недурное средство, но *гильотина еще лучше.* Оно конечно, *такой* программы нельзя принять «социалистам-революционерам», уверенным в том, что «городская революция» «ведет к замене одной деспотии другой». Но, ведь, и то сказать, страшен сон, да милостив бог. Ведь вон на Западе «городские революции» не всегда же вели к деспотизму.

В первом № «Самоуправления» помещены «письма эмигрантов», которые предназначались не для «Самоуправления» и добыты им «случайно, от частного лица», но все-таки «дают возможность познакомиться с воззрениями на задачи переживаемого момента представителей русской революционной партии». К числу таких «представителей», очевидно, также «случайно» отнесен и г. Драгоманов. Нужно заметить, что так называемое письмо Аксельрода, Засулич и пишущего эти строки есть вовсе не письмо, а просто отрывок из печатной программы группы «Освобождения Труда».

Во втором номере того же органа напечатана, между прочим, недурная статья «К вопросу о развитии политических форм на Западе и в России». Читатели найдут там также, очевидно, уже не случайно попавшее в «Самоуправление» письмо П. Л. Лаврова. Не малое место занимает там и письмо г. Добровольского, под заглавием «Довлеет дневи злоба его». Г. Лавров не высказывает, конечно, своего согласия с программой «Самоуправления», но выражает издателям его полное сочувствие, как «социалистам» и врагам русского самодержавия. Из письма

г. Лаврова мы узнаем, что издатели «Самоуправления» желают около своего органа «сгруппировать социально-революционные силы России». Если это действительно так, то издатели «Самоуправления» питают совершенно несбыточные надежды. Под их знаменем, сшитым из старых лоскутков старых, истрепанных жизнью знамен, ни в каком случае не может состояться об'единение «социально-революционных сил России». Для решения подобной задачи нужно, во-первых, не бояться «народной» и «городской» революций, а, во-вторых, нужно побольше критики, побольше определенности и поменьше противоречий в постановке жгучих социально-политических вопросов. Не помогут издателям «Самоуправления» и ободрительные фразы вроде следующих: «нас не мало. Мы все, все русское общество, громко протестуем против современных условий жизни, все, как один человек, желаем обновления их» (Передовая статья № 1). Это просто странно. Ведь названные издатели не только желают «обновления» условий русской жизни. Они желают обновить их в известном направлении, они «социалисты-революционеры». Неужели все русское общество состоит из социалистов-революционеров? С каких же это пор? А впрочем, мелко-буржуазные элементы нашего общества охотно могут подписаться под «социалистической» программой «Самоуправления». Программа эта имеет очень мало общего с настоящим социализмом, с *социализмом пролетариата.*

Что касается до статьи г. Добровольского, то он довольно подробно излагает в ней свои взгляды «на положение дел в нашей стране и на ту роль, которую должны взять на себя наши социалисты». Роль эта должна, по мнению г. Добровольского, свестись теперь к следующему: «Отложим пока в сторону наши социальные теории... забудем *на время* о том, что мы социалисты, поспешим скорее и всецело проникнуться тою истиною, что мы теперь можем быть *только* политическими революционерами, и смело, решительно, без раздумья и колебаний, поднимем знамя *Политической Свободы*» (курсив г. Добровольского). Это забвение социализма должно продолжаться до самого падения самодержавия. Когда падет абсолютизм, «тогда мы забьем в его могилу осиновый кол, бережно сложим и сдадим в архив наше политическое знамя, развернем новое, *социалистическое,* и под сенью его, насколько хватит сил и уменья, будем служить делу социализма». Читатели, знакомые со взглядами современных западно-европейских социалистов, конечно, не в состоянии будут понять этого противопоставления политического знамени социалистическому. Социалистическое знамя есть *знамя политическое («всякая классовая борьба есть борьба политическая»).* Можно подумать, что г. Добровольский, так резко нападаю-

щий на «крайнюю неподвижность нашей социально-революционной мысли», сохранил старые бакунистские взгляды на этот счет. Но не в том дело. Общий смысл приведенного отрывка все-таки совершенно ясен: мы должны на время забыть о социализме, сказав ему: «покойся, милый прах, до радостного утра». Хорошо, скажем; что же дальше, как добиться нам политической свободы, как вести себя в этом новом качестве забывших о социализме социалистов? «При решении этих жгучих вопросов, мы ни на минуту не должны упускать из виду, что, сами по себе, мы, социалисты-революционеры, в данном случае почти совершенно бессильны, что нам одним совсем не по-плечу огромная задача низвержения абсолютизма,—справедливо замечает г. Добровольский,—сами по себе мы можем действовать только как «партизаны», как «вольные стрелки», подкарауливающие неприятеля в засадах, налетающие на него, как снег на голову, наносящие ему отдельные, более или менее чувствительные удары и на минуту растраивающие, ошеломляющие его этими ударами... Но и только!.. Судьбы военных кампаний решаются теперь не летучими отрядами, а регулярными армиями». Все это опять-таки вполне справедливо. Но в таком случае, что же нам остается делать? Положение затруднительное; «к счастью, однако же, мы можем быть не одиноки: русское общество переполнено недовольством существующим политическим режимом, переполнено антиправительственными или, точнее, антидеспотическими элементами, ждет не дождется политической свободы, которая до-зарезу нужна, между прочим, также и ненавистным нам буржуазным элементам, и почти в полном своем составе может поддержать нас». Словом, наше общество

От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждет студента.

«Обратимся же скорее к этому обществу!». Оно-то, повидимому, и сыграет у нас роль регулярного войска». Сам г. Добровольский видит, что войско это будет не из весьма блестящих и уж во всяком случае не проявит геройской храбрости. «Да,—говорит он,—наше общество сонно, вяло, недеятельно, непредприимчиво, трусливо». Но перед этим препятствием он не останавливается. «Внесем же в него нашу доказанную на деле активность, предприимчивость, готовность на борьбу»,—восклицает он,—придем же к нему на помощь с нашей революционной энергией, отвагой и самопожертвованием, с нашим боевым опытом, с нашей выработанной революционной практикой, сноровкой и практической умелостью». Много же предстоит г. Добровольскому возни с его «регулярной армией»! Мы сильно опасаемся, что он в решительную минуту очутится в таком же положении, в каком очутился предводитель-

ствовавший инвалидами пушкинский капитан при штурме его крепости пугачевцами (см. «Капитанскую Дочку»).

Г. Добровольский пишет широковещательно и многословно, но совсем неубедительно. Почему наше общество «вяло, сонно» и т. д. Он не «пускается в разбор причин» этого обстоятельства. Но это напрасно. Если бы он разобрал их, то увидел бы, что наше общество и не может быть иным при современном положении дел. В борьбе с правительством высшие классы, из которых состоит «общество», никогда и нигде не играли роли «регулярной армии». Это чистая фантазия. Сами по себе они всегда были *штабом без армии,* как выражается Энгельс, говоря о немецкой буржуазии. Чтобы создать армию, нужна народная масса, нужны силы рабочих. Порукой в этом может служить вся западноевропейская история новейшего времени. А вот этой-то настоящей, а не фантастической армии и не видит за собой «пока что» наше общество. Поэтому оно и «нерешительно», зная, что правительство может раздавить его в каждую данную минуту. Поэтому оно «сонно» и «недеятельно». Вот этому горю и должны помочь наши революционеры. А раз они возьмутся помогать ему, им уж нельзя будет даже «на время» забыть, что они социалисты.

Г. Добровольский наивно говорит: «Carthaginem delendam esse»—упрямо твердил упорный Катон.—И Карфаген, как известно, пал. Но ведь «известно», что Карфаген пал не от слов Катона (только иерихонские стены могли пасть от гласа трубного, но это было, «как известно», чудо). Карфаген пал потому, что против него двинулось римское войско, которое, «как известно», совсем не отличалось такими свойствами, какими, по собственному признанию г. Добровольского, отличается русское общество. Вот почему употребленное им сравнение весьма неудачно, и наш новейший Катон (которого в отличие от Катона-цензора и от Катона Утического назовем хоть Катоном из «Самоуправления»), наверное, останется в своей роли временно-обязанного либерала при одном «упорстве».

Довольно об этом. Вопросу о борьбе за политическую свободу посвящена особая статья в нашем сборнике. Но, расставаясь с г. Добровольским, мы поставим ему на вид следующее. Он обзывает группу русских социал-демократов «доктринерскою, микроскопическою и по численности, и по значению, и по влиянию» и утверждает, что теории этой группы «очень добросовестно переведены с немецкого». Выходит, будто ничего, кроме перевода с немецкого, в теориях этой группы и нет. Не нам судить о значении нашей группы. Но пусть беспристрастный читатель прочтет те издания наши, в которых речь идет о *со-*

циальном положении России (об общине, капитализме и т. д.), а затем посмотрит, *что* говорит о том же положении г. Добровольский в своей статье. Он увидит в этой последней почти дословное повторение того, что наша группа подробно и обстоятельно *высказала уже несколько лет тому назад*. Притом, когда группа издавала эти, будто бы переведенные с немецкого, теории, они были действительно совершенно новы в нашей литературе. Теперь же, когда г. Добровольский с апломбом излагает их на страницах «Самоуправления», они начинают уже приобретать *прочность предрассудка*. Стало быть, пригодились же на что нибудь теории нашей группы, г. Добровольский?

Резюмируем наше мнение о новых противоправительственных органах. Главное их достоинство заключается в *факте их существования*. Что же касается до их *направления,* то оно вполне соответствует переживаемому нами переходному времени. Русские революционеры, убедившись в том, что их собственных сил недостаточно для продолжения их борьбы с правительством, ищут поддержки. Но при этом они ошибаются адресом, и вместо того, чтобы обратиться к наиболее развитым слоям народа, они обращаются к так называемому обществу, которое само бессильно против абсолютизма. Сказанное относится одинаково как к «Самоуправлению», так и к «Свободе», хотя эта последняя говорит, повидимому, только об «интеллигенции».

ЛАВРОВ, П. «Опыт истории мысли нового времени». Том первый. Выпуск 1—3. Женева, 1888 г.

О появлении первых выпусков замечательного труда П. Лаврова «Опыт истории мысли нового времени» не могли сообщить читающей публике наши легальные периодические издания, потому что автор его, как известно, «нелегален» и давно уже находится не в ладах с русским правительством. Свободно говорить о сочинениях писателей, находящихся в подобном положении, у нас разрешается только ционам и щербаням. Но странно, что из наших противоправительственных органов только «Общее Дело» сочло нужным известить своих читателей о выходе названного труда. «Свобода» и «Самоуправление» промолчали. А между тем, уже судя по первым трем выпускам, можно с уверенностью сказать, что это сочинение будет одним из самых замечательных явлений в современной философской литературе Европы. Мы не разделяем некоторых взглядов, изложенных автором во «Вступлении» (вып. I, стр. 1—99), но это не мешает нам с гордостью, вполне понятною и законною с нашей стороны, отметить тот факт, что «*Опыт истории мысли нового времени*» принадлежит перу русского социалиста.

Все сочинение будет состоять из пяти томов, содержание которых

распределится следующим образом: «Том I. Вступление: Задачи истории мысли. Книга первая: До истории. Том II. Книга вторая: Историческое подготовление мысли нового времени. Томы III и IV. Книга третья: Дуализм государства и науки. Том V. Книга четвертая: Социология и социализм. Заключение: Задачи будущего». Отсюда видно, как интересна будет работа П. Л. Лаврова для всех, занимающихся общественными науками.

Появившиеся в печати выпуски (30 листов) составляют лишь часть первого тома. «Вступление», занимающее 99 страниц первого выпуска, интересно уже само по себе. Разбирать его теперь было бы, однако, преждевременно, а разобрать его в библиографической заметке было невозможно. Но мы еще надеемся побеседовать с читателем об «Опыте истории мысли» по окончании его печатания в особой критической статье.

АЛИСОВ. «Гатчина 1-го марта 1887 г.»

Г. Алисов уже не молодой писатель. Он имел много времени для усовершенствования своего литературного таланта. А так как при этом он всегда очень сильно гнался за крепкими выражениями, то и достиг в этом смысле чуть не совершенства. Это хорошо ввиду того, что г. Алисов посылает свои крепкие выражения исключительно по адресу реакционеров: им так и надо. Но вот беда. Дамы совсем перестали читать произведения г. Алисова, боясь расчихаться. Сообщаем об этом по секрету нашему автору. Может быть, он поубавит крепость своих выражений, чтобы прекрасные читательницы опять получили вкус к его брошюрам.

KWARTALNIK «WALKI KLAS». Zeszit 2. Geneva, 1888.

В Германии есть немецкая социалистическая партия; во Франции есть французская социалистическая партия; в Голландии есть голландская социалистическая партия; в Дании есть датская социалистическая партия и т. д., и т. д., и т. д. Мы не знаем, как обстоит теперь дело с польской социалистической партией, но мы знаем, что есть «международная социально-революционная партия», которая издает свой орган на польском языке. Мы никогда не могли понять, почему названная партия нашла нужным обзавестись органом *только* в Польше, но, говоря по-правде, мы мало сожалели о том, что у нее нет органов на других языках: «Walka Klas» до сих пор не внушала нам большого уважения к литературным талантам «международной социально-революционной партии». Но теперь мы собственным горьким опытом убедились, что мы заблуждались. Вот уже подлинно—гром не грянет, мужик не перекрестится!

Kwartalnik «Walki Klas» (Z. 2) поместил на своих страницах очень бойко и убедительно написанную статейку под названием «Novy prad w rewolucyjnej mysli Rosyi». В этой статейке доказано, что сочинения пишущего эти строки никуда не годятся, а сам он смешон и просится в каррикатуру. Редакция «Walki Klas», с своей стороны, прибавила к статейке очень веское примечание, которым еще более нас поразила. Если же, чего боже упаси, наши противники вздумают перевести на русский язык эту небольшую, но милую вещицу, то наше дело будет совсем уже плохо. Тем не менее, мы считаем своей (правда, очень печальной) обязанностью указать им на это грозное для нас оружие. Редакция «Walki Klas» должна будет, по крайней мере, признать, что мы не лишены некоторой доли рыцарской чести.

Библиографические заметки из „Социал-Демократа". Книга первая. Лондон, февраль 1890.

«BIOGRAPHIE DES ALTEN VETERANS DER FREIHEIT IOH. PH. BECKER». Herausgegeben vom Zentral-Komite Genfs zur Denkmal-Enthüllung am 17 März 1889. Zürich 1889.

Брошюрка, заглавие которой мы выписали, интересна потому, что в ней рассказана жизнь одного из замечательнейших представителей революционного движения в Германии XIX века. Иог. Ф. Беккер не был, подобно Марксу или Энгельсу, выдающимся теоретиком. Ему пришлось довольно много написать в течение своей долгой жизни (1809—1886). Он писал книги, брошюры, воззвания, газетные статьи, был редактором очень дельного рабочего органа («Vorbote», 1866—1871), был даже стихотворцем. Но слава его заключается не в литературных его произведениях: в них нет ничего замечательного, выходящего из ряда вон. Его права на вечную признательность со стороны рабочего класса основываются на той самоотверженности и той преданности делу народного освобождения, которыми запечатлелась вся его долгая жизнь, полная борьбы и лишений. Начиная с конца двадцатых годов и до самой своей смерти в декабре 1886 года, И. Ф. Беккер всегда стоял в первых рядах революционеров, всегда готов был для торжества революционного движения пожертвовать и спокойствием своим и самою жизнию. Бедняком родился, бедняком жил, бедняком умер этот человек, которому, однако, не раз представлялась в жизни возможность обогатиться и жить припеваючи в среде многочисленного и любимого семейства. Беккер все испытал на своем веку: он был и подмастерьем, и купцом, и военачальником. Но работа подмастерья приносит немного. Что касается торговых предприятий Беккера, то с ними всегда случалось так, что едва он брался за одно из них и налаживал его до известной степени,—немедленно вспыхивало где-нибудь революционное движение, и наш предприниматель бросал счетные книги, брался за ружье и спешил на поле битвы. Где именно, в какой стране начиналось движение—это было для него решительно все равно: он сражался и в Швейцарии, и в Германии (где очень отличился во время баденского революционного движения 1849 года); в Италии только случай помешал ему принять участие в

битвах Римской республики 1849 года и в походах Гарибальди; пишущему эти строки он уже в глубокой старости часто говаривал полушутя, полусерьезно, что поедет в Россию, как только «северные медведи» начнут свою революцию. Подобная непоседливость, пожалуй, и не повредила бы его материальному благосостоянию. У него оказались такие большие способности к военной службе, столь несомненные военные таланты, что он мог бы составить себе блестящую военную карьеру. В 1860 году итальянское правительство, ожидая новой войны с Австрией, предлагало ему чин полковника, хорошее жалованье и начальство над особым легионом, организация и пополнение которого предоставлялись ему самому. Прими Беккер это предложение—он дошел бы, может быть, до «степеней известных», дослужился бы до высоких чинов и жирной пенсии. Но охотно служа *народам* в их освободительных, революционных движениях, он не считал возможным служить современным правительствам. Он отклонил выгодное предложение и остался таким же перекати-полем, каким был до того времени. С начала шестидесятых годов, когда с новой силой стало возрождаться подавленное в 1848—1849 г.г. движение рабочего класса, Беккер является деятельным и сознательным его участником. Он находился в тесных сношениях с Лассалем, был членом Международного Товарищества Рабочих (издававшийся им журнал «Vorbote» был одним из лучших органов этого знаменитого Товарищества); в августе 1869 г. мы видим его на конгрессе в Эйзенахе, после которого немецкая социал-демократия выступает в виде окончательно сложившейся партии, с последовательной программой и строго выработанной организацией. После распадения в 1872 г. Международного Товарищества Рабочих по причинам, о которых здесь говорить не место, Беккер продолжал действовать, главным образом, во французской Швейцарии, где им сделано все, что можно было сделать при мелкобуржуазном характере местной промышленности и соответствующей ему неразвитости рабочих. Когда физические силы начали изменять ему в его преклонных летах и он уже не мог работать с прежней энергией, он не переставал поддерживать своими советами и своим горячим сочувствием новых, молодых деятелей. Мы помним, с какой теплой симпатией относился он к Ж. Гэду, предпринявшему агитационное путешествие по французской Швейцарии. Добродушно подшучивая над пылким и увлекающимся французом, он в то же время обнаруживал к нему поистине трогательную любовь и нежность, справедливо видя в нем надежду и гордость социал-демократической партии во Франции. Короче, всякий, кто хотел что-нибудь сделать для рабочего движения, мог безошибочно рассчитывать на сочувствие и поддержку «папы Беккера».

«Беккер был редкий человек»,—говорит его биограф. И действительно, такие люди редки везде. Начиная с двадцатых годов нынешнего века, немецкая молодежь сильно увлеклась освободительным движением. Революционеров было много: почти каждый не совсем тупой учащийся или учившийся молодой человек отдал свою дань всеобщему увлечению. Но для огромного большинства революционеров в Германии, *как и везде*, подобное увлечение было временным, скоропроходящим. Годы горячей юности быстро протекали, молодой человек становился человеком средних лет, его силы истощались борьбою за личное существование, и бывший революционер мало-по-малу превращался в заурядного «филистера», образ которого был ему так ненавистен когда-то. Везде и повсюду много званных, но мало избранных. Беккер имел счастие принадлежать к избранным. Ни тяжелый жизненный опыт, ни нужда, ни годы не могли подкосить его революционной энергии. Дойдя до семидесятилетнего возраста, он остался таким же энтузиастом свободы, каким был в своей зеленой юности. И в этом—его огромная заслуга, в этом—его право на всеобщее уважение.

Другой заслугой Беккера является его чуткость и внимательность по отношению к требованиям времени. Он обладал редкою способностью к самосовершенствованию. В конце двадцатых годов он выступает перед нами в качестве довольно неопределенного представителя оппозиции против тогдашних немецких порядков. Затем он постепенно демократизируется, а в шестидесятых годах оказывается сознательным последователем *современного научного социализма*. Только очень и очень немногие из немецких *демократов* поняли смысл нового учения, только очень и очень немногие из них сумели стать *социал*-демократами. Большинство их бросилось в ряды *буржуазных* партий. Беккер поступил иначе, он явился исключением из общего правила и этим заслужил вечную признательность со стороны пролетариата.

Наконец, к числу характерных и привлекательных свойств Беккера нужно отнести тот здравый смысл, который всегда заставлял его искать решения политических вопросов в *действительных, существующих* в данное время *отношениях* сил в стране. Это драгоценное свойство он обнаружил еще на известном Гамбахском празднике 1832 г. «Присутствующие на празднике профессора и ораторы предлагали лишь пассивное сопротивление,—рассказывал он впоследствии в письме к некоторым из немецких товарищей. Я вышел из терпения, вскочил на опрокинутую бочку и закричал этим болтунам: распоряжения правительств поддерживаются штыками, поэтому им повинуются. Наши прошения и протесты не поддерживаются ничем, поэтому они кажутся правитель-

ствам смешными. Если мы хотим успеха нашим протестациям, мы должны опереться также на штыки и пушки. *Постараемся же вооружить народ!*» Об этом разумном совете не мешало бы вспомнить нынешним нашим сторонникам либеральных прошений и «легальных» протестов, которые никак не хотят понять, что пока за ними не обеспечена *народная* поддержка, они останутся в глазах правительства смешными *болтунами*.

На деньги, собранные по подписке, в которой приняли участие социал-демократы самых различных стран и языков, Беккеру поставлен памятник на кладбище св. Георгия в Женеве. Разноязычные подписи, украшающие этот памятник, свидетельствуют о глубоком уважении к покойному всемирной социал-демократической партии.

* * *

«*RUSSIE ET LIBERTÉ*». *Par un gentilhomme Russe*. Deuxième édition. Paris, 1889.

Перед нами лежит второе издание книги «русского дворянина»: «Россия и Свобода». Мы не знаем, издана ли она еще хоть один раз. Не знаем даже, действительно ли она выдержала два издания, или выпустивший ее в свет парижский книгопродавец г. Альбер Савин употребил, для облегчения ее сбыта, известный прием, с помощью которого очень легко приписать несколько изданий даже очень плохо расходящейся книге. Может быть, что на самом то деле разбираемое нами сочинение целиком осталось на полках у издателя. Если это действительно так, то очень жаль. Книга русского дворянина заслуживает полного внимания всякого образованного читателя, какой бы он ни был национальности. Она написана господином, который, хотя и не пожелал назвать себя, но тем не менее дает ясно понять, что он играет не последнюю роль в русской правительственной системе. По его словам, он принимал большое участие в «контр-реформах» нынешнего царствования. Некоторые из них даже предприняты, будто бы, по его совету. Именно, уничтожение «чудовищной юрисдикции мировых судей» в деревнях и «переделка земства в истинно-русском духе»—эта прелюдия к другим, не менее необходимым, «контр-реформам»—«совершалась сообразно заключениям доклада, представленного автором этой книги Е. В. Государю Александру III в 1881 г. и удостоившегося одобрения августейшего монарха» (стр. 339—340). Если автор говорит правду (а мы не имеем никаких оснований принимать его за Хлестакова), то его книга дает нам прекрасный случай ознакомиться с духом и направлением людей, стоящих теперь во главе русского правительства. Куда идут

они? Какова последняя цель их стремлений? Сочинение влиятельного при дворе «русского дворянина» дает очень ясные ответы на все эти интересные вопросы.

«Северный медведь с'ест Капитал, Социализм и германское Единство—этих трех незаконных детищ Свободы, Равенства и Братства»—так гласит эпиграф разбираемой нами книги. Уже отсюда видно, что «Северный медведь» задал себе нешуточную задачу. Трудно с'есть «Капитал» или «Социализм» или «германское Единство», взятые поодиночке, но с'есть их все зараз,—для этого нужен поистине медвежий желудок, да и медвежий желудок, пожалуй, не вынесет такой обильной пищи и придет в сильное расстройство. По крайней мере, у многих читателей может явиться опасение за здоровье русского Топтыгина.

Никто не станет отрицать основательность подобного опасения. Сам «русский дворянин», имеющий удовольствие принадлежать к числу вожаков «Северного медведя», чувствует, что этими вожаками затевается очень нелегкое дело. Но он верит в его успех, и чтобы сообщить свою веру читателям, преподносит им свое сочинение. По совершенно понятной причине сочинение это написано на французском языке: высший класс в России хорошо владеет французским языком, следовательно, язык не помешает людям этого класса прочесть книгу нашего «дворянина». До других же классов ему нет дела, так как, по его мнению, им вовсе не пристало рассуждать о судьбах своей родины. Не мешая распространению его идей в России, французский язык имел в глазах автора то огромное преимущество, что позволял ознакомиться с ними и французам, которые до сих пор мало знают язык «Северного медведя». А для французов очень важно знакомство с идеями «русского дворянина», потому что он дает им в своей книге множество дельных советов. Сказать по-правде, он и написал то ее, главным образом, в интересах французов, чтобы разоблачить перед этой прекрасной, великодушной нацией весь гнусный смысл трех ужасных слов: *свобода, равенство и братство,*—этих слов, которые стоят «в полнейшем противоречии с природой, здравым смыслом и логикой» и составляют настоящую «дьявольскую троицу», поставившую Францию на край бездны. Автор прекрасно сделал, что пришел на помощь французам. У нас в России дело обстоит еще не так плохо: у нас есть жандармы и урядники для борьбы против «дьявольской троицы»,' а у бедной Франции единственной опорой и поддержкой является наш благородный «русский дворянин» со своей книгой. Не помоги он ей во-время,—ее судьба была бы решена, а теперь она еще может поправиться, потому что книга нашего автора—это целое откровение.

«Русский дворянин» задался похвальною целью опровергнуть те ложные принципы, те гнусные учения о «свободе, равенстве и братстве», которые принесли так много вреда Западной Европе и даже проникли в Россию, где под их влиянием находился император Александр II, сделавший много зла своими неумелыми реформами. Революционные лжеучения не всегда пользовались кредитом в Европе. Было время, когда все шло хорошо. Народы спокойно жили под властью королей, духовенства и дворянства, а о революциях не было и слуху. Но вот в Германии, в стране, жители которой представляют собою «воплощенную посредственность» и, вероятно, по этой причине имеют склонность к «диалектике» и «рационализму», явились три вреднейших человека: Лютер, Гуттенберг и Шварц. Лютер—«отец лжи и бунта»—заговорил о свободе; Гуттенберг изобрел книгопечатание—«роковое орудие распространения нелепостей, основанных на этой свободе»; наконец, Шварц «украл у китайцев тайну приготовления пороха, орудия массовых убийств, совершаемых в течение трех столетий во имя той же свободы». Заметьте, пожалуйста, что все эти гадости сделаны именно немцами, которых «русский дворянин» и осыпает за это справедливыми укоризнами. Однако, беда была бы не велика, если бы вредные учения и открытия немцев не перешли границ Германии: о немцах жалеть нечего, им туда и дорога. Хуже всего то, что за немецкие лжеучения впоследствии схватились французы, те самые французы, которые во время Реформации имели еще достаточно здравого смысла, чтоб не поддаться влиянию Лютера. Когда за распространение вредных идей взялась Франция, то дело не ограничилось «диалектикой». Революции последовали одна за другой, от патриархальных учреждений доброго старого времени не осталось и следа. *Капитал* сделался всесилен, он породил *пролетариат* и благодаря всему этому Франция, а с нею и вся Западная Европа находится теперь накануне социальной революции и анархии. Недалеко время господства «Луизы Мишель и компании». Напрасно стали бы возражать автору «некоторые французы», что современная французская республика имеет очень мало общего с анархией. Его не собьешь такими возражениями. «Я отвечаю,—говорит он:—между конституционной монархией, республикой и анархией различие состоит только в форме и возрасте; конституционная монархия есть только станция на пути к республике, а республика есть мост, который неминуемо ведет к анархии» (стр. 12). Как же быть? Единственное средство спасения заключается, по мнению автора, в возвращении к *патриархальной монархии*, которая, к счастью человечества, еще существует в России. Патриархальная монархия это «единственная серьезная и устойчивая социальная система, гарантирующая жизнь и имущество лица, единственная система, позволяющая человеку пользоваться свободой, правда, относительной, но зато невымышленной и гораздо более широкой, чем та, какую когда бы то ни было может предложить людям самая либеральная республика» (стр. 14—15). Сумеют ли европейские общества своевременно покончить с «дьявольской троицей» свободы, равенства и братства и вернуться к патриархальной монархии? Временами автор сомневается в этом, и тогда ему кажется, что «великая социальная революция» на Западе неизбежна (стр. 329—330); временами же, напротив, он еще верит в здравый смысл европейских народов, и тогда ему представляется, что дело их обновления пойдет приблизительно таким образом: немцы надоедят всем и каждому со своим милитаризмом, и европейская война станет неизбежной. Тогда на сцену выступит Россия и, можно сказать, шутя, спасет цивилизованный мир от угрожающих ему бедствий войны и революций. «Русскому царю достаточно будет *произнести кстати некие многозначительные слова* (курсив принадлежит автору). В одно мгновение ока разрушатся все *Лиги мира,* и Германия сделается тем, чем хотел сделать ее Фридрих II: великой нацией, полезной и трудолюбивой, но разделенной на маленькие, независимые друг от друга княжества, связанные между собой для обороны, но уже не для нападения... Избавленное от кошмара милитаризма, европейское общество поймет тогда роль и назначение России. Единство власти снова покажется ему необходимостью и абсолютной истиной. Возвратясь к своим королям, оно легко защитит себя против капитала и спокойно примется за разрешение социального вопроса» (стр. 46—47). Чтобы облегчить европейскому обществу возврат «к королям», автор и опровергает революционные лжеучения, или, говоря его словами, восстановляет истинные принципы.

Он подходит к этому делу издалека. Для борьбы со «свободой, равенством и братством» он строит огромную научную батарею, ссылается на логику, на историю, на механику, на астрономию, на физиологию, на психологию, на биологию, на антропологию и на этнографию. Словом, перед его всеобъемлющим умом проходят все науки и все они согласно вопиют, что свобода и равенство—сущий вздор, и что—«ина слава луне, ина слава солнцу, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе». «Вопросите простейший организм инфузорий, или человеческий организм, или, наконец, организм миров, рассмотрите их с физической и с моральной точек зрения и со всех сторон вы получите один и тот же ответ: *все, что организованно, т.-е. все, что живет и движется, покоится на известной центральной системе, на*

автократии, и нигде никакого следа ни конституционализма, ни парламентаризма, ни свободы, ни равенства» (стр. 17; курсив опять принадлежит автору).

Заметим мимоходом, что нам очень нравится этот строго научный способ доказательства посредством *аналогии,* который дает возможность одерживать блестящие победы над «свободой и равенством» с драгоценною помощью амеб и инфузорий. В последовательном применении этого метода «русский дворянин» далеко оставил позади себя буржуазных социологов. Те все ссылались на «организм» для доказательства неизбежности существования класса эксплоатируемых и класса эксплоататоров. Смелый дворянин пошел гораздо далее: он показал, что даже простейшие организмы с поразительной ясностью подтверждают необходимость «автократии» и приведения самих эксплоататоров к одному общему знаменателю царских холопов. Это и ново, и смело, и поучительно. Интересно знать, что возразят буржуазные социологи «русскому дворянину?»

Чтобы дать читателю понятие о научных приемах нашего автора, приведем то место из его книги, где он говорит о различии полов. «Какова причина и смысл различия полов?» спрашивает он читателя и, не надеясь получить от него резонный ответ, спешит дать собственные об'яснения. Ему кажется, что «мыслители» не умели удовлетворительно разрешить этот вопрос потому, что их понятия сбиваются с толку «старыми заблуждениями». В пример таких заблуждающихся мыслителей он приводит Фирхова, хотя и не считает нужным остановиться на «ошибочной теории биогенезиса», предложенной немецким ученым. Собственная теория нашего автора, опирающаяся на открытия Коперника, Ньютона и Дарвина, сводится к следующему. «Человек есть венец творения», «человеческое общество представляет собой микрокосм, зеркало, в котором очень точно отражается наша планетная система». Астрономия же учит нас, что в то отдаленное время, «когда из первобытного хаоса образовались планеты, наша земля составляла одну массу с луною; подчинясь законам тяготения, эта нетвердая масса разделилась на две части, и таким образом явился наш шар и его спутник. Совершенно так же полужидкая монада или монера, от которой мы без сомнения происходим, должна была сперва представлять собою единую массу, имеющую свойство воспроизводиться сначала посредством сегментации, потом посредством самооплодотворения; поднимаясь выше по лестнице организации, она сделалась, наконец, двуполой. Эта научная истина вполне подтверждается свя-

щенным писанием... Моисей говорит»... и т. д., и т. д. (стр. 232—233). Оставляя в стороне вопрос о том, точно ли Моисей не противоречит нашему автору, мы попросим беспристрастного читателя сказать себе, положа руку на сердце, не ясна ли ему теперь до последней степени причина существования полов и вообще может ли он указать в истории науки более замечательное открытие. По крайней мере мы не знаем ничего более глубокого и гордимся гением «русского дворянина», хотя, ослепленные «старыми заблуждениями», мы и не имеем чести принадлежать к его партии.

Нужно, впрочем сознаться, что избалованный тою любезностью, с которой мать-природа открывает ему свои тайны, он становится иногда невнимателен к предмету своего исследования, а вследствие этого ему случается иногда доказывать прямо противоположное тому, что он хочет доказать. Вот, например, он, разумеется, очень не любит материалистов и с большою охотою готов был бы уничтожить их, хотя бы в теории. Он и идет на них войною в своей книге, но—увы!—сам, незаметно для себя, поддается влиянию их лжеучений. В результате его рассуждений оказывается, что «всемирная субстанция подразделяется на два первоначальных элемента: жидкость видимую и жидкость невидимую», и что «этим двум элементам мы даем название материи и духа» (стр. 205). Следовательно, дух есть не что иное, как «невидимая жидкость»! Одного этого было бы достаточно, чтобы справедливо заподозрить нашего автора в материализме. Но это подозрение еще более усиливается, когда он заявляет, что для науки неважно, представляет ли собою невидимая жидкость (или иначе *эфир)* «нечто совершенно отличное по своей природе от материи, или она сама есть крайне разреженная материя» (стр. 204). В виду таких выводов «дворянина», материалисты едва ли согласятся признать себя побежденными.

Иногда же наш автор вдается в толкования догматов веры, не совсем согласные с учением православной церкви. Чтобы защитить догмат бесплотного зачатия Иисуса, он ссылается на теорию самопроизвольного зарождения. «Почему атеисты смеются над догматом бесплотного зачатия?—восклицает автор.—Разве он не является в конце концов (aprés tout) истинным символом самопроизвольного зарождения?» (стр. 216—217). Мы позволим себе по этому поводу сделать два замечания «русскому дворянину». Во-первых, говоря о зачатии Иисуса, нельзя ссылаться на самопроизвольное зарождение: по теории это зарождение совершается без матери, а Иисус, если мы не ошибаемся, родился от Марии. Автору лучше было бы сослаться на известное, всеми

зоологами принятое теперь учение о *партеногенезисе*, т.-е. о происхождении детеныша от матери-девственницы. Но и здесь,—пусть подумает автор,—прилично ли приравнивать богородицу к тем, можно сказать, не стоющим козявкам, у которых наблюдалось размножение без оплодотворения? Что общего у Марии с такими козявками? Нехорошо, нехорошо: «русский дворянин» хотел победить атеистов, а вместо этого сам вдался в крайне соблазнительную ересь.

Но довольно уже мы говорили об его теоретических подвигах. Поговорим теперь о предлагаемых им практических планах борьбы с материализмом, атеизмом и революцией. В этих планах прежде всего останавливают на себе внимание читателя придуманные автором меры против евреев. Наш автор терпеть не может евреев. Да это и понятно, в виду того зла, которое они сделали, по его мнению, в Европе. Во-первых, развитие капитализма ведет Европу к социализму, а в глазах «русского дворянина» евреи являются чуть ли не единственными представителями и обладателями капитала. Кроме того, ему иногда кажется, что сама «дьявольская троица», т.-е. свобода, равенство и братство, была придумана евреями для более удобного обирания арийского племени (стр. 326—327). Как же не нападать ему на евреев, которые к тому же издают, по его словам, отвратительный запах. Он сожалеет о том, что египетскому фараону не удалось истребить всех еврейских младенцев мужеского пола. Удайся ему это полезное предприятие—давно бы уже «нильские крокодилы разрешили своими челюстями вопрос о зарождавшемся капитале и об его спутнике—социализме» (стр. 293). Иногда кажется, что в своем азарте против евреев «русский дворянин» сам готов превратиться в нильского крокодила. «Некоторые предлагают беспощадное массовое истребление жидов,—говорит он,—и эта система заслуживает внимания» (стр. 304). Однако пусть не пугаются русские евреи: наш автор любит, подобно гоголевскому «значительному лицу», распечь человека и привести его в трепет, но на кровавые меры он все-таки не решается. Для борьбы против евреев он придумал следующие некровопролитные и, вместе с тем, очень остроумные мероприятия. Ему кажется необходимым возврат к средневековым *гэтто* и к тому костюму желтого цвета,—«цвета каторжников»,—который евреи обязаны были носить когда-то. «К желтому костюму следовало бы прибавить ожерелье из колокольчиков, чтобы уподобить жидов гремучим змеям, или можно было бы навешивать на них трещетки, подобные тем, какие носили в Средние Века прокаженные; во всем этом я не вижу никакого неудобства» (стр. 307). Одного только боится «русский дворянин»: ему кажется, что еврея не сократишь подобными

гениальными мероприятиями. «Это демон, он играет роль искусителя, он искушает христиан предложением взаймы денег». По этому поводу наш автор в бессилии разводит руками и советует христианам утром и вечером повторять «молитву господню», следующим образом изменив ее окончание: «Господи, охрани нас от искушения ростовщика. И избави нас от жида. Аминь» (стр. 308). Прекрасное и совершенно безобидное средство.

Но зачем все это?—скажет иной читатель. К чему говорить о сочинении чудака, который, очевидно, не находится в трезвом уме и твердой памяти? Что «русский дворянин» большой чудак,—против этого мы спорить не станем. Что книга его (да простит он нескромный отзыв рецензента) производит впечатление горячечного бреда,—это также не подлежит сомнению. Но ведь этот чудак, этот человек, одержимый горячечным бредом, получает похвалы от «августейшего монарха», он имеет влияние, измышляет контр-реформы. Этот человек является одним из вожаков «Северного медведя» и не только не замечает своего болезненного состояния, но говорит тоном величайшего авторитета, читает нотации одержимой революционным бесом Европе и, указывая на свою «*патриархальную монархию*», скромно намекает, что он, в случае чего, мог бы выступить в Европе в качестве новейшего Солона. Вот, что поучительно, вот, что заслуживает величайшего внимания всякого мыслящего человека. Повторяем, мы очень желали бы, чтобы книга «русского дворянина» разошлась как можно более. Европейцы увидят из нее, к чему стремится правительство Александра III. Они поймут, что дух этого правительства враждебен не только всякому дальнейшему движению вперед, но и всему существующему общественному европейскому порядку, в котором оно не видит и не может видеть ничего, кроме порождения «дьявольской троицы»—свободы, равенства и братства. В особенности для французов сочинение нашего автора могло бы быть очень полезно. Оно ясно показывает, что северный Тартюфин никогда не может быть искренним союзником французской республики, что дружную поддержку со стороны России Франция может получить только в случае своего «возвращения к королям» и что даже за малейшие уступки русской дипломатии она должна платить приостановкой своего внутреннего развития. До сих пор еще французы, к сожалению, недостаточно поняли эти горькие, но полезные для них истины. Книга «Россия и свобода» может значительно облегчить их понимание.

А для нас, для русских,—каких полезных уроков ни заключает в себе эта книга! Посмотрите, сколько и каких «контр-реформ» приду-

мал ее автор, повидимому, не умеющий связать в своей голове двух мыслей. Мы уже приводили выше его горделивое признание в том, что уничтожение мировых судов в деревнях и переделка земства «в истинно-русском духе» еще в 1881 году предлагались им Александру III. Но это было только начало. Теперь полюбуйтесь желательным «русскому дворянину» продолжением. Он хочет: 1) чтобы русская нация была избавлена от западного обскурантизма путем реформ в народном образовании и создания рациональной науки, существенно русской по своему духу; 2) чтобы государство было, по крайней мере отчасти, избавлено от тирании капитала вообще и заграничного в частности; 3) чтобы дворянство было избавлено от поземельных банков и от частного ростовщичества, и чтобы ему дана была возможность стать тем, чем оно всегда было: интеллигентным и по природе своей консервативным классом, направляющим патриотизм других классов; 4) чтобы крестьяне были избавлены от их свободы, которая отдает их во власть лени, пьянства, ростовщиков, кулаков, разврата и бедности, и чтобы они были отданы под опеку государства, могущую заменить прежнюю опеку помещиков; 5) чтобы города были избавлены от грабежа, практикуемого их эдилами; 6) чтобы суд был избавлен от неправосудия присяжных и от дорого стоющей болтовни адвокатов; 7) чтобы, наконец, русское общество было избавлено от эксплоатации его частными банками, еврейскими ссудными кассами и акционерными компаниями; чтобы все это было сделано путем перенесения кредитных и промышленных функций на государство, путем заведения повсюду строгого контроля и содействия во всех частных предприятиях возникновению артелей, этих истинно-русских ассоциаций, которые призваны положить со-временем конец господству капитала и решить мирным и законным путем великий социальный вопрос» (стр. 338—340). Словом, русский дворянин хотел бы, по его собственному выражению, как губкой стереть все, сделанное в России с 1856 по 1881 г. Конечно, немного найдется людей, которых могли бы подкупить в проектах нашего автора фразы против грабежей городов их эдилами или против адвокатской болтовни. Со смыслом этих громких фраз все давно уже знакомы из «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника». Выходки против капитала и защита артелей покажутся, пожалуй, соблазнительнее. Многие из наших «друзей народа» в своих понятиях не пошли дальше социализма, насаждаемого мощною рукою помпадуров (укажем хоть на г. В. В.). Но и таких людей образумит, может быть, мысль о том, что в проектах «русского дворянина» помпадурский социализм тесно связан с деспотизмом чиновников, с тиранией дворянства и *с освобождением* крестьян *от свободы*. Если книга нашего автора откроет им глаза на их, вероятно, невольные ошибки, то она и этим уже принесет не мало пользы. Наконец, просвещенной части русской буржуазии проекты «русского дворянина» покажут, до какой степени интересы «патриархальной монархии» идут вразрез с интересами их класса. Было время, когда русская монархия поддерживала буржуазию всеми зависевшими от нее способами. Русская буржуазия обязана нашей монархии по меньшей мере столько же, сколько была обязана в свое время французской монархии французская буржуазия. Фактически и теперь еще русское правительство, даже теми своими мероприятиями, которые им делаются в интересах других сословий, работает на пользу буржуазии. Отсюда—верноподданические чувства ее огромнейшей части. Наша буржуазия не мало терпела от наших бюрократических порядков и нередко ворчала при этом. Но в общем она все-таки осталась верноподданной, потому что «от добра добра не ищут». Теперь влиятельный «русский дворянин» предлагает правительству начать поход против капитализма и взяться за разрешение социального вопроса. Мы очень желали бы, чтобы правительство последовало его советам. Социального вопроса оно, конечно, не разрешит,—смешно и говорить об этом. Но буржуазию нашу подобными попытками оно быстро и прочно цивилизует. Экономически русская промышленная и торговая буржуазия давно уже заняла видную роль в обществе. Ей недоставало политического сознания и развития. С божьей помощью сторонники «патриархальной монархии» дадут ей его своими реакционными попытками решения социального вопроса. Энергично поведя поход против «западного обскурантизма», они толкнут наших буржуа на путь *западничества,* сделают привлекательными для них западно-европейские либеральные идеи и этим сослужат огромную службу делу русского прогресса. Пусть же работают прилежнее единомышленники «русского дворянина», пусть их реакционные дурачества все сильнее и сильнее возбуждают против современного правительства общественное мнение России. Это очень на-руку нашему брату, революционеру.

— Логика истории неумолима,—замечает, не помним уже на какой странице своей книги, наш автор. Изо всех высказанных им мыслей это—единственная, с которой можно согласиться. В самом деле, посмотрите, как беспощадно дурачит история представителей отживших политических систем или даже целых общественных классов; посмотрите, до какой степени лишает она их всякой способности к серьезному мышлению, всякой талантливости и оригинальности. Возьмите

хоть нашего «патриархального» самодержца Александра III. Где его сторонники? Где люди, его защищающие? Их много в полицейских участках, много среди армейских бурбонов, много между тупыми реакционным дворянством, много между жадными биржевиками и предпринимателями, много, быть может, даже в неразвитой народной массе; но много ли их в среде образованной и честной? Много ли талантов в реакционном лагере нашей литературы? Во время коронации вышло и деятельно распространялось в Москве поэтическое произведение, если не ошибаемся, некоего г. Белокопытина. Произведение это начинается следующими прекрасными словами:

Господи, помоги мне издать сочинение,
Дабы к святому дню коронования
Осуществить общее народное стремление
И истребить социалистов до основания.

Далее следует целая филиппика против социалистов, из которой мы запомнили такое место:

Ах, вы варвары, злодеи, социалисты,
Вы могли быть педагоги и юристы,
Но вы все бунтуете таким родом,
Кайтесь, мошенники, перед народом!

В середине своего произведения автор неожиданно переходит к самому себе и сообщает, что «переносит горя не мало», так как слишком плохо учился в кадетском корпусе. Это последнее признание было, впрочем, совершенно излишне, так как стихи достаточно свидетельствовали об успехах верноподданного поэта в науках. Но это все равно, главное в том, что г. Белокопытин, конечно, являлся единственным безусловным сторонником самодержавия из всех русских поэтов, другие, может быть, и не прочь были воспеть царя при случае, но у каждого из них, наверное, находились свои оговорки, навеянные влиянием лукавого Запада и мешавшие им одобрять все дурачества абсолютизма. Г. Белокопытин был чужд всяких западных влияний, он был истинным и беспримерным певцом Александра III, его *Державиным*. «Русский дворянин» является теперь истинным теоретиком современного царизма. Он выдвинул на защиту «патриархальной монархии» подлинную философию мракобесия. Философ стоит поэта, а оба они, вместе взятые, вполне достойны своего «обожаемого» монарха.

* * *

ДЖОРДЖ КЕНАН О РОССИИ.—Сибирь и ссылка. Переведено с английского. Издание парижского социально-революционного фонда. Париж, 1890 г.

Г. Кенан беспощадно разоблачил некоторую долю гнусностей русского правительства перед читающей публикой образованного мира. Этим он оказал величайшую услугу революционерам и этого было бы уже достаточно, чтобы статьи благородного американца показались нам превосходными, но это не единственное достоинство их. Всякий образованный читатель, к какой бы партии он ни принадлежал, должен будет признать, что статьи эти написаны рукой человека, одаренного недюжинным литературным талантом. Правдивость их говорит сама за себя. В виду этого, очень хорошо поступили лица, решившиеся издать статьи г. Кенана в русском переводе. Теперь появилась пока только часть статей г. Кенана. Парижский литературный фонд обещает продолжать свое издание. Он готовит к печати второй выпуск статей американского писателя, куда войдет все, написанное им до сих пор о России. Желаем полного успеха этому полезному предприятию.

Библиографические заметки из „Социал-Демократа". Книга третья. Женева, декабрь 1890.

A. DOVERINE (TCHERNOFF).—L'esprit national russe sous Alexandre III. Paris, G. Charpentier et C°, 1890.

Книга г. Доверина-Чернова представляет собою сборник статей, печатавшихся в «Nouvelle Revue». В этих статьях, которых счетом девять, он задался целью ознакомить французов с «русским национальным духом в царствование Александра III». Особенности этого духа состоят в следующем: «Всем русским, к какому бы классу они ни принадлежали, свойственно одно общее чувство,—уверяет наш автор,—представляемое тремя символами (sic!): Бог, Царь и Отечество». Первые два «символа»—Бог и Царь—стоят выше всяких споров (или, как выражается он, представляют собою *совершенные символы,* sont des symboles parfaits), по отношению к ним нет никаких разногласий в русском народе. По поводу третьего символа, отечества (вероятно, вследствие его несовершенства)—ведутся споры даже между «превосходными патриотами», горячо преданными самодержавию и православию. Споры эти, по словам г. Доверина-Чернова, касаются главным образом вопросов внешней политики. Одни, «официальная партия», как называет их г. Доверин, «открыто склоняются к союзу с Германией»; другие, «национальная партия», тяготеют к Франции, полагая, что самые насущные интересы нашего несовершенного символа подсказывают нам союз именно с этой последней страною. Сторонники Германии сами являются по большей части или русскими немцами, или немецкими выходцами, насквозь пропитанными духом той страны, в которой покоятся кости их предков. Поэтому и во внутренней политике они не могут быть хорошими проводниками «русского национального духа». Иное дело—«национальная партия». Она состоит из истинно-русских людей и сумела бы доставить полное торжество русскому духу, если бы была призвана к власти. Но до этого, повидимому, еще далеко. В настоящее время «борцы великой русской идеи» не

только далеки от власти, но и находятся даже в большом подозрении относительно их благонамеренности. Из книги г. Доверина-Чернова мы узнаем, что в «оффициальном мире» они считаются «тайными революционерами». Это, разумеется, не мало печалит нашего автора, да, признаемся, мы и сами готовы пожалеть несчастных «борцов». Мы сами желаем им всякого успеха. «Для новых людей нужны новые люди»,—говорит г. Доверин. И это совершенно справедливо. Принятая правительством политика «русского духа» требует истинно-русских людей. За неимением таких людей она по необходимости окажется двойственной и непоследовательной. А это очень нежелательно, потому что полезно было бы показать современным нашим обывателям русский дух во всей его цельности и во всем его величии. Знакомство с ним много способствовало бы их политическому развитию.

Не смейтесь, читатель. Русский дух, это нечто весьма замечательное. В нем ничего нет общего с духом европейских народов, и наоборот, в нем много общего с духом народов азиатских, что, впрочем, совершенно понятно, так как «мы, русские,—азиаты» (nous autres, Russes, nous sommes des Asiatiques, стр. 282). Народы Запада «похожи на более или менее драгоценные слитки, которые, будучи положены в один котел, кончили тем, что под действием революционного огня сплавились в один слиток». Русская же нация, не поддающаяся действию революционного огня, «все более и более стремится утвердить свою особенную индивидуальность». Это-то обстоятельство и восхищает национальную партию, отличительным свойством которой является, по словам нашего автора, «горячая вера в идею *партикуляризма*» (Avant-propos, стр. IV). К сожалению, соседство с Западом весьма вредно отразилось на истории русского духа. Образованные люди России глубоко прониклись западно-европейскими идеями. Эти идеи лежат в основе всего нашего среднего и высшего образования. В статье «L'Enseignement universitaire en Russie» г. Доверин-Чернов приводит поразительные примеры искажения наших родных понятий профессорами-западниками. Он указывает между прочим на киевского профессора Кистяковского, который в своем «*Учебнике уголовного права*» высказывает ту мысль, что источником преступлений служит или наследственное предрасположение, или болезненное возбуждение, или, наконец, невежество. Наш автор думает, что подобные учения совершенно несогласимы с русским духом. Смысл этих учений сводится к отрицанию «свободной воли», «философского я» и т. п.,—словом таких вещей, без которых русскому духу обойтись никак невозможно. Мы и в этом случае вполне согласны с г. Довериным. В самом деле, если воля несвободна,

то с какой же стати наказывать людей за преступные деяния? Тогда «преступнику нужны не судьи, а врачи» (стр. 249). А с русской точки зрения такая мысль является самым вредным лжеучением. Впрочем, не с одной только русской точки зрения. Читатель помнит, вероятно, печальное событие в жизни Вольфа, которому отец «великого» Фридриха приказал, под страхом смертной казни, немедленно покинуть Пруссию, когда услыхал от своих приближенных, что дерзкий философ отрицает свободу воли. Если воля несвободна, то, следовательно, нельзя наказывать солдат за побеги и вообще поддерживать военную дисциплину,—умозаключил прусский Soldatenkönig. Этот факт показывает, что и западные люди рассуждают или, по крайней мере, рассуждали иногда вполне основательно. И тем стыднее будет для нас, если мы, азиаты, уступим в такого рода основательности европейским варварам. Кроме того, г. Доверин-Чернов справедливо негодует на профессора Кистяковского за то, что тот видит существенное различие между уголовными преступлениями, с одной стороны, и политическими—с другой. По учению зловредного профессора выходит, что политические преступники руководствуются в своих деяниях лишь более или менее дурно понятой идеей общественного блага, а часто политическими преступниками оказываются люди, которые просто стремились преждевременно осуществить то, что впоследствии одобряется всеми. Извольте поддерживать порядок в такой стране, где каждый студент юридического факультета *должен* усвоивать либеральный взгляд на политические преступления, если не желает «срезаться» на экзамене. Уже отсюда видно,

Как многое у нас несовершенно.

Но это еще не все. Благодаря вредному влиянию Запада, сам царизм «претерпел существенное изменение» и «сделался в некотором роде европейским». По народным понятиям царь является «видимым представителем на земле всемогущества и всеведения Божьего», а «по официальным определениям», он не более, как «военный начальник армии и бюрократ, глава гражданских учреждений» (ст. Un apôtre de l'idée russe, стр. 16). Это очень грустно, так грустно, что некоторые «борцы великой русской идеи» бродят мысленно по свету, стараясь найти своему оскорбленному сердцу такой уголок, где русский дух был бы вполне застрахован от западной заразы. Такой уголок и найден ими, как бы вы думали где? Бьемся об заклад, что не угадаете! В *А-а-аффрике!* Вы думаете, конечно, что мы шутим, но вы ошибаетесь. По словам г. Доверина-Чернова, некоторые поклонники известного искателя приключений Ашинова смотрели на своего героя, как на великого человека, стремившегося «подарить своему отечеству обширную территорию, на почве которой национальные славянские тенденции могли бы развернуться, не боясь противодействия иностранных идей» (Ibid., стр. 20). Это очень смелая мысль, но ведь все гениальные мысли смелы. И нельзя не признать, что русский дух очень хорошо почувствовал бы себя в среде чернокожего населения Африки. Во-первых, это население, как неправославное, мы могли бы обратить в рабство без малейшего зазрения совести, а во-вторых, в учебных заведениях, основанных на африканской почве, можно было бы уже совершенно обходить западно-европейские теории, заимствуя уголовное и гражданское право у ашантиев или у дагомейцев. Жаль, что не удалось предприятие Ашинова! Как знать, быть может, в случае его удачи наша «национальная партия» во всем своем составе выселилась бы в Африку, а впоследствии, пожалуй, переманила бы к себе и самого царя со святейшим синодом. Вот бы хорошо зажили мы тогда в «несовершенном символе», т.-е. в нашем старом русском отечестве! Правда, нас брала бы иногда тоска по людям национальной партии, которая, выселяясь из России, наверное захватила бы с собой даже г. Тихомирова. Но для нашего утешения и развлечения у нас остался бы доблестный князь Мещерский. Его не взяла бы с собой национальная партия, потому что он не только не принадлежит к ней, но даже обвиняет ее в неблагонамеренности.

Надо заметить, однако, что сам г. Доверин-Чернов не высказывается определенно по вопросу о переселении русского духа в Африку. Он, кажется, предпочитает укреплять его дома. И вообще его симпатии тяготеют больше всего к Византии. Он уверяет французов, что «духовное происхождение русского народа коренится в византийстве, т.-е. в отвлеченной идее религии, проповедующей презрение к плоти и ее умерщвление, отказ от наслаждений в земной жизни и, наконец, торжество души не на земле, но в жизни будущей. «С тех самых пор, как пробуждается его ум и вплоть до самой смерти, русский крестьянин следует мысленно за прекрасным, светлым видением, которое чарует его детство и которого он надеется достичь, наконец, после долгой жизни, проведенной в борьбе с неблагодарной, непобедимой природой. Именно чувство бессилия, испытываемое им в этой борьбе, развивает в нем крайнее презрение к материи и преувеличенное сознание своего философского *я,* которое его утешает и возвышает»... («L'enseignement universitaire en Russie», стр. 246). Русский человек, в особенности великоросс, стоически переносит житейские невзгоды, твердо веруя, что будущая жизнь сторицею вознаградит его за них. А так как

эта вера поддерживается в нем именно православием, то пристрастие национальной партии к этому вероисповеданию становится совершенно понятным. Православие—очень удобная религия, как будто нарочно придуманная для русского народа, которому суждено было так много вынести от своих опекунов и властителей. Оно, конечно, можно было бы сказать, что католичество тоже всегда проповедывало умерщвление плоти и пренебрежение к мирским делам, и что в этом отношении нет разницы между западным и восточным христианством. Но нашего автора не собьешь такими возражениями. Католичество все же религия Запада, а Запад отличается духом беспокойного анализа и вредного индивидуализма. Эта двойная язва заразила и католичество. Иное дело Восток. Жители Востока не имеют склонности к «сухим и бесплодным формулам анализа, этого эфемерного и лживого орудия человеческого ума». Они безусловно (sans reserve) подчиняются «великому и возвышенному синтезу, предмет которого—природа, а цель—Бог» (стр. 214). Вследствие этой склонности к синтезу, у восточных народов нет беспокойной и надоедливой суетливости людей запада. Даже турки, эти басурмане и злейшие враги христианства, отличаются весьма похвальною солидностью мыслей и поступков. «Бак аллум!» (Посмотрим!)—флегматически отвечают они тем западным дипломатам, которые начинают приставать к ним с реформами (стр. 215). Если таковы турки, то каковы же восточные христиане! Они, в своем величавом синтетическом спокойствии, должны быть прирожденными «охранителями». Ясно, стало быть, что только у них могла сохраниться христианская религия во всей своей чистоте и непорочности.

Мы не привели и десятой доли тех диковин, которые содержатся в книге г. Доверина-Чернова. Но для нас достаточно и приведенного, тем более, что читатель, наверное, недоумевает, спрашивая себя, зачем понадобилось нам излагать все избитые, истасканные теории, представляющие собою самый низкопробный сорт славянофильства. В свое оправдание мы заметим, что не все старо в книге нашего автора. Есть в ней и новые идеи. Вот, например, беспощадно обирая и искажая славянофилов, г. Доверин-Чернов вовсе не разделяет славянофильского учения о необходимости об'единения славян под сенью крыл русского орла, как выражался когда-то И. С. Аксаков. «Русская идея не имеет ничего общего с панславизмом,—заявляет г. Доверин.—Это вполне национальная идея, цель которой вполне ясна, реальна и определенна. *Россия для русских*—вот ее символ... Горячие пожелания национальной партии сводятся к историческим судьбам России, к разработке ее огромных богатств, к развитию ее промышленности и техники. Очень возможно, что, когда Россия дойдет до апогея своей блестящей карьеры, около нее об'единятся рассеянные группы великой славянской семьи; но истинно-русское чувство ровно ничего не сделает для того, чтобы ускорить переход этой возможности в действительность» («L'Idée russe et le panslavisme», стр. 144). Из этого не следует, однако, чтобы «истинно-русское чувство» не одобряло завоевательной политики. По мнению г. Доверина, национальная партия должна всеми силами стремиться к «расширению русской гегемонии на Балтийском море и к обладанию ключем Черного моря, т.-е. Константинополем» («Avant-propos», стр. V). Наш автор прекрасно знает, что этих целей не достигнешь мирным путем. Потому-то он и стоит за союз с Францией против Германии, в которой видит главное препятствие к осуществлению русских национальных задач. Но указывая эти задачи, он не считает нужным приправлять их каким-нибудь чувствительным соусом. Возьмем Константинополь, потому что он нам нужен; расширим нашу гегемонию на Балтийском море, потому что нам нужно и выгодно расширить ее,—вот все, что говорит г. Доверин в защиту своих завоевательных планов. Та самая политика, на которую славянофилы смотрели сквозь сантиментальные очки всеславянского освобождения, представляется г. Доверину простым делом экономического и политического расчета. Это очень характерно для времени, переживаемого теперь Россией, времени совершенно беспощадного по отношению к политическим иллюзиям всякого рода и вида.

Просим заметить, что г. Доверин требует завоевания Константинополя не по одним только *политическим,* но также—и даже более всего—по *экономическим* соображениям. Этот город нужен нам потому, что он служит незаменимым складочным местом для торговли с передней Азией. Заботливое отношение к интересам «отечественной» промышленности составляет второе существенное отличие взглядов г. Доверина-Чернова от воззрения славянофилов сороковых годов. Те ограничивались обыкновенно рассуждениями о русском духе; г. Доверин дополняет свои рассуждения об этом отвлеченном предмете блестящими планами о приобретении новых обширных рынков для православных и неправославных фабрикантов и заводчиков. И как далеко заходит в этих планах почтенный представитель современного русского духа! Он уже провидит своим умственным оком то счастливое время, когда Россия отобьет у Англии азиатские рынки и сделается главным путем для торговли между Востоком и Западом. И это время не так далеко от нас, как может показаться с первого взгляда. «В тот день, когда Россия доведет до сердца Китая строющуюся ныне железную до-

рогу, погибнут богатые мореходные и перевозочные компании, суда которых бороздят теперь восточные моря... Англия потеряет свой морской скипетр» (стр. 209). Мы не знаем, насколько заботливость г. Доверина о торгово-промышленном развитии России соответствует тому презрению к плоти, которое характеризует, по его же собственным словам, истинно-русского человека. Но если кому-нибудь вздумалось уличить его в противоречии, то мы советуем ему привести в свою защиту следующий, как нам кажется, совершенно неотразимый довод: обогащаться и служить золотому тельцу будет лишь незначительная горсть предпринимателей; большинство же народа, работая у нее по найму, в качестве производителей, будет иметь полную возможность предаваться умерщвлению своей плоти, довольствуясь низкой платой и удлиняя свой рабочий день до крайней степени. Надо надеяться, что, при своем глубоком презрении к материи, русский работник не увлечется лжеучениями западного социализма и, как истинный «азиат», на все воззвания демагогов будет отвечать флегматическим «Бак аллум!». Таким образом Россия обеспечит себе материальное господство на иностранных рынках, а своим трудолюбивым и склонным к «синтезу» работникам—душевное спасение за гробом.

Итак, мы видим, что не все старо в «русском духе» нашего времени. Правда, он во многих отношениях похож на «дух» эпохи Незабвенного. Так же, как и дух этой последней эпохи, современный нам русский дух выражается в знаменитой формуле: *самодержавие, православие, народность.* Но в эту старую формулу он вносит в значительной степени новое содержание. Вопреки своей реакционной природе, он стремится к промышленному прогрессу, к приобретению новых рынков для русских фабричных изделий. Такова уж судьба русских реакционеров: самою силою вещей они вынуждаются работать на пользу того буржуазного порядка, который в дальнейшем своем развитии лишит всякой реальной опоры самодержавие и православие, придав русской народности совершенно новый характер. Реакционеры стремятся превратить Россию в совершенно *азиатскую* страну, но на деле они сами невольно способствуют ее *европеизации.* И хотя, поступая так, они роют свою собственную могилу,—им невозможно поступать иначе. Они не могут не подчиняться железным законам экономической необходимости. Содействуя экономическому развитию России, они на некоторое время возбуждают сочувствие к себе той части населения, которой выгодно это развитие. Если наша торгово-промышленная буржуазия до сих пор еще не стала в оппозиционное отношение к правительству, то причина этого явления кроется именно в его заботливом

отношении к ее нуждам. Между тем, как наши либералы предаются отвлеченным рассуждениям о преимуществах «правового порядка» (вернее было бы сказать—предавались, так как теперь наши либералы, превратившись в *консерваторов,* уже не дерзают распространяться о правовом государстве), царизм привлекает к себе буржуазию всем направлением своей экономической политики. Конечно, не будучи у власти, наши либералы (читай консерваторы) не могли бы, если бы даже и захотели, подкупить буржуазию какими бы то ни было материальными подачками. Но не в подачках и дело. Самодержавие, одной рукой поддерживающее и охраняющее интересы нашей промышленности, другой рукой и в то же самое время не перестает вредить ее интересам. Русский капитализм уже дошел до той стадии развития, на которой столкновения его с нашей современной политической системой по необходимости будут становиться все более и более серьезными. Опираясь на это обстоятельство, наша оппозиционная печать,—если бы только у нас была печать, достойная этого названия,—могла бы теперь же начать целый поход против самодержавия. Ни в какие цензурные сети нельзя уловить газетных сообщений о реальных нуждах промышленности, о неумелом отношении к этим нуждам нашей бюрократии, об ее неспособности знать их так хорошо, как знает их само население, и т. д. и т. д. Такими сообщениями можно было бы в полном смысле слова наводнить оппозиционные газеты, а они в огромной степени способствовали бы политическому развитию русских «обывателей», возбуждая в них недовольство существующим порядком. Ставши на эту реальную почву, критикуя полицейское государство с точки зрения тех самых экономических нужд, которые оно старается удовлетворить, наша оппозиция впервые стала бы серьезной общественной силой. До тех же пор, пока она будет довольствоваться тем абстрактным либерализмом, который никак не умеет поставить свою программу в связь с важнейшими экономическими интересами страны (по крайней мере в такую связь, которая была бы очевидной не только для теоретиков, но и для людей практического дела), она попрежнему не увидит в своих рядах никого, кроме «интеллигенции». И попрежнему реакционеры будут цинично смеяться над ее полнейшим бессилием.

* * *

«*LE PEUPLE RUSSE ET SON GOUVERNEMENT*» *par A. Herzer, professeur de physiologie à l'academie de Lausanne.* Paris. Librairie de la Revue socialiste, 1890.

Г. А. Герцен много писал на разных языках по своему специальному предмету—физиологии. Но по вопросам русской общественной

жизни он, насколько мы знаем, не высказывался до весны прошлого года, когда он выступил в Лозанне и в Женеве с публичными чтениями на французском языке о России. Лекции его были напечатаны в парижской «Revue Socialiste», а затем вышли отдельной брошюрой под вышеписанным выше заглавием. Конечно, нашим читателям будет интересно ознакомиться с этим сочинением сына Александра Ивановича Герцена.

Брошюра А. А. Герцена начинается замечанием о том, что Европа находится теперь накануне чрезвычайно важного движения, «почин которого принадлежит Швейцарии, этому маленькому оазису здравого смысла и доброго сердца». Говоря это, автор имеет в виду известную попытку Швейцарии созвать международную конференцию для обсуждения задач и пределов фабричного законодательства (впоследствии конференция эта имела место в Берлине). Лозанский профессор полагает, что в виду такого положения дел на Западе каждый, для кого не безразличны судьбы России, должен был бы, по мере своих сил, постараться вызвать в этой стране «великодушный порыв, подобный тому, который двадцать восемь лет тому назад привел к освобождению крепостных крестьян». Положим, в России нет такого многочисленного рабочего класса, как на Западе, но зато русские рабочие «гораздо более несчастны». Следует описание бедственного положения русских рабочих. Они принуждены довольствоваться самой ничтожной платой, пища их до крайности плоха, жилища нездоровы; за больными нет никакого ухода; заводы и фабрики не удовлетворяют самым элементарным требованиям гигиены; вследствие отсутствия гласности и политической свободы, рабочие не имеют никаких законных средств для защиты своих интересов, и хотя в последнее время правительство приняло некоторые меры для защиты этих интересов, но нашему фабричному законодательству, по всей вероятности, суждено остаться мертвой буквой: при слабых средствах надзора за фабриками, правительство не имеет физической возможности настоять на исполнении изданных им законов. А часто оно и само не хочет исполнять их, часто оно само преследует рабочих за то, что те требуют от предпринимателей исполнения правительственных распоряжений. «Правительство, заставляющее народ подчиняться вредному для него нарушению законов,—неправда ли, это превосходит всякую меру?»—восклицает в справедливом негодовании г. А. Герцен. Действия русского правительства издавна превосходят всякую меру, и г. профессор хорошо сделал, разоблачив перед французской читающей публикой хоть некоторую часть гнусностей царизма. То, что говорится в брошюре о положении русских рабочих, не ново для русских читателей, но почти совершенно неизвестно иностранным. Французской публике полезно будет прочесть относящуюся к этому предмету часть брошюры. Но зато остальная часть ее способна, по нашему мнению, возбудить в читателе не столько *интерес*, сколько *недоумение*. Эта часть посвящена изложению общих взглядов автора на социально-политическое положение России, взглядов, которые не выдерживают даже самой снисходительной критики. Начать с того, что г. А. Герцен нередко употребляет в этой части брошюры экономические термины и ссылается на экономические факты, очень плохо понятые им самим. Так, например, бедственное положение русских рабочих он называет законным плодом «свободной конкуренции» и железного закона «заработной платы» (вносные знаки при словах: *свободной конкуренции* и *заработной платы*—поставлены для ехидства самим г. А. Герценом). Но свободная конкуренция предполагает *свободного* работника, ничем, кроме бедности, не стесненного в распоряжении своей рабочей силой. В таком ли положении находится русский рабочий, который, по словам самого г. Герцена, должен претерпеть целый ряд невероятных мытарств для того, чтобы получить паспорт и с ним право покинуть свою деревню? Крестьянина, опять-таки по словам самого г. Герцена, гонит из деревни не только недостаток земли, но также и необходимость заработать деньги для уплаты страшно тяжелых податей (impôts écrasants). Наши продавцы рабочей силы испытывают на себе гнет «двойной эксплоатации фабрикантов и их приказчиков, с одной стороны, и государственных чиновников—с другой» (стр. 8—10 брошюры г. Герцена). Какая же это «свободная конкуренция»? Ясно, что плата русских рабочих вовсе не есть законное детище свободной конкуренции и «железного закона» (кстати, пора бы перестать ссылаться на этот закон: в том виде, как его формулировал Лассаль, он вовсе не признается современной наукой. Современная наука показала, что действительность хуже для рабочих, чем это предполагается железным законом Лассаля). Экономическое положение русского рабочего является именно *незаконным* «плодом» сожительства на русской почве «конкуренции», т.-е. капитализма, с крепостной зависимостью трудящегося по отношению к государству. Наш работник страдает и от конкуренции и от недостаточного пока развития конкуренции, благодаря которому только и держится русское полицейское государство. Нашему рабочему лучше будет, когда, с падением полицейского государства, ему придется считаться с одними только законами свободной конкуренции. Тогда несомненно возрастет его сила сопротивления. Может быть это и хотел сказать г. профессор своими ироническими вносными знаками? Нет, он знал, что плохо положение

русского рабочего; слышал он также, что мало привлекательного в «свободной конкуренции» и в «железном законе», и, ни мало сумняхуся, решил, что бедственное положение русского народа является законным «плодом» свободной конкуренции и железного закона. Спора нет, говоря это, он руководствовался очень хорошими побуждениями: он хотел сказать лишнее и, по возможности, крепкое слово против эксплоататоров народа. Но будучи очень слаб в политической экономии, он не знал хорошенько употребляемых им терминов и потому сделал промах. Это можно было бы признать незаслуживающею внимания мелочью, если бы ошибка его не стояла в теснейшей связи с общей путаницей всех его социально-политических воззрений.

Путаница эта по-истине велика и обильна. Г. профессор—горячий сторонник русского общинного землевладения. Это было бы, конечно, еще ничего; в этом случае ошибка его не простиралась бы дальше ошибки всей русской «интеллигенции» (хотя и это уже не мало). Но посмотрите, как защищает общину г. профессор. По его словам, на общину нападают «доктринеры политической экономии и официального права, завещанного нам римским и феодальным миром». Что же это такое? Выходит, что доктринеры политической экономии «ослеплены» формулами римского и *феодального права*. По отношению к римскому праву эти слова имеют еще некоторый смысл, хотя дух римского права вовсе уже не так хорошо соответствует условиям буржуазного хозяйства, как это кажется иным «доктринерам». Римские законы иногда запрещали отдавать деньги в рост. Много ли найдется буржуазных «доктринеров», которые одобрят такое запрещение? На формальной основе римского права выросло государственное хозяйство римской империи. Многие ли буржуазные экономисты «ослеплены» прелестями этого хозяйства? Но, повторяем, о римском праве мы не видим надобности спорить с г. профессором физиологии. А вот насчет феодального права мы хотели бы задать ему один вопрос. Неужели он серьезно думает, что теоретики буржуазии были когда-нибудь «ослеплены» правом феодального мира? Недавно защитником общины выступил г. Победоносцев. Как думает г. Герцен, потому ли наш Торквемада защищает общину, что ему противно право «феодального мира»? Пусть г. профессор физиологии прочтет статью г. обер-прокурора синода («Русский Вестник», 1889, сентябрь). Он увидит, как относится реакционный защитник общины к феодальному праву. А, впрочем, что толковать об этом: сам г. Герцен, наверное, не придает серьезного значения своим словам о феодальном ослеплении «доктринеров политической экономии». Ему хотелось уязвить противников общины, а как

можно уязвить их, он хорошенько не знал; но он слышал, что феодальное право было не хорошо, вот он и приписал слепое пристрастие к нему буржуазным доктринерам. Конечно, г. Герцен плохой знаток экономии и права, но зато он хороший физиолог.

Взгляды г. Герцена на русскую общественную жизнь представляют собою список с учения народников. Но так как г. профессору физиологии очевидно некогда было усвоить хорошенько даже это учение, то он и при повторении народнических теорий наделал много печальных промахов. Он уверяет, что наш народ насквозь пропитан «духом ассоциации, кооперации и солидарности» (стр. 23). Это не совсем верно, но это с большим успехом твердят народники, и им верят даже за границей. Мог бы и г. Герцен с успехом распространиться на эту тему, но ему и здесь не повезло. Для доказательства своего положения он ссылается прежде всего на железнодорожные артели, а также на артели продавцов газет, трактирных половых и даже... банщиков. Какое же значение имеют эти артели в общем ходе русской экономической жизни? Возьмем хоть банщиков. Существование их очень удобно для *моющихся:* артель лучше любого хозяина следит за исправностью своих членов. Но для *моющих,* т.-е. для самих банщиков, артель имела бы решающее экономическое значение только в том случае, если бы бани составляли их собственность или хоть брались бы в аренду непосредственно ими самими. Но то ли мы видим в действительности? А железнодорожные артели, а артели продавцов газет,—какие это могучие проявления русского общинного духа! Подобные примеры не только не убедят никакого толкового читателя, но произведут на него впечатление, совершенно обратное тому, какое хочет произвести автор. А кому принадлежат у нас промышленные и торговые капиталы,—скажет такой читатель,—тоже рабочим артелям? Нет? Так плохо же дело русского общинного духа: не имея никакого применения в сколько-нибудь важных отраслях новейшей крупной промышленности, этот бедный дух вынужден ютиться в банях, на углах улиц и на железнодорожных под'ездах! Недалеко уйдет русский дух при таком положении дел!

К числу поучительных проявлений русского общинного духа г. Герценом относятся также и артельные «верещагинские» сыроварни. Мы советуем г. профессору прочитать относящуюся к этому вопросу статью г. Энгельгарта, напечатанную в «Отечественных Записках» 1872 года (в январьской или февральской книжке). Из нее он узнает, что самым заметным результатом распространения верещагинских сыроварень было *лишение крестьянских детей молочной пищи.* Молоко,

прежде потреблявшееся дома и преимущественно детьми, благодаря сыроварням превратилось в ценный товар, и детям пришлось с ним распроститься. В качестве физиолога г. Герцен прекрасно понимает, как должно было отразиться это обстоятельство на молодых детских организмах. А ведь пример Верещагина кажется ему достойным подражания.

Об общине мы не станем рассуждать с г. Герценом. Ему кажется, что дела общины обстоят совершенно благополучно, что она незыблемо покоится на своих вековечных основаниях. Он незнаком, повидимому, с новейшими исследованиями о русском крестьянском хозяйстве, донельзя ясно показавшими, что от старинных устоев крестьянского быта остались одни только крайне некрасивые развалины.

Г. Герцен не находит достаточно сильных слов для восхваления Александра II, отменившего крепостное право, эту «мелкую монету самодержавия». Но вместе с тем г. Герцену известно, какой дорогой ценой купили крестьяне свое так называемое освобождение. Правда; известно, повидимому, только отчасти. По его словам, крестьяне должны были заплатить за свои наделы «относительно очень высокий выкуп». В действительности этот скромный «*относительно* очень высокий выкуп» значительно превышал стоимость отводимых крестьянам земель. Г. Герцен утверждает, что налоги составляют у нас от 25 до 50 процентов доходности крестьянских земель. В действительности налоги очень часто *во много раз превышают доходность* наделов. Это известно всем и каждому. Но как бы то ни было, г. Герцен признает, что освобождение (или, как называл его в «Колоколе» Н. П. Огарев, *новое крепостное право)* значительно ухудшило экономический быт крестьянства. Посмотрите же теперь, какими невероятными прибавлениями искажается это бесспорное положение у г. Герцена. «До освобождения удельные крестьяне (paysans de la couronne), ныне государственные фермеры, жили на национальных землях, беззаботные, как божьи птички на деревьях» (sans souci d'aucune sorte, comme les oiseaux du bon Dieu sur les arbres du bois). Что сказать об этом? По словам автора, его отец, А. И. Герцен, не мог удержаться от слез, когда в Лондоне была получена телеграмма о крестьянском освобождении. Всякий скажет, что это были слезы радости. Но, когда мы прочли у г. Герцена-сына идиллическое описание райского блаженства удельных крестьян, у нас явилась такая мысль: может быть блестящий и дальновидный издатель «Колокола» оплакивал будущую судьбу «божьих птичек» крестьянского сословия, которым освобождение грозило утратой их райского блаженства. Согласитесь, что наша догадка по меньшей мере

столь же основательна, как и взгляд г. лозаннского профессора на дореформенный быт удельных крестьян.

Г. профессор уверяет, что «если в настоящее время русский народ обложен огромными налогами, то в значительной степени это происходит по причине выкупных платежей. Так что, когда через несколько лет (а через сколько именно лет, г. Герцен?) выкуп окончится, крестьяне сразу (du jour au lendemain) избавятся от тяжести этого рода ипотечного долга, и их экономическое положение станет лучше положения западных народов» (стр. 23). «О чем же и толковать,—скажет французский читатель,—чего же вы плачете о судьбе русского народа, когда он «через несколько лет», и притом «сразу», заживет лучше нашего? Нет, я вижу, что вы, казаки, слишком требовательны! Что вам ни дай, вам все мало!» Французский читатель будет совершенно прав со стороны логики, но не со стороны психологии. Дело в том, что г. профессор ухватился за толки о международной конференции по фабричному законодательству вовсе не за тем, чтобы настаивать на необходимости серьезных экономических реформ в России. Экономические рассуждения составляют у него лишь длинное и очень неудачное предисловие к изложению главного его требования, именно, *требования конституции*. Дайте только конституцию, а уж экономические реформы сделаются у нас почти сами собою, с неслыханною на западе легкостью; мы и землю обратим в национальную собственность, мы и промышленные товарищества заведем; и все это без шума, без той борьбы классов, которая так огорчает почтенных людей на Западе... Таков смысл брошюры г. Герцена. Спорить с ним по этому поводу совершенно излишне, да у нас нет и охоты спорить с ним. Мы сами очень несказанно рады были бы, если бы в России установился конституционный порядок. Мы думаем только, что о конституции можно было говорить и не придираясь к слухам о созыве международной конференции по фабричному законодательству. Но это мелочь. Интереснее знать, какой же именно конституции хочет г. Герцен. Ему кажется, что он демократ; по крайней мере он горячо хвалит те учреждения, которые он считает демократическими. К числу демократических учреждений,—и притом «наиболее демократических»: des plus franchement democratiques,—относит он наши земства... Пожалуйста, не думайте, что мы шутим, вот вам его собственные слова. Изложив порядок выборов в наши уездные и губернские земства, он говорит: «Итак, у нас уже есть целый представительный организм, основывающийся на самобытной экономико-социальной организации народа и исходящий из некоторого рода всеобщего избирательного права (?), смягченного (!!), с одной

стороны, *тройным* подбором (selection triple) крестьянских гласных и *двойным* подбором гласных всех прочих классов, а с другой—отдельным представительством *всех классов* *); это отдельное представительство обеспечивает в последнем счете результат, подобный тому, который с некоторого времени стараются получить посредством пропорционального представительства» (стр. 31). Вот оно как! До сих пор думали, что непрямые выборы представляют собой отрицание демократии, а теперь оказывается, что это та же демократия, только *смягченная* (mitigée) некоторыми урезками всеобщего избирательного права. До сих пор думали, что сословное **) представительство есть остаток феодальных учреждений, а теперь оказывается, что это в некотором роде идеал, к которому на Западе начинают будто бы стремиться «с некоторого времени». Оказывается, что мы опередили Запад не только общиной, но и представительными учреждениями. Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Можно ли говорить такие вещи! Ведь если бы не била в глаз «святая простота» г. Герцена, то пришлось бы заподозрить его в страшном, беспредельном лицемерии или, наконец, допустить, что он сам превратился в «доктринера официального права, завещанного нам феодальным миром». Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник!

По всему видно, что если бы ученого профессора физиологии попросили написать для России конституцию, то она не была бы «демократичнее» наших земств! Но Бог с ним, посмотрим, какими же путями думает он притти к своей «демократической» конституции. В этом отношении он держится того особого метода, который можно назвать методом заговаривания зубов царизму. Вот как употребляется этот метод г. Герценом. Чтобы внушить либеральные мысли Александру III, превозносится Александр II, этот «добрый, умный, склонный к великодушию», но, к сожалению, «слабый характером» император. Александр II наверное дал бы нам конституцию. Но ему дважды помешали в этом: в первый раз поляки своим восстанием 1863 года, а во второй раз «нигилисты» своим революционным движением вообще и действием 1-го марта в особенности. В виду этого неудивительно, что г. Герцен не долюбливает «нигилистов». Конечно, он не решается поставить их на одну доску с «обыкновенными» убийцами. Эти «экзальтированные головы», эти «фанатики» (стр. 36) были искренно «убеждены, что они

*) «Подбор» гласных означает у автора *непрямые* выборы, а «двойным» и «тройным» такой «подбор» является по отношению к губернским земствам. В тексте курсив Г. Герцена.

**) А не классовое, как называет его ученый профессор, который, очевидно, даже не подозревает, что *сословие* и *класс* далеко не одно и то же.

жертвуют собою для блага народа». Но так как деятельность их принесла народу, по мнению г. профессора, не пользу, а вред, то он и приравнивает их к слугам деспотизма. По его словам, Россию «раздирает» *двойной нигилизм:* внизу—нигилизм революционный, вверху—нигилизм *реакционный.* Первый действует посредством бомб и револьверов, второй посредством административных мер, произвольных арестов, негласных следствий и т. п... (стр. 36—37). Нечего сказать, истинно *либеральное* сравнение! Но ошибся бы тот, кто подумал бы, что г. Герцен не любит только террористов. Нет, сердце либерального профессора не лежит ко всем нигилистам вообще, без различия фракций и направлений. Вот, например, было у нас «множество молодых людей, и в особенности молодых девушек из зажиточных семейств, которые отдались душой и телом, с удивительным самоотвержением, делу образования народа». Все шло хорошо. Но «к несчастью, между ними оказалось несколько личностей, не понявших своей истинной задачи и злоупотреблявших народными школами для целей анархической пропаганды (которой, впрочем, совершенно не поддаются крестьяне). И этого было достаточно, чтобы правительство закрыло все наши школы» (стр. 27). Как видите, все вообще революционеры приносят лишь одно несчастие нашей бедной родине, которой давно бы уже пора разделаться с «двойным нигилизмом», как он того заслуживает, и отдаться «душой и телом» демократам на манер лозаннского профессора. То-то бы зажила тогда Россия!

Между нигилистами нижнего этажа г. Герцен жалует только издателей и сотрудников «Свободной России» (ныне, как известно, уже прекратившейся), журнала, который отличался «замечательной серьезностью и умеренностью» (sic!). Кружок «Свободной России» состоит, по словам профессора, из самых выдающихся людей русской эмиграции. И г. Герцен «считает себя в праве утверждать, что никто из них не думает о низвержении *монархии;* они хотят лишь уничтожить *самодержавие,* непогрешимость, безответственность и произвол правительства» (стр. 39—40). За эту похвалу едва ли будут благодарны г. Герцену издатели «Свободной России». Эти «убежденные социалисты» никогда так сильно не оттеняли своей *умеренности,* вероятно, опасаясь, что она оттолкнет от них *революционную* молодежь. И если они, разговорясь по душе с г. профессором, изложили перед ним свои истинные взгляды, то не следовало кричать об этом на всю Европу. Зачем же выдавать чужие секреты?

Что касается Александра III, то г. Герцен, по либеральному обыкновению, пугает его «историей» (ничем другим г.г. либералы пу-

гнуть его не могут: революционное движение столь же страшно для них, как и для царя). «Правда, он (царь) безвозвратно упустил тот момент, когда он мог закончить дело своего отца с наибольшей торжественностью; но можно ли допустить, что сын захочет оставить в истории воспоминание о царствовании, посвященном единственно печальной реакции; захочет дать ей право связать его имя с именами убийц его отца? Что может, в самом деле, сказать история, если не то, что он сделался их сообщником, разрушая дело того, кого они убили?» (стр. 41). Кот Васька плут, кот Васька вор! Это очень хорошо и весьма убедительно. Но зато мы прямо скажем г. профессору, что его сопоставление царя с «убийцами» просто позорно. История поставит имя Александра III рядом с именами Желябова, Гриневецкого и Перовской! Неужели может быть такая глупая история?! И как высоко должно быть развито гражданское чувство в человеке, вздумавшем *пугать* царя *подобным* сопоставлением! Есть люди, которые, по известному выражению, не ведают, что творят. Наш ученый профессор не ведает, что говорит.

«Нет,—продолжает г. Герцен,—никогда не поздно сделать хорошее дело; поэтому «несмотря ни на что, многие русские думают, что придет день, когда Александр III возьмется за продолжение и окончание дела своего отца, и они с нетерпением ждут этого дня, чтобы перенести на него (т.-е. на Александра III) все то уважение и всю ту любовь, которые они имеют к памяти Александра II» (стр. 42).

Широковещательная и льстивая болтовня—вот единственное оружие наших либералов в борьбе за политическую свободу. Не далеко уедут они на этом коньке. И кто же пишет эти льстивые строки! Сын Александра Ивановича Герцена, того Герцена, который еще в 1864 г., во время ссылки Чернышевского, называл правительство царя-«освободителя» *шайкой разбойников и негодяев* и который так энергично клеймил *«жалких людей, людей-слизняков»,* говоривших, что не нужно бранить это гнусное правительство. Нет, гражданские чувства, очевидно, не передаются по наследству!

Хорошо, очень хорошо, бесподобно хорошо писал Герцен-отец. Плохо, очень плохо, бесподобно плохо пишет Герцен-сын. Пусть лучше он занимается физиологией и не пускается в публицистику. Не ходи, Грыцю, тай на вечорницы! Этого требует благоразумие.

Еще два слова. Почему же статья г. Герцена-сына была напечатана в «Revue Socialiste»,—спросит иной читатель? Потому что этот журнал издается Малоном, а Малон—самая путанная голова в мире.

«ПОЕЗИИ Т. ГР. ШЕВЧЕНКА ЗАБОРОНЕНЫ В РОССИИ». Genève. H. Georg, libraire Prag Eduard Voleska 1890.

О поэтическом таланте Шевченка может быть только одно мнение: покойный Тарас Григорьевич принадлежит к числу самых крупных народных поэтов, каких только знает всемирная история литературы. Вот почему всякий, не совсем беззаботный на счет литературы, русский поблагодарит лиц, издавших в Женеве запрещенные в России, или дозволенные там с пропусками, стихотворения Шевченка. Книжечка издана очень чисто и изящно, но цена ее (3 фр.) несколько высока.

Библиографические заметки из „Социал-Демократа“. Книга четвертая. Женева, 1892.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», № 1. СПБ. Май 1890 г.

Перед нами 1-ый № гектографированного «Студенческого Вестника», вышедшего весною 1890 г. в Петербурге. Он посвящен частью описанию студенческих волнений того года, частью общим рассуждениям по поводу старого, но вечно нового в России вопроса о том, насколько могут быть полезны подобные движения учащейся молодежи. Излагать подробности теперь уже далеко не новых и, вероятно, всем известных событий, мы считаем излишним. Но так как «беспорядки» в высших учебных заведениях повторяются у нас почти с астрономическою правильностью, то мы полагаем, что и теперь не поздно рассмотреть здесь общий взгляд «Вестника» на их значение.

Вот как высказывается на этот счет автор статьи *«По поводу студенческих волнений»*.

«Всякой легальной формы для выражения своих нужд студенты лишены. Если это так, если остается прибегать к средствам, законом для нас недозволенным, то что же можно возразить против формы отдать себя под арест (так, кажется нам, правильнее назвать обычный способ студентов выражать свое негодование)? Что можно предложить взамен отвергаемого средства? Думается нам, что ничего не предложат, как не предлагали до сего дня. Кроме такого отрицательного довода, мы имеем некоторые положительные указания, заставляющие твердо держаться раз·намеченного пути... Беспорядки тем удобны, что они, с одной стороны, показывают настойчивость в требованиях, доходящую до готовности пожертвовать своим будущим, а с другой, постоянно лишая общество известного количества членов и тем нанося ущерб, заставляют его внимательнее отнестись к бесправному положению молодой части русской интеллигенции...

«Приносят ли студенческие волнения какую-нибудь пользу? Одни говорят, что да, другие, что волнения не только бесполезны, но даже

вредны, бесплодно губя множество сил... Нам кажется, что для утверждения бесполезности студенческих волнений не найдется просто необходимых фактов. Будет ли тот, кто поддерживает это положение, ссылаться на то, что нет в нашей истории примера, чтобы правительство тотчас вслед за беспорядками пошло на уступки студентам? На это мы ответим, что если правительство и не обращает внимания на беспорядки, не делает благодаря им уступок, то это не доказывает, что беспорядки не являются все-таки некоторым задерживающим элементом, не будь которого реакция пошла бы еще дальше... Мы не сумеем подтвердить это предположение фактами, но это и не наше дело: на тех, кто отказывает беспорядкам во всякой практической пользе, лежит обязанность опровергнуть такое их задерживающее реакцию значение... Мы думаем, что на все общество, на вас самих, милостивые государи, наши беспорядки оказывают некоторое полезное действие: они напоминают вам о ваших обязанностях по отношению к молодому поколению... ужели же и гибель лучших детей ваших не выведет вас из апатичного состояния? Мы не хотим этому верить и думаем, что уже близко то время, когда общество обратится с вопросом к своему правительству: «за что гибнут наши дети?» и, услышав, что те гибнут только за то, что хотят беспрепятственно учиться, оно проклянет свое бездействие... и само пойдет навстречу молодежи... Тогда-то будет осуществлено все то, чего мы теперь тщетно добиваемся; мы верим, что это время наступит, и потому считаем наши жертвы ничтожными в сравнении с теми результатами, которых мы от них ждем».

Все это наводит на мысль о том, что появлению «Студенческого Вестника» предшествовали довольно горячие споры между студентами и людьми «общества». «Охота вам даром тратить свои молодые силы!»—говорили, вероятно, эти благоразумные люди.—«Сидите лучше смирно; нельзя прать против рожна».—«Чаша терпения нашего переполнена»,—отвечала благородная молодежь.—«Мы будем протестовать во что бы то ни стало, а там посмотрим, что из этого выйдет. Мы думаем, что наше движение не только не пройдет без всякой пользы, но даже и вас увлечет, наконец, с собою». Именно это говорит автор цитированной статьи. До какой степени могли подействовать на «общество» его доводы,—мы, разумеется, с точностью не знаем. У нас есть лишь косвенные указания на этот счет, указания, которые заслуживают, однако, полного внимания читателя.

Несомненно принадлежащий к «обществу»—и даже к самой образованной его части—профессор Сергеевич, по своей обязанности ректора ведший переговоры с волновавшимися студентами петербургского

университета, заметил им, что напрасно они рассчитывают на сочувствие со стороны общества: «Во-первых, сомнительно, что оно проявится каким-нибудь конкретным образом,—сказал он,—а во-вторых, разве им (студентам) не известно, как ничтожна сила общества перед правительством? Таким образом нам остается ждать, пока правительство само признает нужным произвести соответствующие нашим желаниям реформы» (Ст. В., стр. 32—33).

В этих словах г. Сергеевича нет ни капли гражданского мужества. Они представляют собою лишь видоизменение старой-старой песни, гласящей: «сила ломит и соломушку, поклонись пониже ей», и проч. И тем не менее слова эти очень замечательны. Они об'ясняют происхождение той трусости и вялости нашего «общества», которая давно уже приводит в отчаяние революционеров. Общество трусливо потому, что силы его слишком ничтожны перед силами правительства. На силы же учащейся молодежи и революционной «интеллигенции» оно тем менее может возлагать какие-нибудь политические надежды, что и молодежь и «интеллигенция», не будучи в состоянии справиться с правительством, беспрестанно просят у него помощи. Несомненно, бывают обстоятельства, когда даже безнадежная борьба нравственно обязательна для всякого честного человека. Несомненно также, что в современной России обстоятельства сложились именно таким образом. Но все, что ни сказали бы мы «обществу» по этому поводу, останется гласом вопиющего в пустыне. Общество будет трусливо, оно не выйдет из своего политического бездействия до тех пор, пока противники существующего порядка вещей не выставят силы, способной померяться с силою правительства. Что касается гибели молодых сил, неизбежно сопровождающей студенческие волнения, то она скорее еще запугает общество, чем подвинет его на гражданские подвиги.

Нам вспоминается при этом небольшая статейка Г. И. Успенского, в которой он описывает впечатление, произведенное на него похоронами И. С. Тургенева. На эти похороны собралась вся интеллигенция Петербурга, настроение которой как нельзя более соответствовало печальной торжественности минуты. Все шло хорошо и прилично. Но вот, не помним уже где, кажется на Загородном проспекте, лица, участвовавшие в похоронной процессии, увидели очень внушительный отряд черноморских казаков. Неожиданное зрелище испортило настроение Г. Успенского. У него явился неотвязчивый вопрос: зачем здесь *закубанские молодчинищи?* Какое отношение имеют они к похоронам знаменитого писателя?

Вы понимаете, читатель, зачем явились «молодчинищи». Их прислали *«на всякий случай»*. Везде и всегда, стараясь подавить даже возможность протеста, русское правительство апеллирует к «молодчинищам», т.-е. к полиции и к войску. Бесполезно было бы спорить с молодчинищами, бесполезно было бы доказывать им правоту своего дела. Молодчинищи не рассуждают, они повинуются приказаниям начальства и без всяких околичностей хлещут протестантов нагайками, давят лошадьми, бьют прикладами, а подчас и пулями. Как образумить молодчинищ? Надо, чтобы протестанты могли противопоставить им не одну только бесплотную «силу идеи», надо, чтобы протестанты, аттакованные молодчинищами, могли взять верх над ними; другими словами, *силе правительства* надо противопоставить *силу народа*. Сделать это — значит положить конец существующему теперь у нас порядку вещей.

С величайшим удовольствием видим мы, что учащаяся молодежь не чужда правильного понимания этой важной политической задачи. В «Студенческом Вестнике» есть статья, описывающая московские студенческие «беспорядки» и заимствованная из 2-го № московского журнала студентов. Статья эта оканчивается следующими словами: «Нам нужно, во-первых, создать дружную, сплоченную, сознающую свою силу армию протеста; во-вторых, нужно подготовлять в сознании масс сочувствие и поддержку армии протеста». Против этого трудно спорить даже и г. Сергеевичу. Одно только замечание сделали бы мы автору статьи: дело освобождения России пойдет еще лучше, когда «массы» не только будут *поддерживать* «армию протеста», но *и сами войдут в эту армию,* как вошли они в нее, например, во время великой французской революции.

Но как влиять на «сознание масс»? Известно, что к академической жизни массы не имеют никакого прямого отношения. Поднять их на борьбу за «академические свободы»—дело совершенно немыслимое. Необходимо подойти к делу иначе; необходимо, чтобы протестанты умели связать свои требования с интересами масс. А для этого требуется несколько более вдумчивое отношение к названным интересам, чем то, которое обнаруживает редакция Петербургского *«Студенческого Вестника»*.

Варшавская рабочая социалистическая организация обратилась к волновавшимся русским студентам с таким воззванием:

«Братья, когда вы требуете признания и расширения прав ваших, мы, рабочие, сердцем находимся с вами. Будем, однако, помнить, что ваше дело составляет только едва частицу общечеловеческого рабо-

чего дела. Путем волнений и студенческих манифестаций вы можете добиться немногого или вовсе ничего, ибо правительство не остановится ни перед каким ударом, в лице вашем желая нанести удар более страшному врагу. Нынешнее правительство никогда не допустит свободы товарищеских обществ, ни чистоты науки, так как оно боится свободной мысли. Нужно бороться иначе. Соединяйтесь с нами, братья, потому что наш рабочий идеал есть идеал всего человечества: мы удовлетворим и ваши требования. Мы вам воздвигаем университеты. Наш тяжкий труд дает вам возможность образования; поэтому, покуда ваши сердца не застыли в эгоизме на теплых местечках, пока вы молоды, мы призываем вас: соединяйтесь с нами! Да здравствует социальная революция, она разобьет все оковы и уничтожит всякий гнет!

Варшава, 19 апреля 90 года.

Что же ответила редакция «Вестника» на эти разумные слова?

Вот что: «В то время, как русское интеллигентное общество, сдавленное, как железными клещами, гнетом административного произвола, хранит глубокое молчание и ни единым словом сочувствия не отзывается на беды учащейся молодежи, польские рабочие смелым, энергичным голосом заявляют свою солидарность с нами... Да, нас об'единяет с ними тот гнет, который проистекает из одного общего источника. Сознание своей солидарности с бездольными и угнетенными увеличивает во сто крат наше страстное желание борьбы, борьбы с административным произволом... Мы знаем, что, отстаивая свободу науки, свободу учащейся личности, мы служим общему делу. Тем энергичнее мы будем добиваться свободной науки, в которой кроется отрицание произвола, тем горячее мы будем добиваться об'единения молодежи, уверенные в том, что, став полноправными гражданами, мы сумеем проявить настойчивую деятельность, ибо в молодые годы мы воспитаем в себе критическое отношение к действительности, выработаем в себе общественные идеалы и положим их в основу своей деятельности. Нам нечего говорить о присоединении теперь к общественному делу, ибо мы давно уже присоединились к нему, борясь против общего врага».

Это совсем нехороший, совсем неразумный ответ. Читая его, можно подумать, что сочувствие польских рабочих поставило петербургских студентов в затруднительное положение, благодаря которому они пустились в рассуждения, для них самих неясные и непонятные. Рабочие, очевидно, не придавали преувеличенного значения студенческим требованиям: «будем, однако, помнить, что ваше дело составляет только едва частицу общечеловеческого рабочего дела и т. д.». Это

та же мысль, которую Некрасов выразил вопросом, обращенным к сосланному студенту:

Какое ж адское коварство
Ты замышлял осуществить,
Разрушить думал государство
Или инспектора побить?

Студенты отвечают на эту мысль несколькими запутанными словами о своих будущих (очевидно, пока еще неизвестно каких) общественных идеалах, а потом, сознавая неудовлетворительность своего ответа, решительно заявляют, что, вступив в борьбу с «инспектором», они тем самым уже присоединились к общечеловеческому делу. Но рабочие хотели именно оттенить недостаточность борьбы с «инспектором». Ответ редакции «Студенческого Вестника» несомненно должен был произвести на них тяжелое и невыгодное для студентов впечатление непонятного и ничем не оправдываемого самодовольства. Если такие впечатления станут повторяться, то студентам трудно будет обеспечить себе сочувствие и поддержку рабочего класса. Правда, в нашем случае речь идет об ответе русских студентов *польским* рабочим, но ведь это не изменяет дела. Во-первых, национальная точка зрения не имеет здесь места, а во-вторых,—ведь это простая случайность, что об *общечеловеческом* деле напомнили студентам польские, а не русские рабочие. Теперь и между русскими рабочими есть уже не мало людей, хорошо понимающих сущность этого дела. Студентам необходимо сблизиться с ними, а для этого им необходимо получше ознакомиться с тем, что называется *рабочим вопросом*. Этот вопрос вообще гораздо шире вопроса об университетских порядках. А в современной России дело сложилось к тому же таким образом, что академическая, как и всякая другая свобода, может быть завоевана лишь соединенными усилиями рабочих и радикальной интеллигенции. «Мы привыкли смотреть на рабочих, как на детей,—говорил когда-то Робертус,—между тем как они переросли нас на целую голову». Русской интеллигенции очень полезно было бы почаще припоминать эти слова. Рабочий класс выдвигается у нас теперь историей в качестве важнейшей прогрессивной силы. Пора нам перестать смотреть на него сверху вниз, пора понять свойственную ему точку зрения и, исходя из нее, подвергнуть строгой критике все наши «интеллигентные» идеалы и стремления. Иначе никогда не сможем мы справиться с *закубанскими молодчинищами*.

Французское правосудие и русское шпионство *).

Размышления о том, как трудно в настоящее время различать эти два понятия.

Между тем, как попавшиеся в руки русского правительства революционеры испытывают притеснения до такой степени грубые и жестокие, что известиям о них отказывается иногда верить читающая публика Западной Европы **), усердие царских опричников ни на минуту не ослабевает в деле выискивания новых жертв. Необ'ятное пространство России становится слишком узкой ареной для их подвигов. Они распространяют свою деятельность на другие страны. В прошлом году, по настояниям русской дипломатии, начались гонения на «нигилистов» в Швейцарии. Нынешний год ознаменовался преследованиями русских изгнанников во Франции. О суде над Лаврениусом, Рейнштейном и их товарищами в наших «легальных» газетах были напечатаны довольно подробные известия, часто сопровождающиеся комментариями (см., напр., «Новости»), вполне достойными современной русской печати. Не считая нужным рассказывать здесь всем известный ход этого дела, мы позволим себе, с своей стороны, высказать по его поводу некоторые соображения.

Судебное следствие достаточно выяснило роль, которую играл Гекельман фон-Ландэйзен в страшном парижском «заговоре нигилистов». Он был агентом-провокатором или, по меньшей мере, шпионом. Он деятельно помогал приготовить взрывчатые вещества, затем он же известил о приготовлении их кого следует. Само по себе это удивительно только в виду того доверия, которое оказывали ему парижские революционеры. Но подсудимый Степанов справедливо заметил на суде, что всякий может ошибиться в оценке той или другой личности. Удивительнее таинственное исчезновение Ландэйзена. Деятельная и расторопная парижская полиция арестовала не только всех тех, против которых были хоть некоторые косвенные улики, но похватала или обыскала много таких лиц, которых сама же она должна была признать

*) «Социал-Демократ», книга вторая, август 1890, стр. 82—87.

**) См. «Листок Социал-Демократа», письмо об истязании Сигиды.

совершенно непричастными к «заговору». Только по отношению к Ландэйзену она оказалась удивительно вялой и ненаходчивой. 14-го июня вечером Рейнштейн указал судебному следователю на Ландэйзена, как на провокатора, и только четыре дня спустя полиция решилась задержать его. Mais il était trop tard,—как выразился тот же следователь в своем показании на суде. Это само собой разумеется, но почему же не арестовали Ландэйзена раньше? Выслушав заявление Рейштейна, г. Атталэн нашел, что для привлечения этого господина к делу у него все-таки нет достаточных оснований. «На другой день было воскресенье, в понедельник я приказал навести о Ландэйзене справки, во вторник мы ездили в Бондийский лес; вернувшись домой, я получил о Ландэйзене неблагоприятные известия и тогда (!) приказал арестовать его» *). Итак, все соединилось для того, чтобы облегчить бегство Ландэйзена: щепетильность, внезапно овладевшая г. Атталэном при мысли о возможном превышении им своей власти, его уважение к заповеди, предписывающей помнить «день субботний» (на другой день было воскресенье), уважение, простирающееся до того, что г. Атталэн, в субботу вечером извещенный о Ландэйзене, только в понедельник приказал навести о нем справки, не желая нарушить воскресный покой сыскной полиции и, наконец, недостаток времени у него («во вторник мы ездили в Бондийский лес»). Уже одно это обстоятельство показывает, что г. Ландэйзен родился под счастливой звездой. Но это еще не все. Он имел, кроме того, счастье быть предметом большой заботливости со стороны прокурора и председателя суда. Эти служители французской Фемиды ни за что не хотели признать его ни провокатором, ни простым шпионом. Они упорно величали его революционером и даже чуть-чуть не главою русских террористов в Париже. В силу этого, якобы, убеждения, они заочно приговорили его к высшей мере наказания: пять лет тюрьмы. Между тем, как для других осужденных время тюремного заключения простирается до трех лет. Но что значит для Ландэйзена это заочное решение? Если бы его приговорили даже к смертной казни, он мог бы спать спокойно, так как он, наверное, находится теперь вне всякой опасности под теплым крылышком благодарного русского правительства. А, впрочем, еще неизвестно, русское ли правительство пригревает теперь Ландэйзена. Нам передавали, что П. Л. Лавров получил от него полное самых грубых ругательств письмо, на конверте которого находится штемпель: Boulevard Haussmann. Если этот слух верен, то можно предположить, конечно, что Ландэйзен из России или из Германии

*) См. показания Атталэна, «Gazette des Tribunaux», 6 Juillet, 1890.

послал это письмо кому-нибудь из своих парижских друзей, с просьбой отправить его по городской парижской почте П. Л. Лаврову. Но ведь можно сделать и другое предположение. Можно думать, что Ландэйзен преспокойно продолжает жить в Париже, а французские власти все не имеют времени для его задержания. Русскому правительству пребывание Ландэйзена в Париже было бы очень полезно: как человек, знающий многих и многих из тамошних русских революционеров, он мог бы быть очень полезным руководителем парижских «очей царевых». Ну, а Констан так любезен по отношению к северному медведю, что в угоду ему, конечно, не отказался бы покривить душой, которой он все равно кривил и впредь будет кривить очень часто. Настоящие государственные люди никогда не останавливаются перед такими пустяками.

Защитник Накашидзе, Степанова и Кашинцева—Милльран прекрасно выяснил смысл юридической комедии, разыгранной девятой палатой суда исправительной полиции: «Это необыкновенный уголовный процесс,—сказал он в своей речи,—никто не поверит, что французских студентов подвергли бы преследованию, если бы у них нашли материалы и снаряды, найденные у подсудимых». И это тем более справедливо, что у подсудимых, в огромнейшем большинстве случаев, нашли *не взрывчатые вещества, а только материалы*, из которых они делаются. Но ведь мало ли из чего делаются взрывчатые вещества? Дижонский суд, раньше тенденциозного процесса против русских (нигилистов) разбиравший дело о противозаконном хранении и приготовлении взрывчатых веществ, решил, что «*хранение материалов, соединение которых образует порох, не может послужить поводом к судебному преследованию, если эти материалы найдены не соединенными*». Это был очень недвусмысленный прецедент, но парижская исправительная полиция не сочла нужным обратить на него внимание. А вследствие этого вышло, что, по выражению защитника Лаврениуса, Дюрье, даже сахар, эта эмблема сладости, явился в числе запрещенных законом предметов. Таким образом, участь подсудимых была решена заранее. Французская Фемида выступила на поприще дипломатии и принесла свое беспристрастие в жертву патриотическим соображениям о союзе с русским правительством. Раз вступив на этот скользкий путь, она, подстрекаемая нарочно приехавшим для этой цели в Париж генералом Селиверстовым, прониклась истинно-«русским» духом и повела все дело так, что даже наша государственная полиция не смогла бы ничего возразить против ее приемов. Вот, например, за что держали г-жу Бромберг. Рейнштейн попросил у нее позволения положить на время в ее квартире чемодан, в котором были бомбы, но о содержимом которого

она, по ее собственным словам и по словам Рейнштейна, не имела ни малейшего представления. Судебный следователь утверждал, что, кроме бомб, в этом чемодане найден был между другими бумагами № газеты «Petit Journal» от 23 мая. Между тем, Рейнштейн, заходивший иногда к Бромберг брать кое-что из своего чемодана, был у нее в последний раз в самом начале мая. Казалось несомненным, что сама обвиняемая положила в чемодан названный номер газеты, и что она, следовательно, знала о хранившихся в чемодане бомбах. На этом основании ее предали суду. На суде происхождение несчастного номера об'яснилось иначе: полицейский комиссар, производивший обыск у Бромберг, хотел завернуть во что-нибудь найденные в чемодане бомбы; у него был «Petit Journal», он и воспользовался им для своей цели. После показания полицейского комиссара прокурор уже не мог поддерживать обвинения против г-жи Бромберг. Но спрашивается, отчего же судебный следователь не догадался допросить комиссара насчет подозрительного номера раньше предания суду г-жи Бромберг? Вероятно, у него и для этого *не было времени*. Или, может-быть, г-жу Бромберг держали в тюрьме и пугали судом просто потому, что надеялись добиться от нее каких-нибудь показаний, способных послужить к отягчению участи других обвиняемых? Странный человек этот Атталэн! Он француз, а душа у него совершенно русская, гораздо более русская, чем у многих следователей коренного русского происхождения. Это могло бы показаться странной игрой природы, если бы не об'яснялось влиянием дипломатии.

Официальные представители современной французской республики не кричат: «смерть тиранам!», они уважают иностранных монархов и даже поддерживают их, — в таком смысле выхвалял благоразумие французского правительства «Journal de Genève» после ареста «нигилистов». Орган женевских «охранителей» совершенно прав. Современная французская республика поддерживает и будет поддерживать русского императора. Не довольствуясь парижским процессом, французское правительство, в своем усердии не по разуму, сделало недавно целый скандал около Шамуни, где, как сообщали газеты, произведены были обыски у некоторых мирных русских дачников. Это, конечно, еще не последняя его глупость. За ней пойдут другие. Современная французская республика — республика буржуазии, и притом буржуазии, быстро идущей к упадку. Официальные представители этой республики — настоящие политические «декаденты». От них нельзя ждать ничего, кроме низкопоклонства перед царизмом. Русские революционеры должны знать и помнить это. Они должны знать и помнить, что не в одной

Франции, но и везде на Западе только пролетариат может сочувствовать освободительному движению в России. Уже теперь он дал много доказательств такого сочувствия, а когда он победит своего непримиримого врага, когда политическая власть перейдет в его руки, тогда западные страны перестанут кокетничать с монархами и тогда в них снова раздастся революционный клич: *смерть тиранам!*

Шпионские забавы*).

Нет у нас денег на дело,
На безобразие есть.

Сколько мы знаем, русские сыщики, проживающие в отечестве, не отличаются особенной веселостью, по всей вероятности испытывая на себе мрачное влияние русской жизни. Но, попадая за границу, они вдруг начинают проявлять замечательную игривость. Такой игривостью в особенности отличаются два незнакомца, из которых один называет себя графом Грюном, другой—фон-Куном (как видите, не совсем русские имена, но незнакомцы этим не смущаются: «дай Бог, чтобы у каждого русского была такая русская душа, какая бывает иногда у немецев,—говорит щедринский третье-отделенец). Несколько лет тому назад эти господа деятельно занимались составлением и распространением всякого рода воззваний и заявлений, переполненных грязью, клеветами и подлогами. В одном из таких заявлений они признали, что именно ими было совершено наделавшее много шуму ночное разбойническое нападение на типографию народовольцев в Женеве. На время литературные упражнения «очей царевых» прекратились. Теперь они опять возобновляются. В конце января нынешнего года пишущему эти строки пришлось быть в Париже. Едва он приехал туда, появилась, за его будто бы подписью, прокламация, уснащенная крепкими словами по адресу многих русских эмигрантов и приглашающая «очнуться» русскую молодежь. Заканчивалось это изделие торжественным заявлением относительно того, что нижеподписавшийся, не желая более участвовать в политических интригах, переходит на *легальный путь деятельности*. Безграмотность прокламации достаточно ручалась за ее шпионское происхождение. Но я счел не лишним путем печати обратить внимание тех, «кому ведать надлежит», на то обстоятельство, что моя подпись была подделана *очень хорошо*. Как бы в ответ на это, г.г. Грюн и Кун распространили между членами русской колонии в Женеве (а может быть и в других городах) подписанное ими послание, в котором они рассказывают, как «изволил» я провалиться на русских собраниях в

*) «Социал-Демократ», книга четвертая. 1892 г., стр. 137—198.

Париже, и как негодовала публика, слушая мои хитрые речи. Заканчивается произведение сыскных писателей следующими успокоительными для меня строками: «Мы его вовсе не преследуем, а напротив готовы даже пожаловать (!) ему орден упрямого осла за доставленное нам развлечение».

Орден упрямого осла! Такого ордена в наше время не было. Говорят, что он учрежден очень недавно взамен знаменитого ордена Георгия Победоносца. Если этот слух справедлив, то надо сознаться, что новый орден хорошо выражает идею царствования Александра III.

Как видно, орден упрямого осла находится в непосредственном ведении сыскной полиции. Это тоже очень недурно.

Не знаем, по скольку за строчку получают г.г. Кун и Грюн. Думаем, однако, что, по нынешнему времени, правительство хорошо сделало бы, если бы отказалось от такой роскоши, как шпионские пасквили. Ведь, право же, это совершенно бесполезная даже для него растрата казенного имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Доклад и заключительное слово Плеханова на Цюрихском конгрессе

Из протоколов международного социалистического рабочего конгресса в Цюрихе 6—12 августа 1893 г.

Позиция социал-демократии в случае войны.

Докладчик Плеханов.

Плеханов. Комиссия должна была рассмотреть два предложения: голландцев, которое может быть изложено следующими образом:

Конгресс постановляет предложить международной рабочей партии быть готовой в случае об'явления правительством войны немедленно ответить всеобщей забастовкой и везде, где рабочие могут иметь влияние на войну, в тех странах на об'явление войны ответить отказом от военной службы.

Против этого внесено следующее предложение немцев:

«Позиция рабочих в случае войны окончательно определена резолюцией Брюссельского конгресса относительно милитаризма. Международная революционная социалистическая демократия всех стран должна восстать всеми находящимися в ее власти силами против шовинистических аппетитов господствующих классов, она должна все теснее соединять узами солидарности рабочих всех стран; она должна неослабно работать над сокрушением капитализма, который разделил человечество на два враждебных лагеря и который натравливает народы друг на друга. Вместе с уничтожением господства классов исчезает война. Падение капитализма означает мир во всем мире».

Во время дебатов Боннье (Франция) внес предложение считать весь вопрос исчерпанным резолюцией Брюссельского конгресса. Смит (Англия) вносит поправку, что рабочие должны везде стремиться к более тесной взаимной связи и к усилению дружеских отношений, чтобы, благодаря этому международному братству, войны просто стали невозможны.

После долгих совещаний решено было держаться немецкой резолюции, так как она исключает всякую шовинистическую мысль и в то же время предоставляет каждой нации возможность бороться за устранение войны в тех рамках, которые соответствуют ее условиям дома. Следует твердо придерживаться того, что причины войны глубоко коренятся в капиталистическом способе производства; если будет отменен капитализм, то сама собой исчезнет и война. В Комиссию внесено было предложение сделать некоторую уступку голландцам в том смысле,

что в случае войны им предоставляется право занять особое положение, согласное с их резолюцией. Но и это предложение было отброшено, и в конце концов немецкая резолюция была принята без изменений всеми голосами против трех. Голландская резолюция была отвергнута по следующим соображениям. Всеобщая забастовка невыполнима в современном обществе, так как пролетариат не имеет для этого средств. Но если бы, с другой стороны, мы имели возможность провести всеобщую забастовку, тогда экономическая власть была бы уже в руках пролетариата, тогда всеобщая забастовка явилась бы смешной нелепостью.

Что же касается вопроса о военной забастовке, то подобная мысль может возникнуть лишь в такой стране, где милитаризм не так силен, как, например, во Франции и Германии. В этих двух странах, военная стачка является утопией. Она повела бы только к уничтожению одним ударом всех манифестантов, но и в других отношениях военная забастовка привела бы к противоположным результатам, чем предполагалось. Военная забастовка в первую очередь обезоружила бы культурные народы и отдала бы Западную Европу во власть русских казаков. Русский деспотизм смел бы всю нашу культуру, и вместо свободы пролетариата, призывом к которой должна была бы служить военная забастовка, везде господствовал бы русский кнут. И таким образом кажущееся таким революционным предложение Голландии превратилось бы в реакционную противоположность. Немецкая резолюция, наоборот, ясно указывает всем народам их линию поведения и вместе с тем она далека от неопределенного утопизма голландской резолюции.

Действительно революционной является только немецкая резолюция. Немецкая резолюция должна быть принята в интересах свободы, цивилизации и революционного пролетариата *(Бурное одобрение)*.

В заключительном слове Плеханов говорит: «Неправильно говорить о *немецкой* резолюции. Резолюция эта не что иное, как принятая два года тому назад в Брюсселе большинством конгресса франко-немецкая резолюция; автором ее является *Вальян,* доблестный представитель революционной социал-демократии, имя которого хорошо известно в международной социал-демократии. Но, чтобы возбудить неправильное предубеждение, обыкновенно говорят о *немецкой* резолюции». Плеханов тогда дал более подробное резюме из этих доводов Вальяна. Последний указывал, что тройственный союз не является более позорным, чем двойственный союз между Россией и Францией, которая сто лет тому назад прокламировала права человека, а теперь ползает на коленях перед русским царем. Это была свободная речь, свободная от всякого шовинизма, и в этом духе нам следует рассматривать предлагаемую резолюцию. Из этой точки зрения исходит следующее об'яснение части французской делегации:

«Мы не считаем возможным голосовать за резолюцию Домелы Ньювенгуйса так как, по нашему мнению, она повела бы к бесполезному кровопролитию. Кроме того, даже не указано, как эта военная забастовка должна быть проведена. Поэтому мы полагаем, что даже те, которые голосуют за предложение Ньювенгуйса, не могут отвергнуть немецкой резолюции, которая доказывает, что единственным средством

для исчезновения войны является окончание классовой борьбы посредством уничтожения капитализма. Резолюция Ньювенгуйса является для нас опасной иллюзией. Каждый социалист может и должен голосовать за немецкую резолюцию, какого бы он ни придерживался мнения о предложении Домелы Ньювенгуйса».

Жаклар (синдикат соц. прессы), Боннье (рабочая партия), Дезей (революционный центральный комитет), Вебер (независимые социалисты).

«Ньювенгуйс возбудил во мне подозрение, не осуществил ли он уже для себя своего предложения о введении волапюка, так нелогична и бессмысленна была его речь *(Шум со стороны голландцев)*.

Он упрекал немцев в шовинизме, но все его доводы были направлены к возбуждению зависти французов по отношению к Германии. Да, милостивый государь, не следует иметь никаких шовинистических чувств, и позор тем, кто явился сюда с такими чувствами, позор тем *(живые и продолжительные протесты со стороны французов)*, которые в сердце своем таят национальную зависть и национальную вражду,— и я тот, который питает эти столь достойные проклятия чувства. В этом упрекали немцев, и здесь ссылались на одну речь Бебеля, в которой он якобы проповедывал национальную вражду против России. Но на это я возражаю, что если бы Бебель действительно сказал то, в чем его упрекают, да, он был бы шовинистом, и я, русский, разделяющий его мнение, я был бы предателем своей родины! Но обстоит ли действительно дело так, как его излагают? Что же сказал Бебель? Какую национальную вражду проповедывал он? Но, граждане, Бебель выступал против *официальной* России, он нападал на царя, он приставил его к позорному столбу истории. Да, по отношению к нему мы вполне согласны нашим другом Бебелем. Уже давно пора покончить с русским царизмом, позором всего цивилизованного мира, с постоянной опасностью для европейского мира и прогресса культуры. И чем больше наши немецкие друзья нападают на царизм, тем более должны мы быть благодарны. Браво, мои друзья, бейте его сильнее, сажайте его на скамью подсудимых возможно чаще, нападайте на него всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами. Что же касается русского *народа,* то он знает, что наши немецкие друзья желают его свободы.

Никто принятием нашей резолюции не высказался против русского народа, а только против русского царизма. Но если бы прошла голландская резолюция, то это только бы поддержало царя, человека, подавляющего свободу, морящего голодом народ, человека, который должен пасть вместе со всей его системой, если победит свобода. Если бы немецкая армия перешла наши границы, она пришла бы как освободительница, как пришли французы национального конвента сто лет тому назад в Германию, чтобы, победив князей, принести свободу народу.

Говорят, что русская опасность вовсе не является такой угрожающей. Но разве вы забыли, что русский царь соединился с вашей *(обращаясь к французам)* буржуазией, что он является убийцей Польши? Как может Франция настолько забыть свое революционное

прошлое, чтобы принятием голландской резолюции стать соучастником царизма *(Шум среди французов)*.

Голландская резолюция только фраза; исполнение ее в лучшем случае, как заявляет французское меньшинство, привело бы к кровопролитию и к убийству лучших из рядов пролетариата, не причинив ни малейшего вреда деспотизму. Русской опасности как будто не существует, но спросите делегатов Венгрии, Болгарии, Сербии, какая опасность угрожает им со стороны русского царизма.

Ньювенгуйс указывает на то, что немецкая буржуазия питает сильную вражду к Франции, которая в конце концов должна привести к нашествию германских армий во Францию. Но разве немецкое нашествие менее опасно, чем русское?

Но это полнейшее игнорирование действительного положения вещей. Во Франции и в Германии мы имеем организованный пролетариат, и народы поэтому должны стараться делать невозможным подобное нашествие. Но для достижения этого надо искоренить всякий шовинизм во Франции и в Германии, а чтобы это произошло, примите предлагаемую резолюцию подавляющим большинством голосов, как демонстрацию мира, как демонстрацию сильного и единодушного пролетариата».

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Предисловие редактора	3
1. Фердинанд Лассаль	5
2. Речь Г. В. Плеханова на международном рабочем социалистическом конгрессе в Париже (14 — 21 июля 1889)	53
3. Столетие Великой Революции	55
4. Иностранное обозрение (Рабочие конгрессы 1890 г.)	68
5. Рабочее движение в 1891 г.	99
6. 1-е мая 1890 г.	125
7. Ежегодный праздник и восьмичасовой рабочий день	129
8. Военный вопрос на конгрессе в Цюрихе.	161
9. Анархизм и социализм	167
10. Сила и насилие	249
11. Библиографические заметки из сборника «Социал-демократа». Женева. 1888 г.	261
12. Библиографические заметки из «Социал-демократа». Книга первая. Лондон, февраль 1890 г.	281
13. Библиографические заметки «Социал-демократа». Книга третья. Женева, декабрь 1890 г.	296
14. Библиографические заметки из «Социал-демократа». Книга четвертая. Женева, 1892 г.	314
15. Французское правосудие и русское шпионство	320
16. Шпионские забавы	325
Приложение: Доклад и заключительное слово Плеханова на Цюрихском конгрессе	327

ИСТОРИЯ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ
И
БИОГРАФИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ.

АРНУ, Артур. Мертвецы Коммуны. Изд. 1918 г., стр. 24.

Его же. Народная история Парижской коммуны. Изд. 1919 г., стр. 395.

АДЛЕР, Фридрих. Возрождение Интернационала. С пред. К. Каутского. Изд. 1920 г., стр. 251.

АРСКИЙ, Р. Карл Либкнехт—вождь молодежи. Изд. 1922 г., стр. 14.

АШЕШОВ, Николай. Андрей Иванович Желябов. Материалы для биографии и характеристики. Изд. 1920 г., стр. 159.

Его же. А. Н. Радищев, первый русский республиканец. Изд. 1920 г., стр. 54.

Его же. П. И. Рысаков. Материалы для биографии и характеристики. Изд. 1920 г., стр. 68.

Его же. София Перовская. Материалы для биографии и характеристики. Изд. 1921 г., стр. 142.

БЕБЕЛЬ, А. Из моей жизни. Мемуары. Т. I. Изд. 1918 г., стр. 225.

БЕРКОВА, К. Н. Процесс Людовика XVI. Изд. 1920 г., стр. 168.

БЛОСС, В. История германской революции. Изд. 1922 г., стр. 574.

БОГУЧАРСКИЙ, В. Александр Иванович Герцен. Изд. 1922 г., стр. 162.

БРАУН, Лили. Роман моей жизни. Мемуары социалистки. Т.т. I и II. Перев. с нем. З. Журавской. Изд. 1919 г., стр. 364.

БЫСТРЯНСКИЙ, О. Очерки по истории Парижской коммуны. Изд. 1921 г., стр. 175.

ВОЛЬКЕНШТЕЙН, О. Как и почему возникла Великая Французская Революция в 1789 г. Изд. 1919 г., стр. 64.

ГЕНКИН, И. Из воспоминаний политического каторжанина. 1908—1914 г.г. Изд. 1919 г., стр. 128.

Его же. По тюрьмам и этапам. Изд. 1922 г., стр. 486.

ГОРЬКИЙ, М. 9-е января. Изд. 1920 г., стр. 32.

ДЕЙЧ, Лев. Дмитрий Александрович Клеменц. Изд. 1921 г., стр. 40.

Его же. Как я стал революционером. Изд. 1921 г., стр. 47.

Его же. Русская революционная эмиграция 70-х годов. Изд. 1920 г., стр. 87.

Его же. С. М. Кравчинский. С приложен. статьи В. И. Засулич. Изд. 1920 г., стр. 64.

Его же. Хождение в народ. Из воспоминаний. Изд. 1920 г., стр. 40.

ДЕМОР, В. П. Петрашевский (Буташевич). Биографический очерк. Изд. 1920 г., стр. 32.

ЖОРЕС, Жан. Бонапарт. Перевод А. Н. Горлина. Изд. 1922 г., стр. 19.

ЗАСУЛИЧ, В. Революционеры из буржуазной среды. Изд. 1921 г., стр. 65.

ЗАХЕР, Я. М. Сен-Жюст (Жизнь-деятельность-идеология). Изд. 1922 г., стр. 78.

Его же. Парижские секции 1790—1795 г. и их политическая роль и организация. Изд. 1921 г., стр. 72.

ПЛЕХАНОВ, Г. 14 декабря 1825 года. Изд. 1921 г., стр. 31.

ПИМЕНОВА, З. История революционного движения в Ирландии. Изд. 1920 г., стр. 67.

ПОЛОНСКИЙ, Вячеслав. Бакунин. Монография. Том I. Бакунин-Романтик. Изд. 1922 г., стр. 418.

ПРОЦЕСС ЖИРОНДИСТОВ. Из истории Великой Французской Революции. Изд. 1922 г., стр. 64.

РЯЗАНОВ, Д. 19-е Февраля. Изд. 1918 г., стр. 45.

Его же. Обуховское дело. Изд. 1918 г., стр. 63.

Его же. Плеханов, Г. В. и группа «Освобождение труда». Изд. 1918 г., стр. 63.

Его же. Карл Маркс и русские люди сороковых годов. Изд. 1920 г., стр. 100.

САМОЙЛОВ, Ф. Н. Воспоминания об Иваново-Вознесенском рабочем движении 1903—5 г.г. С предисл. О. А. Варенцовой. Изд. 1923 г., стр. 88.

СБОРНИК СТАТЕЙ. Старый товарищ Алексей Павлович Кляренко (1870—1916 г.г.) Изд. 1922 г., стр. 132.

СВИТЫЧ, В. С. Надгробное слово Александру II.

СЕРЕБРЯКОВ, Е. А. Революционеры во флоте. Из воспоминаний. С портретами. Изд. 1920 г., стр. 63.

САМОЙЛОВ, Ф. Н. Воспоминания об Иваново-Вознесенском рабочем движении 1903—5 г.г. С предисл. О. А. Варенцовой. Изд. 1922 г., стр. 88.

СТЕКЛОВ, Ю. Интернационал. Ч.ч. I и II. Изд. 1918—1919 г., стр. 96.

Его же. Революция 1848 г. во Франции. 3-е изд. 1918 г., стр. 64.

СТЕПАНОВ, И. Жан-Поль Марат и его борьба с контр-революцией. Изд. 1918 г., стр. 31.

СТЕПНЯК, С. Джузеппе Гарибальди. Изд. 1920 г., стр. 45.

ТАХТАРЕВ, К. М. Очерк Петербургского рабочего движения 90-х годов. Изд. 1921 г., стр. 95.

ТРОЦКИЙ, Л. Туда и обратно. Изд. 1919 г., стр. 63.

Его же. 1905 год. Изд. 2-е, стр. 422.

ТУН, А. История революционного движения в России. Изд. 1918 г., стр. 282.

ТЮШЕВСКИЙ, А. К истории забастовки и расстрела рабочих на Ленских приисках. Изд. 1921 г., стр 64.

ХИЛКУНД, М. История социализма в Соединенных Штатах. Изд. 1920 г., стр. 286.

ЦЕТКИН, К. Борцы революции. Изд. 1920 г., стр. 37.

ШИЛОВ, А. А. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 г. Изд. 1920 г., стр. 56.

Его же. Что читать по истории русского революционного движения. Указатель важнейших книг, брошюр и журнальных статей. Изд. 1922 г., стр. 230.

ШЛЯПНИКОВ, А. Канун 17 года. Ч. II. Изд. 1922 г., стр. 135.

ШАПОВАЛОВ, А. И. По дороге к марксизму. Воспоминания рабочего-революционера. Ч. I до 1896 г. Изд. 1922 г., стр. 92.

ШТРАЙХ, С. Восстание Семеновского полка в 1820 г. Изд. 1920 г., стр. 44.

ЩЕПКИНА, Е. Женское движение в годы Французской революции. С обращением к читателю А. Колонтай. Изд. 1921 г., стр. 84.

ЩЕГОЛЕВ, Петр Григорьевич Каховский. Изд. 1921 г., стр. 88.

ЭЙДУС, Х. Очерки рабочего движения в странах востока. Изд. 1922 г., стр. 93.

ЭНГЕЛЬС, Фридрих. Забытые письма (Письма Фридриха Энгельса к Иоганну-Филиппу Беккеру). С введением Эмиля Эйхгорна. Перевод с немецкого с предисловием М. Серебрякова. Изд. 1922 г., стр. 60.

Его же. Крестьянская война в Германии. Изд. 1921 г., стр. 137.

ЭЙСНЕР, В. Либкнехт, его жизнь и деятельность. Изд. 1918 г., стр. 79.

ЗЕВАЭС, Александр. Огюст Бланки. Перевод и примечания А. Н. Горлина. Обложка М. Соломонова, стр. 240.

ЗИНОВЬЕВ, Г. Плеханов Г. В. Вместо речи на могиле. Изд. 1918 г., стр. 31.

ЗИНОВЬЕВ, Г. и Л. ТРОЦКИЙ. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Речи, произнесенные на заседании Петросовета 18 янв. 1919 г. Изд. 1919 г., стр. 32.

ЗИНОВЬЕВ, Г. Франц Меринг. Изд. 1918 г., стр. 8.

ЗОРИН, С. Потомки провокатора Азефа. Изд. 1921 г., стр. 16.

КАРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1899 г. Воспоминания и материалы. Изд. 1920 г., стр. 87.

КАУТСКИЙ, К. Республика и Социал-демократия во Франции. С предислов. автора к русскому изданию. Изд. 1920 г., стр. 144.

КОЛПЕНСКИЙ, В. Якутская ссылка и дело романовцев. Изд. 1920 г., стр. 64.

КОНКОЛЬ, М. Коммуна 71 года. Перев. А. Котик. Изд. 1918 г., стр. 24.

КРУКОВСКАЯ. Н. А. Морозов. Очерки жизни и деятельности. С портретом. Изд. 1920 г., стр. 80.

Ее же. Шлиссельбургский узник—В. Лукасинский. Изд. 1921 г.

ЛЕНИН, Н. Памяти Герцена. Изд. 1920 г., стр. 14.

ЛЕНИН, Н. (Ульянов В.). Собрание сочинений. Том IV. Искра 1900—1903 г. Изд. 1922 г., стр. 335.

Его же. Собрание сочинений. Том VI. 1905 г. Изд. 1922 г., стр. 631.

Его же. Собрание сочинений. Том VI. 1905 г. Изд. 1922 г., стр. 628.

Его же. Собрание сочинений. Том VII. Революция 1905—1906 г.г. Части I и II. Изд. 1922 г.

Его же. Собрание сочинений. Том XIV. Ч.ч. I и II. Буржуазная революция 1917 г. Изд. 1922 г.

ЛЕПЕШИНСКИЙ, П. Н. На повороте (От конца 80-х годов к 1905 г.). С иллюстрациями. Обложка М. Соломонова. Изд. 1922 г., стр. 237.

ЛИБКНЕХТ, К. Мой судебный процесс. Изд. 1919 г., стр. 220.

ЛУКАШЕВИЧ, И. Д. 1 марта 1887 г. Воспоминания. С портретом. Изд. 1922 г., стр. 47.

ЛИБКНЕХТ, Карл. Письма. Перевод под ред. А. Н. Горлина. Изд. 1922 г., стр. 147.

ЛУНАЧАРСКИЙ, А. Первый пророк и мученик революции Радищев. Изд. 1918 г., стр. 20.

ЛЮКСЕМБУРГ, Роза. Письма из тюрьмы. Изд. 1921 г., стр. 56.

МАНУЙЛОВА, Л. Печали и радости моей жизни (записки). Изд. 1922 г., стр. 160. Ц. 110 р.

МАРКС, Карл. Кельнский процесс коммунистов. Изд. 1919 г., стр. 120.

Его же. Классовая борьба во Франции от 1848 до 1850 г. Изд. 1919 г., стр 131.

Его же. Революция и контр-революция в Германии. С предисловием К. Каутского. Изд. 1920 г., стр. 128.

НОВОРУССКИЙ, М. В. Записки шлиссельбуржца 1887—1905 г. Изд. 1920 г., стр. 247.

ОВСЯННИКОВ, А. Последние дни Людовика XVI. Изд. 1921 г., стр. 47.

ОЛАР, А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789—1804). 3-е изд., перев. Н. Кончевской. Изд. 1918 г., стр. 536.

ПАМЯТИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА и РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ. Сборник статей. Изд. 1919 г., стр. 56.

ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ, Н. И. Павел Иванович Пестель. Изд. 1919 г., стр. 31.

ПЕРВОЕ МАРТА 1881 года. Прокламации и воззвания, изданные после дела 1 марта 1881 г. С предисл. Н. С. Тютчева. Изд. 1920 г., стр. 28.

ПИМЕНОВА, Э. Борьба за свободу в Австрии и Венгрии 1848 г. Изд. 1920 г., стр. 64.